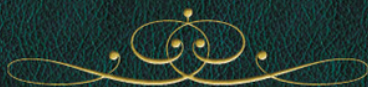


Чмырев Н.



**РАЗВЕНЧАННАЯ ЦАРЕВНА
РАЗВЕНЧАННАЯ ЦАРЕВНА
В ССЫЛКЕ**

**АТАМАН ВОЛЖСКИХ
РАЗБОЙНИКОВ ЕРМАК,
КНЯЗЬ СИБИРСКИЙ**

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

**Николай Андреевич Чмырев
Развенчанная царевна.
Развенчанная царевна в
ссылке. Атаман волжских
разбойников Ермак, князь
Сибирский (сборник)
Серия «Россия державная»**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28750663

*Чмырев Н. Развенчанная царевна; Развенчанная царевна в ссылке;
Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский: Романы: Мир
книги, Литература; Москва; 2011
ISBN 978-5-486-03931-7*

Аннотация

Николай Андреевич Чмырев (1852–1886) – литератор, педагог, высшее образование получил на юридическом факультете Московского университета. Преподавал географию в 1-й московской гимназии и школе межевых топографов. По выходе в отставку посвятил себя литературной деятельности, а незадолго до смерти получил место секретаря Серпуховской городской думы. Кроме повестей и рассказов, напечатанных

им в период 1881–1886 гг. в «Московском листке», Чмырев перевел и издал «Кобзаря» Т. Г. Шевченко (1874), написал учебник «Конспект всеобщей и русской географии», выпустил отдельными изданиями около десяти своих книг – в основном исторические романы.

В данном томе публикуются три произведения Чмырева. Первые два романа, «Развенчанная царевна» и «Развенчанная царевна в ссылке», посвящены первой невесте первого царя из дома Романовых – Марье Хлоповой, которая из-за придворных интриг так и не стала царицей. Роман «Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский» повествует о лихом атамане, некогда грабившем суда на Волге, а после прощения, полученного от Ивана Грозного, ставшем покорителем Сибири, народным героем.

Содержание

Развенчанная царевна	8
Глава I	9
Глава II	16
Глава III	21
Глава IV	28
Глава V	40
Глава VI	45
Глава VII	51
Глава VIII	59
Глава IX	64
Глава X	70
Глава XI	81
Глава XII	87
Глава XIII	96
Глава XIV	103
Развенчанная царевна в ссылке	106
Глава I	106
Глава II	114
Глава III	118
Глава IV	122
Глава V	131
Глава VI	138
Глава VII	144

Глава VIII	154
Глава IX	160
Глава X	167
Глава XI	176
Глава XII	182
Глава XIII	188
Глава XIV	199
Глава XV	204
Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский	209
Часть I	209
Глава первая. На Волге	209
Глава вторая. У ведьмы	220
Глава третья. Разбойничья шайка	227
Глава четвертая. После битвы	240
Глава пятая. Прошлое Ермака	250
Глава шестая. Замысел Ермака	253
Глава седьмая. В Сибирь	265
Часть II	278
Глава восьмая. Братья Строгановы	278
Глава девятая. Кольцо и мешеряк	288
Глава десятая. Ермак в Сибири	295
Глава одиннадцатая. В глушь Сибирскую	309
Глава двенадцатая. Ночная стычка	317
Глава тринадцатая. В пещерах	324
Глава четырнадцатая. Ночная буря	330

Глава пятнадцатая. Грамота царю	334
Часть III	344
Глава шестнадцатая. Царский гонец	344
Глава семнадцатая. На вершинах Урала	355
Глава восемнадцатая. Разгром татар	371
Глава девятнадцатая. Царь Кучум	378
Глава двадцатая. Богатырь Маметкул	384
Глава двадцать первая. Ермак, князь Сибирский	392
Глава двадцать вторая. Помощь царя Ермаку	396
Глава двадцать третья. Смерть Кольца	406
Часть IV	412
Глава двадцать четвертая. Перед победой	412
Глава двадцать пятая. Набег татар	418
Глава двадцать шестая. Чует сердце	424
Глава двадцать седьмая. Непрошенная невеста	431
Глава двадцать восьмая	438
Глава двадцать девятая	440
Глава тридцатая	442
Глава тридцать первая	448
Глава тридцать вторая	455
Глава тридцать третья	463
Глава тридцать четвертая	468

Николай Чмырев
Развенчанная царевна.
Развенчанная царевна в
ссылке. Атаман волжских
разбойников Ермак, князь
Сибирский (сборник)

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление,
2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

Развенчанная царевна

Николаю Васильевичу Невреву посвящает автор

Глава I

Рождественская ночь 1616 года была очень морозна, несмотря на то что тучи словно свинцовой пеленой обложили все небо. Москва спала глубоким сном. Нигде не было видно ни одного огонька, только звездочками мерцали с кремлевских гор окна царского терема, сквозь которые пробивался слабый свет лампад, обильно навешанных в царской молельной.

На улицах господствовала могильная тишина, прерываемая лишь воем собак, привязанных на цепь и заменявших собою сторожей в боярских, дворянских и торговых людей домах; нигде не видно было ни одной человеческой души, все как бы замерло.

Было далеко за полночь. На Никитской, в доме дворянина Хлопова, наверху, в женском тереме, замигал свет. Нагнувшись у печки, там стояла на коленях старуха Петровна, мама единственной дочери Хлопова – Марьи; придерживая лучинкой уголь, она усердно раздувала его. Красноватый блеск на мгновение освещал светлицу и снова гаснул; наконец лучина вспыхнула. Бережно прикрывая рукой пламя, Петровна подошла к столу и зажгла свечу. В одном из углов светлицы на высоко взбитой постели лежала, плотно завернувшись в одеяло, девушка. Ей было шестнадцать лет, но по лицу ее можно было принять за ребенка: черная роскошная коса, вы-

бившись из-под чепца, покрывала подушку, длинные ресницы двумя полукругами обрисовывались на ее лице. Петровна подошла к окну и, приставив к вискам обе ладони, прильнула к стеклу.

– Ничего как есть не видать, все стекла запушило, – прошептала она, – а поди, чай, и к заутрене сейчас зазвонят. Надо Марьюшку побудить... жалко, да что делать! Вишь, словно ангел Господень покоится, спит-то как сладко! – Она медленно подошла к постели и осторожно дотронулась до плеча девушки: – Марьюшка, а Марьюшка!

Девушка потянулась и, медленно открыв глаза, с некоторым удивлением посмотрела на мамку.

– Ты что, Петровна? – спросила она.

– Вставай, касатка, пора!

– Какое пора, – отвечала Марьюшка, плотнее заворачиваясь в одеяло, – смотри, темень какая, а уж как спать-то хочется, – прибавила она.

– Э! Выспаться потом успеешь, а теперь вставать нужно к заутрене.

– Да ведь не звонят еще, Петровна?!

– А тебе бы вот нужно, чтоб звон тебя в постели застал? Экая греховодница... вставай, вставай!

Марьюшка с недовольной гримаской приподнялась на локте и, пожавши плечами, вздрогнула.

– Холодно как! – проговорила она.

– А ты не прохлаждайся, вставай да одевайся скорее, вот

и тепло будет.

Марьюшка нехотя спустила с кровати ноги, потом быстро вскочила и начала одеваться.

Послышался удар колокола в Никитском монастыре, понесся звон со всех московских колоколен.

– Ну вот и дождались, а все по твоей милости... придем теперь к шапочному разбору.

– Успеем еще, Петровна.

– Спала бы поменьше, не тянулась да вставала бы, когда старые люди будят, а то теперь придем, чай, не найдем и местечка.

– Да будет тебе, не ворчи, успеешь еще настояться.

– Не ворчи?! Греховодница, право!

Заскрипели засовы, и из калиток, словно муравьи, посыпались москвичи на улицу; в воздухе стоял гул колоколов. Москва сразу оживилась, закипела.

Петровна с Марьюшкой с трудом проталкивались в монастырскую церковь. Народу набилось много, теснота страшная, становилось трудно дышать, пробраться далеко не было никакой возможности. Они остановились почти у входа по левую сторону. Мороз подрумянил щеки Марьюшки, глаза ее блестели. Она уставилась на образ и машинально, следуя примеру Петровны, крестилась; вдруг ей стало как-то неловко, словно на грудь ее стало что-то давить; она невольно повернула голову направо и встретилась с зорко смотревшими на нее глазами. Марьюшка вспыхнула, быстро опустила гла-

за и отвернулась, но стоять спокойно она не могла, она чувствовала на себе взгляд этих серых глаз, пронизывавший ее. Она украдкой взглянула раза два и успела рассмотреть не спускавшего с нее глаз боярина. Орлиный нос, русая окладистая борода, быстрый взгляд делали его красавцем. В этом лице Марьюшке показалось что-то знакомое, но где, когда она видела его, припомнить не могла. Она перебирала в голове все мельчайшие подробности своей прошлой жизни, но обстоятельства, при котором она видела боярина, как будто не существовало никогда, а между тем она хорошо знала и была убеждена, что когда-то сталкивалась с этим человеком, а этот человек все смотрел и смотрел на нее; ей делалось не по себе от жары, ладана, запаха нагоревших свеч и более всего от напряжения мысли. Разболевшаяся голова начинала кружиться, она еле стояла на ногах.

– Петровна, мне неможется, пойдем домой, – обратилась она к мамке.

– Побойся ты, Марьюшка, Бога: и опоздали-то мы, и до конца не достоин... Грех с тобой, право, – начала нашептывать внушительно Петровна, но, взглянув на лицо девушки, оборвала речь: в лице Марьюшки не было ни кровинки. Мамка перепугалась.

– И впрямь, дитяtko, неможется тебе, пойдем, касатка, домой, пойдем скорее, – заторопилась Петровна, хватая Марьюшку под руку и направляясь с ней к выходу.

Мороз крепчал и крепчал; он сразу привел в себя девуш-

ку, которая на воздухе почувствовала себя бодрее. Не прошли они нескольких минут, как за ними послышался скрип шагов. Марьюшка оглянулась. Свет, прорывавшийся в церковные окна, осветил фигуру боярина. Марьюшке стало жутко, она ухватилась за мамку и ускорила шаги. Боярин шел следом всю дорогу. Петровна не один раз оглядывалась и, шепча какую-то молитву, отплевывалась.

Пришедши домой, Марьюшка наскоро разделась и бросилась в постель. Напрасно она закрывала глаза, стараясь заснуть: мысль о боярине не давала ей успокоиться; она ворочалась, сбрасывала с себя одеяло, ей было жарко, душно, разбирала злость на свою память. Петровна, прикорнувшая тут же, почти у постели, не спускала глаз с Марьюшки. Хоть и была она сначала недовольна тем, что и опоздала-то, и не достояла заутрени, но при взгляде на побледневшее личико своей вскормленницы, на ее потускневшие глазки старушечье сердце замирало, душа ныла. Марьюшка для Петровны была счастьем, гордостью. Осиротевшая на первом же году Марьюшка поступила на полное попечение Петровны; эта девочка была ее вскормленницей, воспитанницей, дочерью. Каждая печаль, каждая самая пустая болезнь девочки тревожили Петровну; она не знала, что делать, пичкала свою питомицу всякими лекарствами, поила богоявленской водой и не была спокойна до тех пор, пока Марьюшка не заявляла, что она совершенно здорова. Так было и на этот раз. Увидев в церкви бледность Марьюшки, ее метание в постели, она

всполошилась.

– Марьюшка, ты бы попила богоявленской водицы, дитятко, – заговорила она, подходя к девушке.

– Нет, Петровна, не хочу, у меня уже все прошло.

– А зачем разметалась, коли прошло?

– С мороза, чай, жарко.

– Ну, спи, Господь с тобой, – проговорила Петровна, крестя свое дитятко и задувая свечу.

А между тем Марьюшка все вспомнила: память воскресила вотчину, в которой она жила четыре года тому назад, в то время когда ляхи свободно гуляли по Руси и творили все, что им вздумается. Марьюшке было тогда лет одиннадцать-двенадцать. Вспомнился ей сад: она бегаёт, шалит, и вот через плетень сада заглядывает боярин и глядит, не спуская глаз с нее. Видимо, он любовался ею. Ребенок смущается, старается спрятаться за какой-нибудь куст; боярин улыбается и уходит. Не один раз повторялось это, и Марьюшке вспоминается, что и тогда он смотрел на нее так же, как и сегодня у заутрени.

Да, это он, он самый, только как же его имя? Ведь там и жило одно только боярское семейство, больше никого и не было; как же имя-то?.. Разве Петровну спросить, да нет, совестно... экая память ведь! Вспомнила, где видала, а имя вот забыла...

– Петровна! – тихонько кликнула она мамку.

– Что, дитятко, аль неможется? – заговорила старуха, по-

спешно вскакивая.

– Да нет, ничего... Вот мне в голову пришло... вспомнила я... какой боярин на лошади все ездил... когда мы в деревне жили...

– Да тебе это зачем?

– Так, просто вспомнился он... а имя-то его я и забыла...

– Что это, матушка, тебе бояре стали мерещиться? Выпей водицы, право, тебе неможется...

– Совсем не мерещится, так просто вспомнилось, как он мимо нас проезжал...

– Какой же там проезжал?.. Салтыков нешто?..

– Салтыков, Салтыков, вот теперь вспомнила! – весело заговорила Марьюшка.

Довольная тем, что добилась своего, вспомнила, когда и где она видела боярина и как его зовут, она совершенно успокоилась, и не прошло двух-трех минут, как уже спала. Петровна, видя, что Марьюшка уснула, также вздохнула спокойнее, перекрестила свое дитяtko и улеглась.

Глава II

Не спалось в эту ночь и Михайле Салтыкову, боярину, не спускавшему в церкви глаз с Марьюшки, проводившему ее до самой калитки, боярину, так близко стоявшему к царю, боярину, перед которым все преклонялись, малейшее желание которого исполнялось, бывшему тем же царем на Москве, так как царь ни в чем не ослушался его, делал все и правил государством так, как укажет боярин Михаил. И этот боярин стал вести себя странно, стал не в меру богомолен, не пропускал ни одной службы церковной и ходил на эти службы никуда больше, как в Никитский монастырь. Иногда возвращался от заутрени или обедни веселый, довольный, шутил, смеялся, был милостив, прощал провинившихся холопов, но большею частью возвращался сумрачным, грозным, ни с кем не говорил ни слова, все было не по нем, всякий промах, не так сказанное слово – все ставилось в вину, за все несчастный холоп нес тяжкое наказание.

На этот раз боярин пришел совсем не в себе, был радостен, весел, долго ходил по горнице и, наконец, лег. Но не спалось ему, не оставляли его горевшие огнем щечки Марьюшки, ее выведенные дугой брови, молнией блиставшие глаза; не мог никак позабыть он двух взглядов, пойманных им на лету, брошенных Марьюшкой украдкой.

«Знать, заметила, – думалось ему, и при этой думе как-

то сладко защемило, сжалось боярское сердце, – знать, заметила... это в первый раз еще после деревни она поглядела, да не один раз, а два... Только отчего не достояла она службы? Отчего побледнела? Отчего, когда уже дорогой обернулась и увидела его, словно испугалась и будто бежать бросилась, так заспешила. Боится она его, что ль? Впрочем, нешто узнаешь девичье сердце, разберешь его? Может, и она вспоминает его так же часто, как и он... Неужто же? Неужто?»

И при этом «неужто» сильнее забилося сердце, жарко стало боярину; он сбросил с себя одеяло и продолжал думать, вспоминать прошлое... И вспомнилась ему Марьюшка девочкой лет двенадцати, в деревне. Только и тогда ее жгучие, большие глаза поразили его, поразили так, что чуть ли не каждый день подходил он к плетню хлоповского сада, чтобы посмотреть на эти глазки.

Прошло некоторое время. В Москве явился царь, боярину, укрывшемуся во время смуты в деревне, предстояла важная роль, так как новый царь был близким его родственником. Он оставил деревню и отправился в Москву, но часто вспоминалась и грезилась ему во сне маленькая девочка с своими чарующими глазами, и странным казалось ему это неотвязчивое воспоминание о ребенке.

Прошло три года, вздумалось боярину зайти раз к обедне в Никитский монастырь. Отстоял он почти всю службу да глянул нечаянно налево и онемел: опять перед ним эти глаза, только глаза не ребенка, а расцветшей вполне девушки. «Не

наваждение ли это! – было первой мыслью Михайлы. – Да нет, она, она... других таких глаз, другой красоты не может быть; это она, моя деревенская девочка – Марьюшка». Забыл боярин и про службу, и про власть свою, про все в мире.

В это время он был простым смертным, преклоняющимся перед женской красотой. Как посмотрел он тогда на Марьюшку, так и не сморгнул ни разу, глядя все на нее, а она, спокойная, невозмутимая, усердно осеняет себя крестом и кладет поклоны... Кончилась служба, и Марьюшка, потупив глаза, ни на кого не глядя, вышла из церкви и пошла с Петровой домой. Боярин бросился следом, дошел до ее дома и убедился вполне, что это его деревенская девочка, так как дом принадлежал Хлопову.

С этих-то пор и стал боярин так богомолен, стал ходить в Никитский монастырь. И доволен был и весел, когда удавалось ему увидеть Марьюшку, и возвращался злым, когда, простояв всю службу, он не видел ее.

Но нынче боярин был сам не свой; до этого времени она не бросала на него ни одного взгляда, а нынче заметила да еще рассматривала – знать, не противен.

«Завтра же пойду в Вознесенский монастырь к матушке, – подумал боярин, – расскажу ей, пусть благословит, а там и за сватовство. Хлопов-то будет рад, что ему еще, какого жениха нужно – такого, как я, и не найти ему вовек, да и выгода немалая, посажу в приказ, поди, как наживется... только вот матушка, пожалуй, упрется, с ней ничего не поделаешь,

кремень-женщина... Эхма, кабы руки-то были развязаны, не то бы было! Что ей? Заперлась в монастыре, отказалась от мира, знала бы молилась да постничала, так нет – нужно в мирские дела мешаться... Худородная, скажет, тебе нужно боярышню или княжну какую... на кой они мне прах! Другой жены, как Марьюшка, не найти мне, поглядела бы она на нее...»

Он закрыл глаза, но Марьюшка не оставляла его. Вот она входит в горницу, ресницы стыдливо опущены, на щеках горит румянец, идет она легко, свободно, словно плывет по воздуху, подходит к нему все ближе и ближе... вот остановилась, взглянула на него так нежно, так ласково... нагибается... розовые губы полуоткрыты... он чувствует ее горячее дыхание, чувствует, как по его лицу скользят ее упавшие мягкие, шелковистые волосы... он быстро протягивает руки, хочет схватить ее, прижать, обнять горячо-горячо, открывает глаза, но в комнате так пусто, темно... Тоскливо падают руки, грустно он обводит глазами комнату и снова закрывает их, и снова мерещится ему Марьюшка.

В окно забрезжил свет; в горнице становилось светлее и светлее. Так и не удалось уснуть боярину. Лицо его от бессонницы было желто, под глазами темные круги, словно после тяжелой болезни.

«Сегодня хлопотно будет во дворце – праздник. Царя поздравлять будут, – раздумывал боярин. – К матушке не успею ли сходить? Только рано теперь, небось и ворота за-

перты».

Он оделся и начал ходить по комнате, придумывая, как бы ловчее приступить к матери.

А на дворе сделалось совсем светло, наступил день. Народ закопошился на улице; послышался удар колокола.

– К ранней, – прошептал боярин. – Матушка теперь в церкви.

И он снова начал мерить шагами комнату; но не стерпел – вышел на улицу.

Глава III

В небольшой, уютной, но с заметно роскошной, боярской обстановкой келье Вознесенского, этого царского монастыря сидела мать Евникия, бывшая боярыня Салтыкова, мать временщиков Салтыковых. Старая, сгорбленная фигура ее была все-таки представительна, внушала к себе уважение. Горбатый греческий нос, почти что подходивший к подбородку, серые лукавые глаза, длинные, седые, нависшие на глаза брови, тонкие сжатые губы – все это вместе весьма не привлекательное лицо заставляло каждого бояться, смотреть со страхом на эту старуху. Она сидела в глубоком кресле, почти уходя в него вся. Перед ней стояла келейница. Ее молодое, цветущее лицо говорило, что монастырская жизнь и постничество не успели еще наложить на нее своей печати. По выражению ее лица можно было догадываться, что она скорее была расположена не к монастырской жизни, а к пользованию всеми благами суетного мира, так широко и раздольно раскинувшегося со всеми своими радостями и соблазнами за монастырской стеной. Узкие, маленькие, неопределенного цвета глаза умели как-то скрадывать и эти полные, горящие страстью губы, и это стремление к шумной мирской жизни. Эти лукавые глаза знали время, когда нужно потупиться, когда метнуть ласку неги, когда, наконец, сверкнуть страстью, огнем. Это была белица Феодосия, баловница и воспитанни-

ца Евникии.

– Ну, что ж говорят? – спросила ее, глядя исподлобья, мать Евникия.

– Говорят, рвет и мечет, на стенку просто лезет, – отвечала, скромно потупив глаза, Феодосия.

– Чего ж ей рвать? Царь исполняет обычай, нельзя же ему презирать отцовские да дедовские обычаи! Так исстари заведено, он человек внове, на него во все глаза смотреть да следить... надо... Вот Гришка вздумал своевольничать, да что вышло.

– Говорят, ей не хочется, чтобы царь сам выбирал себе невесту, а чтобы с ее позволения. У нее, вишь, и на примете есть какая-то боярышня.

– Какая такая?

– Не знаю.

– Постарайся узнать непременно, – заметила Евникия.

Наступило молчание.

– Что ж, может, он и эту облюбованную боярышню выберет, – начала снова Евникия, – а не по сердцу придется, что делать, возьмет другую, мешаться в это дело не след, она монахиня. Опять и то: царь волен выбирать, кого ему хочется. Ведь ему, а не ей придется жить с женой.

– Может, обидно, что другая царица на Москве будет, молодая, а то она до сих пор себя царицей величает, – лукаво промолвила Феодосия, метнув в сторону глазами.

Усмешка пробежала по лицу Евникии.

– Царица! Царица! – проговорила она как бы про себя. – Ох, грехи, грехи! Нужно будет поговорить с ней.

– Можно уйти мне, матушка? – спросила келейница.

– Иди, Федосьюшка, с богом, – отпустила ее Евникия, – нужно будет, я позову.

Феодосия отвесила, по-монастырски, поясной поклон и неслышными шагами вышла из кельи.

Разговор шел о великой старице, инокине Марфе, как тогда называли мать царя Михаила Феодоровича, женщине крайне самолюбивой, любившей власть, имевшей громадное влияние на сына, желавшей забрать в свои руки не только власть, принадлежавшую сыну, но и вместе руководить самой душою, жизнью сына-царя. Разговор шел о смотрах царем невест, которые должны были состояться через несколько дней. Марфе хотелось, чтобы царь женился не по влечению сердца, не по своему выбору, а на той, которую она укажет ему. Но как ни властолюбива была Марфа, она, сама того не замечая, подпала совершенно под влияние хитрой и не менее властолюбивой, но более ловкой матери Евникии, чем и объясняется могущественное временничество Салтыковых.

По уходе Феодосии мать Евникия задумалась. Она хоть и говорила в известном тоне с Феодосией, доносившей ей о всякой мелочи, служившей ей шпионом в монастыре, но настроение великой старицы ее интересовало немало. Она обдумывала положение дела и размышляла о том, нельзя ли с

выгодой воспользоваться таким положением. Размышления эти были прерваны.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, – послышался мужской голос за дверью.

– Аминь! – отвечала Евникия, вскидывая глаза на дверь. В келью вошел Михаил Салтыков. Евникия ласково взглянула на него. Это был ее любимый сын.

– Здравствуй, Михайло! – приветствовала она сына. Боярин поклонился и подошел к руке матери.

– Что зачастил? Прежде тебя, бывало, калачом к себе не заманишь, а теперь через день стал ходить, – спрашивала, улыбаясь, Евникия.

– Время свободное: к царю еще не так скоро нужно идти, дома что-то не сидится, а окромя вас куда же мне деваться?

– К брату бы пошел, а то что тебе со мной, старухой, тут делать?

– Брата я вчера видел, – отвечал Салтыков.

– Ох, плут ты, Михайло, плут, – проговорила Евникия, ласково грозя сыну пальцем. – Вижу, недаром зачастил, что-нибудь да нужно.

Боярин смутился.

– Ну вот, неправду я говорю, что ль? Чего покраснел да глазами по сторонам забегал? Лучше уж кайся! С Марфой, что ль, поговорить мне придется, а?

Салтыков из одной руки переложил шапку в другую; он чувствовал себя неловко, был смущен.

– Нет, матушка, не то, – проговорил он наконец решительно, вскидывая на мать глазами, – не нужно мне ничего от царя. Хочу я попросить у тебя милости.

– Милости? У меня?! – не без удивления спросила Евникия.

– Да, милости, благословения на важное для меня дело.

– Что ты морочишь меня? На что тебе мое благословение?

– Мне тридцатый год, – начал Салтыков. Евникия впи- лась глазами в сына – она как будто боялась проронить сло- ва из его речи. – Мне тридцатый год, а что за жизнь веду, не с кем словом перемолвиться, душу отвести. Брат? Да что ж брат! Он не жена, а бобылем куда наскучило жить.

Евникия поняла, к чему ведется речь.

– Что ж, женись, невесту только найди по себе.

Последние слова холодом обдали Салтыкова.

– Я нашел...

– Уж и найти успел? – недоверчиво проговорила Евникия.

– Нашел, матушка, на свою, знать, пагубу; не дает она мне покоя ни днем ни ночью; примусь ли за дело какое, думаю ли что, спать ли лягу, все она в очах... Извелся я через нее совсем.

Евникия взглянула на сына и действительно нашла в нем немалую перемену. Он говорил правду, что извелся. Ей ста- ло жаль его.

– С чего ж она полюбилась тебе так?

– Хороша она, матушка, так хороша, что и не расскажешь.

– Кто же такая будет эта красавица писаная?

– Дворянка Хлопова... Марья, небогата, правда, да на что мне богатство, когда я от своего не знаю куда деваться? Была бы жена по душе...

Евникия задумалась.

– Так как же, матушка? – нерешительно спросил Салтыков.

– Боюсь, Михайло, не обманула бы тебя эта красота. По одной красоте не узнаешь, что за человек.

– Кабы ты только видела, матушка, ее, никогда бы ты ничего дурного не подумала о ней. Не знаю уж, хороши ли так ангелы... такая на лице доброта, что и не найдешь, кажись, нигде.

– Не было бы нашему роду порухи, – задумчиво говорила Евникия.

– Какая же, матушка, поруха? Род Хлопова небогатый, зато честный; доподлинно известно, что с ворами он не якшался. Возьми бояр наших: который из них не побывал у Тушинского вора? А женись на их дочери, никто не скажет, что нанес поруху роду.

– Что ж, с богом... женись... коли так уж пришлась она тебе по душе.

Салтыков ошалел. Он никак не ожидал такого скорого согласия со стороны матери. Придя немного в себя, он бросился ей в ноги.

– Матушка... благодетельница... родная, – шептал он в

восторге.

– Будет, будет! – говорила, ласково улыбаясь, Евникия. – На радости ошалел совсем. Вспомни, какой день-то сегодня. Со своей Марьей ты и царя забыл; тебе нынче раньше всех у него надо быть. Ступай-ка, ступай.

Салтыков, схватив шапку, простился с матерью и, довольный, счастливый, отправился во дворец.

Глава IV

Крещенские вечера Марьюшка провела весело. Петровна из сил выбивалась, чтобы на Святках дитяtko ее не скучало. Она утруждала свою старую голову, вспоминая свою молодость, вспоминала, как она проводила эти вечера в гаданьях, припомнила все эти гаданья и проделывала их с Марьюшкой. Марьюшка много смеялась, и старуха радовалась. Лили они и воск ярый, и яйцо пускали в воду, и мост под кроватью мостили – все выходило замужество. Решились попытать последний способ гаданья, узнать имя суженого. Вечером в Иванов день накинула Марьюшка шубейку, покрылась платком и потихоньку вместе с Петровной пробежала к калитке; послышался на улице скрип шагов.

– Боязно, Петровна! – проговорила робко Марьюшка.

– Чего, дитяtko, бояться, не съест он, чай, тебя! – уговаривала ее Петровна.

– Что говорить-то нужно? – спрашивала Марьюшка.

– Как, мол, зовут?

Марьюшка набралась храбрости, распахнула калитку и мгновенно сейчас же снова запахнула ее; ей показалось, что мимо прошел Салтыков.

– Нет, Петровна, боязно, ух как боязно.

– Полно, глупая, чего бояться-то?

Снова послышались шаги человека, идущего назад.

– Ну, ну, – подстрекала Петровна.

Марьюшка снова открыла калитку и, закрыв от страха глаза, рискнула спросить.

– Как зовут? – пронесся в морозном воздухе ее серебристый голос.

– Михаил! – послышалось в ответ.

Марьюшка опрометью бросилась назад. Прибежав в свою комнату, она скорее разделась и повалилась в постель.

Бодро, весело вскочила на другое утро со своей девичьей постели Марьюшка; также быстро убралась и оглянулась: в светелке она была одна. Петровна исчезла, что немало удивило девушку.

– Где ж она, куда девалась? – с недоумением спрашивала Марьюшка.

Петровна, которая ни на минуту не спускала с нее глаз, которая считала своею священною обязанностью непременно присутствовать при пробуждении своей касатки, помогать ей одеваться, вдруг пропала. Марьюшка уж и встала и оделась, а старухи нет как нет; удивляться было чему.

Дверь в светлицу отворилась. Вошла Петровна, она была озабочена, расстроена до того, что не заметила даже Марьюшки. Подойдя к сундуку, она отворила крышку и начала рыться в нем, откладывая в сторону лучшие наряды Марьюшки.

Девушка смотрела на нее, едва удерживаясь от смеха, наконец не выдержала и фыркнула. Петровна вздрогнула и

оглянулась; при виде своего дитяти она присела на корточки и ласково-любовно поглядела на свою вскормленницу.

– Что это ты, Петровна, наряжать, что ли, меня собираешься, где ты пропадала? – спрашивала Марьюшка, продолжая смеяться.

Петровна насупилась и вздохнула.

– Ты что это, словно сердисься? – приставала к ней Марьюшка.

– Какое, дитятко, сержусь? В толк ничего не возьму. Затевают что-то недоброе; старухе ничего не говорят, словно чужой. Все таятся... При добром деле чего бы, кажись, таяться! – ворчала Петровна, стряхивая слезы, набежавшие на ее старческие глаза.

Марьюшка смутилась. Она горячо любила свою мамушку Петровну, ее горе всегда тяжело отзывалось в сердце девушки. Марьюшка подбежала к ней, обняла ее, заглянула в глаза.

– Что такое, голубушка Петровна? Кто тебя обидел, скажи? – заботливо заговорила она.

– Кто ж меня, холопку, может обидеть? Нешто я человек? Отслужила свое, вскормила, выходила тебя – и будет! Пора и честь знать старой! Не смей и спросить, что они над моим дитятком затевают, – расплакалась старуха.

У Марьюшки набежали на глаза слезы и повисли на длинных ресницах; она нетерпеливо сморгнула их. Одна, назойливая, упала на щеку и покатилась по розовому личику.

– Господь с тобою, мамушка, что такое, скажи! – в тревоге

спрашивала Марьюшка, а голос дрожал, печаль слышна была в этом дрожащем голоске.

Обхватила старуха стройную талию девушки, прижала к себе; старая голова ее припала к плечу Марьюшки, а слезы так и льются ручьем. Всхлипывает старуха как-то жалко, беспомощно. Не выдержала и Марьюшка; обхватила голову своей мамушки, целует ее, ласкает, а сама тоже заливается слезами.

– Ну, давай, дитяtko, одену тебя, – заговорила старуха, немного придя в себя. – Чай, боярин сердится.

– Зачем одеваться, Петровна? – дрогнувшим голосом спросила Марьюшка.

– Откуда мне знать? Велели одеть, ну, значит, и одевайся.

– Не стану я одеваться, ни за что не стану! – раскапризничалась Марьюшка.

– Как не станешь, коли приказано!..

– Кто приказал? Зачем? Да говори же, Петровна, голубушка! – чуть не плача взмолилась Марьюшка.

– Спала ты еще, – начала Петровна, – меня позвали вниз: смотрю, сидит там твоя бабка Желябужская. «Одень, – говорит боярин, – Марьюшку да сошли вниз». – «Зачем же это?» – спрашиваю я. «Не твоего ума, старуха, это дело», – говорит боярин. А сам таково грозно поглядел на меня, что я насилу ноги свои старые унесла.

Марьюшка побледнела.

– Мамушка... голубушка... неужто ж меня опять во дво-

рец поведут? – с отчаянием, трясаясь всем телом, спросила она.

– Знать, туда, дитяtko.

Марьюшка заплакала и беспомощно упала на скамью. Вспомнилось ей, как недели две тому назад ее тоже бабка водила в царские хоромы, вспомнилось – и кровь застыла у нее в жилах. Привели ее туда, а там уж много девушек; выбрали из них около сотни, в том числе и Марьюшку, выбрали и увели их в другую светлицу, да и давай там измываться над ними, позорить их, уж такого позора никогда, знать, не повторится; не рассказала об нем Марьюшка Петровне даже: оголили ее девичье тело, рубаху даже сняли, пришла повитуха и давай рассматривать ее. При одном воспоминании Марьюшка горела от стыда, голова кружилась у нее, она не заметила даже, как Петровна одела ее.

– Уж и хороша же ты, дитяtko, господи, как хороша, – говорила Петровна, глядя на нее, – если тебя во дворец поведут, быть тебе царицей.

«Опять, чай, позорить начнут», – подумалось Марьюшке, и яркий румянец окрасил ее лицо, на глазах заблестели слезы.

– А что думаешь, дитяtko, вчерашнее-то гаданье в руку, ведь суженый-то Михаилом назвался... – встрепенулась старуха.

– Так что ж?

– А царя-то как зовут? Михаилом, чай!

Марьюшка грустно улыбнулась.

– Ну пойдем вниз, – снова упавшим голосом заговорила Петровна, – пора... нет, погоди, дитяtko, дай я перекрещу, благословлю тебя...

Старуха перекрестила Марьюшку и принялась целовать ее, а у девушки на душе стало так жутко, страшно; сердце тоскливо сжалось, словно беду почувствовало, да и как не беду, коли ее снова, боже избави, такой же сором ожидает, как и в прошлый раз.

– Ну пойдем, небось заждались, – проговорила наконец Петровна, отрываясь от девушки.

На пороге Марьюшка остановилась, оглядела кругом тоскливо свою комнатку, словно навек прощалась она с ней; слезы невольно набежали на глаза, но она сморгнула их, провела по-детски по глазам рукой и стала вслед за Петровной спускаться вниз по лестнице.

Отец с бабкой с ног до головы внимательно осмотрели девушку и остались вполне довольны.

– Ну, надо присесть, – заговорил Хлопов.

У Петровны подкосились ноги, словно навсегда приходилось ей прощаться со своей Марьюшкой.

– Ну, господи благослови! – крестясь и вставая, сказал Хлопов, начиная класть земные поклоны. За ним начали молиться все.

– Теперь надо благословить тебя. Не на шуточное дело идешь, – продолжал отец, вынимая образ из божницы.

Марьюшка поклонилась отцу в ноги. Она была бледна, это торжественное прощание, словно перед долгой разлукой, пугало, тревожило ее. Петровна тряслась всем телом, слезы ручьем бежали по ее старым морщинистым щекам.

Машинально, бессознательно шла девушка с бабкой. Она сильно беспокоилась, боясь повторения того, что было уже раз во дворце.

Прошли Никитскую, повернули направо и пошли по берегу Неглинки, протекавшей под самой кремлевской стеной; вот и деревянный мост, перекинутый через реку и ведущий к Троицким воротам... Миновали ворота и повернули ко дворцу. Вот он уж близко. Сердце упало у Марьюшки. Много бы она отдала, чтобы отказаться от этой прогулки, от этого посещения дворца; будь на это ее воля, она, кажется, дала бы зарок не только не заглядывать в него, а и ходить-то мимо... да что ж поделаешь... не по своей воле идет она, ведут ее по царскому указу.

– Что это мы... опять во дворец? – решила она спросить у бабки.

– Во дворец, Марьюшка, – отвечала та.

– Что ж, опять... опять рассматривать меня будут? – с замиранием сердца спросила девушка.

– Не каждый раз рассматривают-то; будет и одного, – отвечала, улыбаясь, бабка.

Они подошли к крыльцу. Марьюшка остановилась, чтобы перевести дух; сердце ее замерло, дыхание перехватило.

Ей казалось, что, вводя ее в эти двери, ее хоронили, хоронили и замуровывали выход. Оглянулась Марьюшка назад, словно прощаясь со всем, что было ей так дорого, со своей девичьей жизнью, своей беленькой небольшой светелкой, со своей старой мамушкой Петровной, и тоскливо, грустно стало на душе у девушки. Она оглянулась кругом. В сводчатых хорах, расписанных яркими красками, находилось кроме нее около сотни других девушек.

Девушки красивые, дородные, одна краше другой. Были здесь и боярские, и княжеские, и дворянские дочери. Все они взглянули на вошедшую Марьюшку, и эти любопытные взгляды, шепот и неопределенные усмешки окончательно смутили девушку.

«Вишь, какие храбрые, – думалось Марьюшке, – чай, вместе над нами насмехались, а им и горя мало, веселятся». Марьюшка потупила глаза; безучастно относилась она ко всему окружающему ее. Ее поставили в ряд с другими.

– Царь, царь! – вдруг пронесся шепот в толпе. Все вздрогнули, быстро начали оправляться и потом словно застыли. Глаза всех девушек были скромно опущены вниз, но не одна из них искоса бросала взгляды на молодого двадцатилетнего царя Михаила Феодоровича. Царь вошел в сопровождении братьев Салтыковых. Михайло сразу отыскал глазами Марьюшку и побледнел: краше всех была она здесь; быть беде, не миновать ей царского выбора, и сильно забилося у него сердце. Царь смутился; увидев в первый раз в жизни такое

собрание девушек, привыкнув находиться в обществе бородатых бояр, в настоящую минуту он чувствовал себя неловко. Не менее неловко было и положение девушек. Все они знали, зачем их собрали, знали, что царь будет выбирать из них себе жену, и при этой только мысли краска все сильнее и сильнее разгоралась на девичьих лицах. При входе царя Марьюшка испугалась; она немного побледнела, и ее длинные ресницы еще более отделились на побледневшем лице.

Молодое лицо царя вспыхнуло; он невольно опустил глаза и остановился, потом, взглянув на длинный ряд девушек, смущенных, глядевших в землю, он немного приободрился и пошел вперед медленно, важно разглядывая московских красавиц. Вот он прошел мимо десяти, двадцати, ни разу не остановившись, не сказав ни одной и слова. Наконец он остановился перед Марьюшкой, у которой от страха стали подгибаться колени, и все ниже и ниже наклонялась ее молоденькая головка; все личико вспыхнуло жарким пожаром. Салтыков едва устоял на ногах. Нужно было употребить громадное усилие, чтобы не выдать себя, чтобы казаться спокойным, – и ему удалось это.

Прошло несколько мгновений. Царь внимательно рассматривал Марьюшку.

«Что ему нужно от меня... что ему нужно? – пронеслись вопросы в ее голове. – Вон сколько прошел мимо, а на меня уставился... чего он хочет?.. Господи! Что это только будет?!» – с ужасом думала она.

А царь тоже немало смутился при виде Марьюшки, остановился и смотрит, а с языка ни одного слова не идет. Прошла томительная минута, царь покраснел не менее Марьюшки. Он чувствовал, что попал как-то невольно в неловкое положение и не может выпутаться из него; нужно сказать что-нибудь, спросить... знает он, что этим молчанием смущает все больше и больше девушку.

«Господи, что же я скажу ей? – думает царь. – А хороша! Ух как хороша!»

Желябужская, видя то впечатление, которое произвела на царя ее внучка, не могла удержаться, чтобы не оглянуться самодовольно, гордо на остальных присутствовавших женщин. Немало завистливых, злобных взглядов поймала она на лету.

– Чья ты будешь, девица? – промолвил наконец царь, обращаясь к Марьюшке.

Та быстро вскинула на него глаза, и столько было в этом взгляде мольбы, стыдливости и какого-то невольного упрека за то неловкое положение, в которое он поставил ее. Она опять искоса взглянула и, заметив Салтыкова, застыдилась еще пуще.

«И этот здесь... Зачем он затесался? Что я скажу царю? Что ему нужно от меня?» – с ужасом думала Марьюшка, не расслышав тихого вопроса царя. Мысли вихрем пронеслись в ее голове, путались, мешались, она готова была расплакаться.

– Чья же будешь? – повторил царь, не спуская с нее глаз.

– Хлопова!.. – чуть не плача отвечала Марьюшка.

Царь невольно улыбнулся.

– А имя и отчество твое как? – продолжал он ее допрашивать.

«Вот привязался-то!» – думала Марьюшка и снова взглянула на царя; тот смотрел на нее так нежно, так ласково.

– Марья Иванова... – отвечала она немного смелее.

– Кто же твой батюшка, чем занимается?

– Дворянин...

– И матушка есть?

– Нет, у меня мамушка Петровна, а родной нет, померла, – отвечала Марьюшка, глядя уже на царя, а сама думала: «Какой он ласковый, добрый!»

Царь еще раз поглядел на нее, потом повернулся и пошел дальше, но, сделав несколько шагов, остановился, подумал и, быстро повернувшись, вышел из палаты, бросив последний взгляд на Марьюшку.

По выходе царя все пришло в движение, все с еще большим, чем при входе Марьюшки, любопытством стали разглядывать ее, а она все никак не могла опомниться, прийти в себя после разговора с царем.

«Кажись, все уже кончилось, можно бы и домой идти, – пришла ей в голову мысль. – То-то Петровна будет охать да удивляться, как порасскажу я ей».

– Что ж, теперь домой? – обратилась она к бабке.

– Что ты, что ты, дитячко! Никак нельзя, пока не придут

от царя да не скажут, чтоб расходились, – отвечала ласково бабка.

Вошли боярыни. В палате пронесся шепот. Все вопросительно смотрели на них.

– Хлопова... Марья Ивановна?.. – спрашивали боярыни.

Желябужская подхватила внучку и выдвинула ее к боярыням. Те почтительно поклонились ей.

– Государь изволил выбрать тебя своей невестой и приказал свести тебя на верх, в царицыны покои, – передали они ей царскую волю.

Марьюшка растерялась, с испугом оглянулась кругом. Ей хотелось бежать отсюда, бежать без оглядки к своей мамушке Петровне, просить ее защиты, но боярыни с величайшим уважением, но тем не менее настойчиво взяли ее под руки и повели в царские покои перед расступившейся перед ними толпой.

Глава V

Задумчиво ходил из угла в угол по своей светлице Иван Васильевич Хлопов. Проводив дочь на царские смотрины, он стал беспокоен; всяко ведь бывает: иной раз счастье прямо с неба валится; понравится Марьюшка царю, вот и счастье, да какое еще! Тогда он первое лицо почти в Москве; все в его власти – что хочет, то и творит; первый советник царя; бояре перед ним, мелким, ничтожным сейчас дворянином, заискивают, кланяются; ему везде почет... богатые поместья так и сыплются ему в руки... Было отчего быть беспокойным, отчего задуматься.

– Эх, кабы?.. – не выдержал, проговорил вслух Хлопов.

Он подошел к окну – стекло запушено морозом, да и забор торчит перед глазами; все равно ничего не увидишь.

– Долгонько, – шепчет Хлопов. – Впрочем, мало ль их там, сотня, а то и больше, поди, разгляди да выбери...

Прошло часа два или три после ухода Марьюшки. С каждой минутой отец волновался все больше и больше.

Хлопов сел и начал барабанить по столу пальцами; брови его надвинулись на глаза; он делался все сумрачнее; на лбу показались морщины.

«Нет, дело не выйдет, – продолжал думать он, – мало ли там красавиц найдется... хороша, правду сказать, и Марьюшка, да не то небось надо там... моя Марья кроткая, ти-

хая такая... у нее и на лице-то написано, что скорей в монастырь ей следует, чем на царский стол... нет, не след и думать пустяков... и то, чего это я забрал блажь в голову! Повели ее, как и всех водят, а я уж и рассчитывать стал, как и что будет! – горько усмехнулся он. – Эх ты, беднота, беднота наша! Куда только не занесешься от тебя... вишь, дочку на царский стол уж посадил, московской царицей сделал...»

На дворе хлопнула калитка. Хлопов вздрогнул, быстро поднялся с места и подошел к окну. Напрасно он старался протереть стекло, обледенелое и покрытое инеем, – оно было темно, непрозрачно.

В прихожей послышались шаги. Хлопов повернул голову к двери и увидел Желябужскую.

– Ну? – спросил Иван Васильевич тещу, не спуская глаз с двери и поджидая Марьюшку, но, взглянув на лицо Желябужской, он сразу понял все и зашатался. Если б не подоконник, о который он уперся рукой, то упал бы.

– Марьюшка приказала тебе кланяться, – заговорила Желябужская, – она теперь царевна стала, наверху, в царицыных покоях.

– Как... сразу... наверх?..

– Так сразу и наверх... пришли боярыни, поклонились ей чуть не в ножки и повели...

– Что ж царь, царь-то что?

– Что ж царь? Царь ничего, облюбывал девку, и конец, – говорила ликовавшая в душе Желябужская, освобождаясь

от душегрейки.

– Облюбовал... как облюбовал-то, Расскажи, матушка, толком, по порядку.

– Что ж тебе по порядку рассказывать, чай, сам порядки знаешь, – продолжала томить его старуха.

– Откуда я порядки эти буду знать? – нетерпеливо говорил Хлопов. – Что я, бывал, что ли, на смотринах?

– Ну, пришли мы, а там девок уже набрано страсть Господня, – начала наконец рассказывать Желябужская, – построили их всех в ряд, и мы, старухи, тут же стоим; вдруг царь выходит... Посмотрел он, посмотрел да шась прямо к Марьюшке, а она, моя голубушка, испугалась, трясется вся; царь на нее глаза уставил и улыбается, а потом заговорил.

– Что ж заговорил-то он?

– Что? Известно, что при таком деле цари говорят, спросил, чья она... про Петровну говорила...

– Про Петровну?

– Ну да, Марьюшка сказала, что у нее есть мамушка Петровна.

– Дура девка!

– А ты не очень-то! – вступилась бабка. – Ты что? Дворянин мелкий, а она... поди-ка достань ее теперь, царевну-то!

– Куда уж нам! – самодовольно улыбаясь, проговорил Хлопов. – Теперь ее и Марьей не назовешь, величай царевной.

– Посмотрел это ее царь, – продолжала Желябужская, –

поговорил с ней, а на других-то уж и смотреть не стал, повернулся и вышел, а тут вскорости и боярыни пришли, поклонились ей с таким почетом, объявили царскую милость, повели на верх... вот и все, – заключила она.

Хлопов перекрестился, положил земной поклон и встал.

– Оглянулся Господь и на нашу бедность, – промолвил он радостно. – Знаешь ли, матушка, какое счастье-то, когда дочь царица? Понимаешь ли?

– Уж и не говори, у меня в голове так и шумит, так и шумит, так просто звон какой-то, ничего не пойму, ничего не соображу.

– Сообразишь ли?..

Шум прервал речь Хлопова.

– Батюшка, бояре, родимый, царские бояре идут! – отчеканивала босоногая девчонка Грунька, влетая стрелой в светлицу.

– На место! – крикнул на Груньку Хлопов.

Та так же быстро исчезла, как и влетела. Хлопов отправился в прихожую и низкими поклонами встретил царских бояр.

Бояре вошли в светлицу; один из них выступил вперед.

– Государь царь и великий князь всея Руси оказывает тебе и всему твоему роду великую милость, – начал боярин. – Государь изволил дочь твою, Марью Ивановну, поять себе в невесты и указал тебе и твоим ближайшим родственникам, нимало не медля, явиться во дворец.

Боярин закончил. Хлопов низко, почти земно поклонился ему. Он совсем растерялся и не нашел сказать ни одного слова. Бояре вышли. Хлопов начал суетливо собираться во дворец.

Глава VI

Марьюшка точно во сне находилась, когда ее привели на верх в покои, занимаемые царицею. Сравнительная громадность покоев, раскрашенные узорчатые стены и своды – все это давило, как-то уничтожало ее. Невольно при виде этой царской роскоши являлось у девушки сравнение с бедненькой беленькой светлицей, в которой она жила у отца; и Петровна казалась такой старой, сторбленной в сравнении с этими дородными, раскрашенными румянами боярынями, которые с этого времени должны были служить ей, ухаживать за нею.

Испуг прошел, осталось только смущение. Лицо Марьюшки горело, глаза растерянно бегали по сторонам; она чувствовала неловкость при виде того почета, уважения, ухаживания, которые рассыпались перед бедной дворянской девушкой, еще несколько часов тому назад скромно и тихо шедшей по улице со своей бабушкой...

«А где же бабушка?» – пронеслось у нее в голове. Она оглянулась, поискала ее глазами, но не нашла. Все эти новые лица мешались, путались перед нею; она опустила глаза и как будто окаменела.

Если бы спросили ее, она не могла бы дать ясного отчета в том, что происходило с ней. Она смотрела, слушала, но что творилось у нее перед глазами, что говорилось при ней, она

почти не сознавала; голова ее кружилась от неожиданности, от смущения и чего-то такого, чего она не испытывала никогда в жизни. Что-то странное, непонятное, никогда небывалое чувствовалось у нее на душе, на сердце. Детская, шестнадцатилетняя девичья душа вдруг начала просыпаться, мужать, делаться открытой для честолюбия, желания властвовать. Ей вдруг начали нравиться этот почет, низкие поклоны, царские, наконец, хоромы; ей не хотелось бы, было бы тяжело возвратиться к отцу; одного только ей недоставало теперь: ей бы очень хотелось, чтобы сюда во дворец привели ее старуху, мамушку Петровну. От волнения она вздрагивала, закрывала глаза, чтобы хоть немного прийти в себя; а боярыни все так же торчат перед ее глазами.

Явилось духовенство в облачении. Начали над ней читать молитвы, поминать имя Настасьи, надели на нее царский венец, какой обыкновенно надевали в подобных случаях на царских невест, и ушли. Ее начали поздравлять, называть царевной, Настасьей Ивановной.

«Какая я Настасья? Я Марья, – подумала она, – зачем они перекрестили меня?»

Подходят боярыни к ней, такие солидные, почтенные, целуют у нее, молоденькой девочки, руку. Царевне так зазорно, стыдно; она бы от этого стыда спряталась куда-нибудь подальше, так ей неловко протягивать руку.

«Чего ж, вправду, стыдиться? Теперь я царевна!» – приходит ей в голову мысль, и она смелее протягивает руку. Вот

наконец отворяются двери, появляются бояре Салтыковы, а за ними отец, дяди. Царевна вспыхнула, хотела броситься к ним, да боярыни как-то странно смотрят, что она не знает, что и делать, и остается на месте, тоскливо опуская голову.

А родные кланяются, царевна соромится, головка ее склоняется все ниже и ниже.

– Поздравляем тебя, царевна, матушка Настасья Ивановна, – слышится ей голос отца.

«И он, и он меня Настасьей величает, царевной. Господи, что ж это такое?» – думает бедная девочка, и слезинки наворачиваются на глазах, и готовы брызнуть они: так не нравится ей имя Настасья. Царевной величают, это ничего, хорошо, только бы Марьюшкой звали.

– Батюшка!.. – промолвила наконец царевна.

– Что прикажешь, царевна? – почтительно спрашивает отец.

«Царевна... прикажешь... уж и дочкой, и Марьюшкой не назовет», – думается ей, и так тяжело делается у нее на душе; тоска сжимает ей сердце. Хорошо быть царевной, только что-то уж скучно, все отказались от нее, словно и родни нет, и девочка-царевна готова расплакаться.

– Пришлите, батюшка, Петровну ко мне, – почти сквозь слезы просит царевна.

– Зачем она тебе, царевна? Что ей здесь, глупой холопке, делать? – отвечает отец.

– Мне без нее скучно будет!..

– Как царь прикажет, так тому, царевна, и быть, а я здесь не волен.

– Я попрошу... царя, – проговорила царевна и вспыхнула вся.

Визит был окончен; отец и дяди опять низко поклонились и подошли к ее руке; царевна обхватила шею отца и поцеловала его.

Наступал вечер. Царевна после всех волнений была почти больна. Боярыни ее оставили, но их место заняли бабка Желябужская и боярыня Милюкова.

Царевна начала тяготиться даже присутствием бабки, ей хотелось остаться одной, подумать, но ее не оставляли ни на минуту, не спускали с нее глаз.

«Господи, да это тюрьма какая-то!» – подумала она и тоскливо огляделась.

– Устала, царевна? – заботливо спрашивает ее бабка.

– Устала, бабушка, хочется вздохнуть немножко, посидеть... одной, – нерешительно произнесла последнее слово царевна.

– Что ж, останься, мы, пожалуй, уйдем, – промолвила бабка, поглядывая вопросительно на Милюкову.

Та поднялась, и они вышли.

Царевна взглянула свободнее, какая-то тяжесть спала с нее. Она вздохнула и слегка потянулась.

Небо было красно, обещал быть мороз. Царевна подошла к окну. Перед ней богатой панорамой разбросилось Замоск-

воречье, внизу лежала закованная в лед Москва-река, десятки церквей возвышались над деревянными постройками тогдашней Москвы.

«Ведь это все мое теперь, – думала царица, бросая взгляд на развернувшуюся перед ней картину, – все мое... и эти дома, и реки... и все, все».

Долго стояла она, глядя в окно, а тени все гуще и гуще ложились на город, в покое делалось темно, пришли зажигать свечи; царица отошла от окна и села в кресло.

«А муж у меня красивый какой будет, – думалось ей, – да какой добрый, ласковый... любить будет крепко».

И перед ней встала фигура молодого царя. Царица улыбкой вспоминает о нем, но мало-помалу фигура эта как-то ступшевывается и исчезает, ее заменяет другая... другой человек, другое лицо: глаза этого выразительнее, лицо смелее, красивее... Царица задумалась.

«Этот куда краше царя, – мелькнуло в уме царицы, и она испугалась при этой мысли, – ведь я теперь уж не своя, я невеста царская, а думаю о чужих, грех-то какой, батюшки!»

Но образ боярина так навязчиво лез в глаза. Царица краснела, мучилась, но Салтыков не покидал ее. Она встала и прошлась по ярко освещенному покою.

Услышав шаги царицы, снова явились в покой бабка с Милюковой. Они принесли с собой ящик с забавами, состоявшими из ниток жемчуга и драгоценных камней, принесли и сластей разных; у ребенка-царицы разбежались глаза... И

позабавиться хочется, и сласти куда как хорошо выглядят, так и манят к себе, и чего только не было наставлено здесь... Ребячество взяло свое, царевна набросилась на сласти.

– Не кушай много, царевна, не поздоровится тебе, – заметила бабка.

А царевна и слушать не хочет ее, улыбается да пробует сласти одни за другими.

Глава VII

Церемония выбора царской невесты была окончена; имя выбранной наречено; по церквам отдано приказание о поминовении на ектениях новой царевны. Все обряды исполнены, и уж далеко за полдень бояре и чины придворные, обязанные присутствовать при церемонии, почувствовали себя свободными и стали расходиться.

Михайло Салтыков вышел из дворца чуть не шатаясь. Все пережитое им нынче, разбитые в одно мгновение мечты, разбитые одним царским взглядом, одним словом; потом это перемоганье самого себя, старание не выдать себя, своего горя, поздравления царя в то время, когда на сердце лютая тоска, напускной веселый вид – все это тяжело отозвалось на боярине, сломило его, и, только выйдя из дворца, – когда обхватил его холодный, морозный воздух, – он немного пришел в себя. Но горе еще могучее, сильнее овладело им, но и то уж было легче, что здесь, на улице, он был свободен; он знал, что никто не наблюдает за ним, не подмечает его взглядов, он чувствовал себя свободным, но и покинутым, словно одиноким; и это одиночество чувствовалось нынче как-то глубже, делалось как-то страшнее.

Выйдя из дворца, он остановился на дворе. Были сумерки. Темнело. Салтыков стоял в раздумье. Заскрипели чьи-то шаги по снегу, он вздрогнул и обернулся – к нему подходил

брат Борис.

– Меня поджидаешь? – спросил подошедший. – Не думаешь ли зайти к матушке?

– Нет, я так остановился; целый день в хлопотах, устал, а на улице так свежо, хорошо, – отвечал Михайло.

– К матери-то зайдешь или нет? – снова спросил Борис.

– Нет, я домой...

– Она, чай, ждет, узнать хочет...

Михайло как-то неопределенно улыбнулся.

– Она, поди, и без нас знает, на что ж у нее Феодосия.

Они прошли молча несколько шагов. Борис искоса взглядывал на брата несколько раз, тот делался все мрачнее и мрачнее.

– Михайло? – заговорил нерешительно Борис.

– Ты что? – встрепенувшись, спросил Михайло.

– Что это ты?.. Словно не в себе?..

– Говорю, устал очень...

– Зайдем ко мне, благо ближе, посидим, потолкуем...

– О чем толковать-то?

– Потолковать есть о чем...

– По мне, так и зайдем, все равно...

И действительно, ему было все равно куда ни идти теперь. С братом ему особенно стесняться было нечего, о горе своем ему не было надобности говорить, а расстроенный вид мало ли чем можно было объяснить, оставаться же одному так тяжело, так страшно.

Они подошли к калитке, Борис постучал кольцом, быстро распахнулась она перед боярами. Большая, освещенная комната, уставленная широкими, обитыми персидскими коврами скамьями, приветливо встретила бояр.

Михайло подошел к столу и сел, рука его, запущенная в волосы, нервно перебирала их. Борис взглянул на него и подошел к двери, заглянул в нее и плотно затворил. Подойдя к столу, он сел напротив брата и пристально, не спуская глаз, несколько минут глядел на него. Михайло, потупив глаза, не проронил ни одного слова.

– Новый род, надо полагать, теперь явится, силу заберет, – прервал молчание Борис, все так же глядя на Михаила.

– Да, новый род... что ж, если и заберет силу... за себя что ж бояться?..

– Бойся не бойся, а того, что было, не будет!

– Был бы ты таким же, а то все по-старому будет.

– Ну, брат, этого не говори, женина родня, чай, поближе нас с тобою будет.

– А головы у этой родни лучше наших, что ли?

– Эх, Михайло, сам знаешь, что не то говоришь!.. Иной раз мошка какая-нибудь, дурак влезет в милость, и голова явится, и сила, а мы с тобой, люди умные, позади останемся, ни с чем, да, пожалуй, еще и в вотчины свои угодим, а глупые-то люди на наших с тобою местах заживут припеваючи.

– Никогда этого не будет, – уверенно отвечал Михайло, – глупому с умным тягаться тяжело, не сумеет он; значит, и

толковать об этом нечего.

– Почем знать, может быть, Хлопов и неглуп...

– Большого ума пока за ним не водилось...

– Да ты откуда это знаешь?

– Мало ли что я знаю! – уклончиво отвечал Михайло.

– Чует мое сердце, что немало нам придется возиться с новой-то родней царской.

– Ничего не придется. Боишься только да тревожишься напрасно... одно пойми: если мы с тобой и оплошаем, не сумеем сладить, так на что же у нас матушка с великой старицей Марфой Ивановной; сам, чай, хорошо знаешь, что Марфа Ивановна без матушкиного совета шагу не ступит, а царь пока у нее на веревочке ходит.

– Сам говоришь пока, а посмотри: женится – у жены на веревке будет ходить, да и то сказать, и матушка, и Марфа Ивановна куда немолоды, того и гляди, помрут, на них, значит, надежда плоха.

– Словно ворон закаркал! Погоди еще, поглядим, увидим, будет опаска, тогда и поговорим, и за дело примемся, а то что зря языком болтать.

– Не зря!.. Знаешь что? – торопливо заговорил Борис.

– Ну?..

– Надо бы, пока сила да власть есть, покончить с этими Хлоповыми.

– Как же это мы покончим с ними?

– Не будет царевны, не будет и их! – загадочно произнес

Борис.

Внутри у Михайлы что-то дрогнуло, словно оборвалось что, он с испугом взглянул на брата:

– Куда же ты ее денешь?

– Всякие ведь попадают в царские невесты, иная обманом войдет, а там, глядишь, и выйдет какая-нибудь порченная – ну и ссылают ее.

– Так, по-твоему, все должны быть порченными? Царю, выходит, и жениться не след?

– Зачем не след, коли на руку будет, пусть женится, только Марье, или как, бишь, ее, Настасье, царицей быть не след.

Михайло уставился на брата. Взгляд его как будто застыл; ужас и испуг отражались в этом взгляде.

– Нет, этому не бывать! – с силой, решительно произнес очнувшийся от первого впечатления Михайло.

– Иль струсил?

– Не ждал я от тебя этого, – заговорил в волнении Михайло, поднимаясь с места. – С бабами воевать, баб портить! – в негодовании продолжал он. – Ты родни боишься, что дороге у тебя перебьет, так и воюй с родней, царевну-то за что, она-то при чем?..

Борис с изумлением смотрел на него.

– И вот что скажу я тебе: ежели что случится... сам все открою, не погляжу, что брат, не пощажу тебя!

– Ты с ума сошел?!

Михайло поглядел на брата: и гнев, и презрение виделись

В ЭТОМ ВЗГЛЯДЕ.

– Бабий воевода! – проговорил он, выходя, не попрощавшись с братом.

Не легче стало боярину от разговоров с Борисом: от него он услышал то, чего прежде ему и в голову не приходило; да и как придет? Давно уже не практиковался выбор царских невест. После Грозного времени прошло немало. Он был еще ребенком при нем: откуда ему знать старые дворские порядки, да и старое-то все перемолото и по ветру развеяно; теперь все вновь, и самая жизнь какою-то новою кажется, а вот, поди, старая-то закваска дворская такую же осталась, глубоко, знать, корни пустила, коли молодые побегии пропитаны тем же ядом, как и старый, истлевший уже ствол: те же ковы, те же интриги, те же подкопы друг под друга. Уж если брат решился пуститься на такое дело, как порча царской невесты, что же другие-то, мелкота разная, которой терять нечего, которая ни перед чем не остановится, ни перед каким воровским делом, да и чего останавливаться, чем рискуют они? Головой? На кой она им прах? Одно из двух: или воровски да злодейски добудут желаемого, чтобы жилось хорошо, или голову сложат.

И жутко, куда жутко стало ему, страх обуял его за царевну, за его Марьюшку. Виновата ли она, этот ребенок, в том, что царю приглянулись ее чарующие очи, ее чудные брови, ее милое детское личико?

– Не дам ее в обиду, хоть голову сложу, предателем стану,

а ее не выдам! – шептал боярин.

А сердце все сильнее сжималось, да сильнее, больнее как-то делалось, тоска да грусть такие обуяли его, что в прорубь бы бросился, все легче бы было.

Пусто показалось ему в покоях; самые стены словно вместе с ним чувствовали эту пустоту, от них веяло таким холодом... Один он был в этих стенах, некому было развлечь его горе, его тоску. Если бы не этот камень, лежащий гнетом на его душе, задушивший в нем все живое, он расплакался бы, в слезах бы вылил эту тяжесть, да слез, к несчастью, не было: горе высушило их.

Давно ли, вчера ведь только, он был почти счастлив, вчера он думал, как посватается вслед за выбором царем невесты, думал о житье с Марьюшкой, своей любой. Все препятствия были устранены, ничего не стояло на дороге, забыл он только про одно обстоятельство, что и Марьюшку также будет смотреть царь, а при виде ее разве устоит кто, разве не привяжется к ней душой с первого же взгляда? Пусть бы уж другие препятствия, только бы не это, только бы царь не стоял на дороге. Салтыков при своей силе все поборол бы, все бы устранил попавшееся ему на пути, только у царя не вырвать ему Марьюшку; крепки царские запоры, не уйти ей из-за них, да и захочет ли она сама бежать оттуда, не увлечет ли ее почет, царская роскошь... она такой ребенок – соблазнится на всякую игрушку.

– Одно бы теперь, одно бы, – шептал боярин, – узнать,

люб ли я ей?.. Все легче бы... все взглянула бы когда ласково... да мало ль что бывает, может быть, я и дороже царя был бы для нее... всяко бывает...

Он провел рукою по лбу, как бы стараясь разгладить морщины.

– Эх! – крикнул он, сжимая захрустевшие руки и тряхнув головой, словно стараясь прогнать от себя этот мучающий его неотвязный призрак Марьюшки, да не так, видно, засела она у него на сердце, чтобы, тряхнув головою, можно было прогнать ее. Видится она ему теперь в царских покоях, смущенная, покрасневшая, со слезинками на глазах; видится она ему такую, какою была сегодня утром, в девическом царском венце... видится ему царская опочивальня... она вдвоём с царем, он ласкает ее, целует ее лицо, обнаженные плечи... ластится и она к нему, как голубка, обвивает руками его шею, целует его, голубит, и стынет кровь в его жилах при одной этой мысли, и немеет он, и дрожь пробегает по телу, а голова все ниже и ниже склоняется и бессильно падает на порывисто дышащую грудь.

Глава VIII

Новизна положения для Марьюшки скоро закончилась: сначала все ей было в диковинку: и одевание ее, когда она проснется, и ухаживание, хола да нега, и на сласти разные набросилась она по-детски, а потом приелось все ей, прискучило, начала она скучать. Дома куда веселее было: и пошмеется, бывало, и порезвится, и пошутит со своей доброй мамушкой Петровной. Вольно было... а здесь эти чопорные боярыни... шагу ступить не дадут, заперли, словно в клетку, и сторожат, в глаза заглядывают, вечно торчат перед ней; заскучает – пристают к ней с расспросами: здорова ли, может-ся ли ей... Так все это скучно. Выпадает часок-другой в день – останется она одна в покое, и тогда не веселей делается, не знает, за что приняться; подойдет к окну, перед глазами одна картина: тот же снег, та же замерзшая река, то же Замошворечье. Царь ли придет, тоже не легче: совестно как-то делается ей, стыдно, глаз не подымет. Возьмет он ее за руку, а сам молчит, и царевне словно не хватает чего, ей хочется ласки не такой, какую царь оказывает ей. Ей хочется любви, страсти; поглядит она искоса на царя: лицо у него такое доброе, ласковое, смотрит на нее с любовью, да все не то, все словно чего-то недостает, и защемит девичье сердце, слезы набегут на глаза. Царь, заметив это, делается еще ласковее, нежнее, а ей, напротив, досаднее, обиднее: и на себя злится,

и не знает, куда сбежала бы в это время.

– Что это, Настя, ты словно боишься меня, не любишь? – конфузливо спрашивает ее царь.

Царевна смутится, не знает, что сказать ей, а царь не отстает от нее с расспросами, он встревожен молчанием царевны, в глаза ей заглядывает.

– Люб ли я, Настенька, тебе? – дрожащим голосом спрашивает он невесту.

– Люб... – нехотя, краснея, отвечает царевна.

– Что же не поглядишь на меня, словно сторонисься?

Царевна взглянет на него, и будто жалко ей станет царя: загорится в ее глазах сожаление, а может, и ласка блеснет в них.

– Нет, царь, ты мне люб, очень люб! – отвечает она, глядя на него, и хочется ей любить его... хочется... и думается, что и впрямь она любит, что он дорог ей.

А царь, глядя в ее ласковые глаза, не чувствует себя от радости. С каждым днем он все сильнее и сильнее привязывается к своей царевне; ему кажется, что без нее и не жить ему, без ее ласки, без этих томных, чарующих глаз и солнышко не так будет светить ему: берет он ее за руку и сжимает. Царевна улыбается, отвечает таким же пожатием, и оба краснеют, и у обоих какая-то нега разливается по телу.

Уйдет царь, и опять скука... и стыдно ей делается за свои речи, за ласки.

«Что это, словно и муж он мне, что я говорю ему такие

срамные речи, что люб он мне и руки еще жму!» – думается ей, а сама покраснеет, разгорится... Явятся опять боярыни, рассматривают ее раскрасневшееся личико, лукаво улыбаются, перешептываются, а ей становится еще стыднее, отворачивается от них, чуть не плачет.

– Ласков ли царь? – лезут к ней с расспросами.

– Знать, ласков. Вишь, царевна зарделась как вишенка. Девушка без мужской ласки так не зарумянится, – отвечают за нее боярыни.

«Господи, что ж это такое, что им нужно от меня?! Кабы обвенчана была, царицей, прогнала бы сейчас, а то царевна, царевна, а власти вот нет их выгнать!» – горюет царевна.

Наступает ночь, и тогда только успокаивается наконец царевна. Остается она до утра одна, совершенно свободная, никто и ничто не стесняет ее, завалится она в свою постельку и не заснет крепким сном, как засыпала, бывало, прежде, когда жила у отца, а долго, долго думает о пережитом дне, о будущем. Куда стала теперь серьезнее царевна против прежнего: думает о тех, кого видела, что слышала, что завтра будет; а завтра, говорят, нужно идти к жениховой матери, великой старице Марфе, подарки ей нести, а уж куда как не хочется видеть ей эту строгую, суровую монахиню. Была она у нее раз, так холодом от нее и повеяло, не полюбила она ей с первого взгляда, обошла она с царевной так неприветливо, сердито, словно не по душе ей было брать царевну себе в невестки, а завтра нужно опять идти, опять терпеть пытку...

хоть бы свадьба скорей, авось лучше бы было.

«А отчего это Салтыков с меня глаз не спускает, смотрит так жалостно, так жалостно... что тоску нагоняет, жалеет меня, должно быть, знает, что несладко живется мне здесь... смотрит совсем не так, как тогда, в церкви... а он, должно быть, добрый, такое лицо у него хорошее... куда красивее царя... вот если бы он вместо царя... как бы я любила его!» – раздумывает, засыпая, царевна.

А во сне опять Салтыков не дает ей покоя: снится ей, что она в деревне, в саду, только не маленькая девочка, а такая, как теперь – невеста-царевна, а он возле нее, говорит ей такие ласковые речи, и уж куда жутко делается царевне от этих речей.

Проснется она и смотрит испуганными глазами по сторонам; никого нет, лампы тускло освещают ее опочивальню; она перекрестится, закроет глаза и начнет читать молитвы от дьявольских наваждений; уснет – и опять лезут ей в глаза бабки, боярыни, царь, будущая свекровь, все это путается между собою, мешается... Царевна открывает глаза, а на дворе уже свет брезжит. Настанет утро, явятся боярыни, и опять наступает день, так похожий на вчерашний, такой же и дальше будет... и дальше...

Тянутся эти дни медленно, один за другим, проходят недели, наступил пост, а там и весна пожаловала, вскрылась река, зазеленели сады, стала как-то вольнее, свободнее дышать грудь, а царевна все томится и томится в своей золо-

ченной клетке, величаемой верхом царского дворца, никуда не выходит, только и знает один выход – в церковь да в Вознесенский монастырь к великой старице. В последнее время хоть немного стало веселей, заговорили о свадьбе, начали готовиться к ней, наряды шить.

– Перед таким делом к Сергию преподобному нужно съездить, помолиться святому угоднику, – заметила как-то великая старица.

Решено было вскоре после Святой недели отправиться на богомолье, в лавру, а по возвращении оттуда отпраздновать и свадьбу.

Глава IX

Словно в поход собирались на богомолье. Длинный поезд двинулся в путь; чуть не целую версту занял он, наполненный боярынями, придворными челядинцами, немало и стрельцов сопровождало царя. Великая старица в свою очередь окружена была монахинями, в числе которых находилась и мать Евникия с своей неразлучной спутницей Феодосией, которая не с одним уже стрельцом успела перемигнуться огненным взглядом, перекинуться двусмысленным словом.

– И пес девка, даром что черноризка; одно слово – огонь! – говорили между собою стрельцы.

– Какая она черноризка, это ее только нарядили жуком, а она небось спит и видит, как бы замуж выскочить.

– Зачем баловать, замуж! Так сманить можно, отчего же, поди ищи ее тогда в нашей слободе.

– Ну не на ту напал; видишь, в ней сто бесов сидит, она те проведет и выведет.

Но не то совсем думала Феодосия; она никого не хотела проводить, ей бы только волюшки дали, волюшки беззаветной, гульбы с молодым парнем. Нагулялась бы, пожила бы вволю, а там хоть и опять в черную рясу да за высокие монастырские стены, а то куда невесела жизнь у Евникии: только ханьжи да притворяйся, знай только подслушивай да переноси, а благодарности немного увидишь, да и молодость

уходит так себе, зря, задаром; и мечет Феодосия соблазнительные взгляды направо и налево и ищет себе счастья.

А Евникия в это время сидит в рыдване темнее ночи, извелась она, глядя на своего сына любимца, видит она, что тает он, знает и причину, отчего тает, да ничего не поделаешь, ничем беды не поправишь, хоть и сможет она расстроить царскую свадьбу, хватит у нее на это и умения и силы, да что проку-то в этом?! Если и разойдется свадьба, царевну сошлют сверху, ушлют туда, куда ворон костей не заносил, все равно не видать Михайле как своих ушей царевны... А сын худеет да изводится от тоски на ее глазах, и щемит и болит материнское сердце.

Всех веселее в эту поездку была царевна: уж как рада она была вырваться из своей неволи; глаз не спускает она с поля; весело ей, и дышится так хорошо, вольно, чувствует она себя еще добрее, глядит на всех так ласково. Поймал не один из таких взглядов и Салтыков, и обрадовался он, и расцвел; глаза заблестели, повеселел он, грезится ему что-то хорошее в будущем, думает, что недаром взглянула так на него Марюшка, – знать, и он люб ей; и не ошибался в этом: хоть и не хотела царевна сознаться себе, но люб был ей боярин – куда милее жениха... Она не могла, не в состоянии была дать отчет в этом чувстве. А у Салтыкова сердце бьется чаще, усиленнее, ни на шаг не отъезжает он от царевниного рыдвана.

Из-за верхушек леса мелькнули и засияли в воздухе золотые купола лаврских церквей. Салтыков нагнулся к откры-

тому окну рыдвана.

– Троица видна, царевна! – сказал он дрогнувшим голо- сом; это были первые его слова, обращенные к ней дорогой.

– Где, где Троица? – спрашивает царевна, хватаясь руками за окно рыдвана.

– А вон! За верхушками главы блестят! – указывает Сал- тыков.

Царевна высунулась из окна; Салтыков хотел поддержать ее и схватил за руку, немного выше локтя. Дрожь пробежа- ла у него по телу от этого прикосновения, он покраснел, ру- ка слегка задрожала, он слегка пожал руку царевны; та по- чувствовала это и мельком, так ласково, нежно взглянула на него, а сама покраснела, даже шея вспыхнула. Салтыков по- терял голову, он сильнее сжал руку. Царевна вздрогнула, она повела на него глазами, и сколько ласки было в этом взгля- де!..

– Больно, боярин! – шепнула она.

Но Салтыков не помнил себя, не сознавал, что делал, не сознавал того, чему подвергался, если бы чей-нибудь посторо- нний глаз подметил, как он жал руку, если бы чье-нибудь ухо подслушало шепот царевны. Он впился глазами в нее, он видел, как она вспыхнула, как взглянула, как теперь смотрит. Глядит он на нее – не наглядится; на лице у него показалась такая добрая, ласковая улыбка. Царевна повела плечом.

– Больно, боярин, право же, больно, – снова шепчет она, тихонько стараясь освободить свою руку, а сама глаз не спус-

кает с него.

Салтыков выпустил руку, взглянул на нее последний раз. Царевна словно не сердится, глаза такие добрые, ласковые, она нагнула голову, будто поклонилась, и села в рыдван; боярин пришпорил коня и вихрем умчался вперед.

Царевна не помнила себя, сердце у нее забилося так сильно, словно из груди выскочить хотело, дышать ей было тяжело, трудно, но на душе было так хорошо, весело.

«Господи! Да что ж это делается со мной, что случилось только?.. Как это я не выругала его за охальство; разве он смеет так обходиться со мною?.. Впрочем, ведь не хотел же он меня обидеть... знать, полюбила я ему, недаром гоняется да глаз с меня не спускает, а уж на душе-то как хорошо у меня, никогда еще со мной этого не бывало, – думала царевна. – Только грех-то, грех какой, не отмолить его, что я теперь батюшке на духу скажу? Господи, что я только надела! Экой проклятый подвернулся, просто дьявол искушает!»

При последних мыслях царевна побледнела; Желябужская, наблюдавшая за ней, испугалась.

– Что это с тобой, матушка, творится, – заметила она, – то огнем пынешь, то белее стены делаешься?

– Не знаю, бабушка, – отвечала, снова покраснев, царевна, – как сказал боярин, что Троица видна, так у меня сердце забилося, что и теперь не вздохну.

– Дело доброе. Это от радости; и святой угодник, видя твое усердие, будет к тебе милостив, – поясняла Желябуж-

ская.

Царевна была тем более рада подобному объяснению, что ее оставляли в покое, не лезли к ней с расспросами; она нагнулась к окну и осмотрелась по сторонам. Салтыкова не было видно.

«Где же он, проклятый, куда пропал?» – думалось царевне.

А «проклятый» был далеко, не помня себя, скакал он; мысли, одна другой светлее, радостнее, целою вереницею проносились у него в голове; он никогда не испытывал такого счастья, как нынче.

«Как посмотрела-то она! Боже мой, чего бы не отдал я, только бы моей была, хоть день один... хоть час! – бредил, скача во всю мочь, Салтыков. – Ничего не поделаешь, ну да и то милость Божия, значит, не противен я ей – не противен, коли так смотрит».

Опомнился он только у ворот лавры. Там стояло уже в ожидании царя духовенство с хоругвями и крестами. Салтыков соскочил с лошади, вскоре показался и царский поезд. Он подскочил к рыдвану царевны, хотел помочь ей выйти, но, встретив сердитый, холодный взгляд ее, смутился и отошел.

«Что ж это такое? – мучился боярин. – То ласкова, то сердита, не поймешь ее».

Но, пройдя несколько шагов, царевна оглянулась, ища его глазами; он заметил это и снова ожил.

Целую неделю прожил царский двор в лавре; царь и царица гонимы; не один раз царица во время службы глядела на окаянного, смутившего ее покой боярина и подолгу не спускала с него глаз; далеко уносилась она в это время от молитвы; мысли ее были заняты другим, более мирским делом, где первое место принадлежало Салтыкову. Невольно сравнивала она его с царем, и преимущество оставалось за боярином; напрасно она старалась молиться, усердно клала земные поклоны; грешные, по ее мнению, мысли не покидали ее; она страдала, мучилась и вместе с тем жила такую полною жизнью, какою никогда не жилось ей прежде; и, странно, несмотря на страдания, она ни за что не хотела бы расстаться с этой жизнью.

Пришло время исповедоваться. Царица с трепетом, дрожа всем телом, приблизилась к духовнику, рассказала ему все свои детские грехи, все свои помышления, только не заикнулась ни словом об искушении, постигшем ее дорогой, и тех мыслях, которые явились влестствие этого искушения; новое чувство, которое она теперь начала сознавать, она запрягла глубоко-глубоко; затаила его от всех и готова, кажется, была скрыть его даже от самой себя.

Глава X

Поездка в лавру не осталась без важных последствий для многих из участвовавших в ней. Во время поездки Борис Салтыков окончательно убедился в том, что был прав, когда говорил брату о неизбежном возвышении рода Хлоповых. Во время этого путешествия ближе всех к царю находились родичи царевны; царь оказывал им внимание, был ласков, так же ласков, как прежде бывал с Салтыковыми; выслушивал их внимательно. Было заметно, что он начинает попадать под влияние, казалось, недалеко то время, когда молодой, неопытный царь будет орудием в руках стремительно поднявшихся Хлоповых, будет смотреть их глазами и творить то, что им вздумается.

Понятно, что при таком положении дела Салтыковы волей-неволей должны были отступить на второй план, отодвинуться, стушеваться; положим, что по праву близкого родства с царем они не потеряют окончательно влияния при царском дворе, не потеряют своих почетных мест. Но уже разделение этого влияния и силы с какими-то худородными, бедными дворянами Хлоповыми было зазорно для Салтыковых; им нужно было все забрать в руки, всецело, безраздельно пользоваться властью. Давно уже Борис, с самого дня избрания Марьюшки в царские невесты, не понимая ослепления и какой-то странной бездеятельности брата, начал неза-

метно вооружать мать против Хлоповых, вести при ее помощи подпольную интригу против родни царевны. Давно уже великая старица благодаря этой интриге морщится при одном имени Хлоповых, косится на свою будущую родню, да и самую царевну еле терпит. Если бы не обычай – этот неумолимый закон в тогдашней Руси – она готова бы была не пускать царевну к себе на глаза. Не будь Марьюшка нареченной царевной, не поминай ее на ектении как царевну, она не поцеремонилась бы, она употребила бы все свое влияние, всю свою власть над сыном, чтобы расстроить этот брак, но при настоящем положении дела сделать это было нелегко; сведение царевны с верха грозило серьезным, громадным скандалом; приходилось, скрепя сердце, молчать и терпеть, ожидая какого-нибудь уважительного обстоятельства, чтобы можно было сразу, неожиданно произвести погром. Это-то невольное молчание, вынужденное бессилие волновало и бесило великую старицу. Борис все это видел и всеми силами старался раздуть это пламя, оставаясь в то же время в стороне, незамеченным.

А Михайло, под живым впечатлением пахнувшего на него счастья, вполне отдался своим радужным мечтам; он на все махнул рукой, готов был сделаться сторонником Хлоповых, вступить в борьбу с братом, со всем влиятельным и сильным боярством, только бы оставили в покое его царевну, только бы можно было, хоть урывками, глядеть ему в ее ласковые очи, прикасаться к ней, молиться на нее, чтобы в ответ на

ЭТИ МОЛИТВЫ УСЛЫШАТЬ ХОТЬ ОДНО ЛАСКОВОЕ, ЛЮБОВНОЕ СЛОВО, ПОЙМАТЬ НЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД, НЕ ВСТРЕТИТЬ ХОЛОДНОГО, НЕДОВОЛЬНОГО, СЕРДИТОГО ЛИЦА.

Теперь уже картина ее ласк царю не мучила его так, как в первое время.

«Что ж, пусть ласкает, – думал он, – ласки-то эти ведь подневольные, не поглядит она на него так, как на меня взглянула, не прошепчет ему так ласково, как шепнула мне дорогой, – пусть его тешится... Увидать бы только мне ее теперь одну-одинешеньку, с глазу на глаз, когда не глядят за нею, поговорить бы с нею по душе... Знаю, уверен почти, что любит она меня, только бы от нее услышать хоть одно слово о том, авось и на мою долю выпадут ее ласки, что ж, разве не было примеров?.. А уж коли выпадут, так не такие, какие останутся немилому мужу, а другие, жаркие, горячие... один бы только раз, а там будь что будет, хоть голову пусть снимут с плеч, буду знать, за что сняли, упыюсь уж зато счастьем-то».

Мысль о свидании с царевной с глазу на глаз крепко засела в его голову, долго обдумывал он, как бы устроить это, как бы повидать свою любу, услышать от нее решительное слово, люб ли он ей?

Насколько Салтыков был счастлив после путешествия на богомолье, настолько несчастна была царевна. Она с ужасом заметила, как сильно развилось, несмотря на все ее старания заглушить в самом корне, это чувство; она ясно теперь сознавала, как мил, как дорог ей боярин. При одном воспоминании

нании о нем ее бросало в краску, сердце усиленное билось, на глазах блестели слезы, а на сердце так хорошо делалось, весело. Но чистая натура ее возмущалась против этого чувства, она сознавала, что нарушает долг, что не права она перед царем. Царевна твердо решила, если не забыть боярина, то, по крайней мере, ни взглядом, ни словом не выдать того, что творилось с ней; авось отстанет, а там как-нибудь обойдется все. При необходимых встречах с Салтыковым она избегала его взгляда, старалась развлечься чем бы то ни было, только бы не думать о нем.

Царевна рассыпала ласки царю, когда он навещал ее, а тот не наглядится на свою невесту, не наслушается ее голоса, с таким нетерпением ждет он свадьбы, а свадьба все отодвигается да отодвигается; то одно не готово, то другое, а там послы явились шведские, мир заключили с ними, нужно было праздновать этот мир, начался целый ряд торжеств, празднеств.

Был вечер, тихий такой, весенний; в растворенные окна царских теремов волнами врывался свежий, здоровый воздух. Царевна сидела в кресле одна, боярыни оставили ее; ярко горели вдали главы Симонова монастыря, царевна загляделась на них и задумалась.

В покое послышался шорох, царевна вздрогнула и обернулась, показалась фигура мужчины, она вскочила на ноги, перед ней стоял Салтыков. Царевна схватилась рукою за грудь, она испугалась, сердце замерло, в груди словно оборвалось

что.

– Ты... боярин... здесь?.. Зачем? – еле могла выговорить царица.

Она тряслась всем телом, не сознавая ясно, что угрожало ей, чем именно был опасен для нее приход боярина; она замерла от страха.

– Зачем?.. Что тебе нужно, боярин?.. Уйди... скорей уйди отсюда! – лепетала она, не помня себя.

– Царица! – заговорил Салтыков, голос его дрогнул, он быстро менялся в лице. – Царица, прости, что испугал тебя... я давно искал случая повидать тебя одну, – продолжал он, – поговорить с тобой...

– О чем нам говорить с тобой, боярин? Уйди, увидят тебя здесь, нехорошо, право, нехорошо, уйди! – взмолилась она.

– А может, царица, и есть о чем, почему знать? – проговорил боярин. – Ты не бойся, я давно искал случая, сюда никто не придет, я постарался об этом, нам не помешают... – торопливо продолжал Салтыков, подходя к царице.

«Что мне делать, что делать-то? – шептала про себя царица. – Зачем он пришел, что задумал, что ему нужно от меня?»

Ноги у нее подкашивались она не могла стоять и тихо словно подкошенная, свалилась в кресло. Салтыков стал решительнее, он подошел к царице и остановился у кресла. Она с испугом глядела на него.

– Не впервой, царица, ты видишь меня здесь, во дворце,

– заговорил Салтыков, – помнишь деревню? Часто я видал тебя в саду, ты была тогда маленькой девочкой... потом три года я не видал тебя, а из головы, из памяти, ты не выходила у меня... потом я встретил тебя в Москве... в церкви... в монастыре и... – Он замолчал.

– Помню, боярин, все помню, – упавшим голосом отвечала царевна, – только зачем ты вспоминаешь про все это, то все прошло... уйди, уйди, боярин, – вдруг взмолилась она, – зачем ты пришел?..

– Неужто ж, царевна, ты не догадалась, не поняла, – снова дрожащим голосом проговорил Салтыков, – не поняла, зачем я искал тебя всегда, отчего я не спускал с тебя глаз; неужто ж ты не поняла, что полюбила ты мне, что без тебя жить не могу я... Вырвали тебя, царевна, у меня, – продолжал он, схватив ее за руку.

У царевны дрожь пробежала по телу от его прикосновения, ее бросило в жар, но руки она не отняла, не в состоянии, не в силах была отнять.

– Вырвали тебя у меня, – продолжал боярин упавшим голосом, – против этого ничего не поделаешь, не отнять тебя у царя... ну, да и им не вырвать у меня из души, из сердца тебя... теперь дороже ты мне еще стала, царевна... ты приказала уйти, – не могу... не в силах я... я и пришел сказать тебе это... душу тебе открыть... любя ты мне... так любя, что голову на плаху положу за тебя... мне ничего не нужно, царевна... будь ты царицей... скажи только, что я люб тебе... мне

нужна только твоя ласка... твой взгляд добрый, ласковый... такой... помнишь дорогой... под Троицей... скажи, царевна! – взмолился боярин. – Одно только слово и скажи... что же молчишь, Марьюшка? Любимая, дорогая! – шептал он, наклоняясь к ней.

Царевна, слушая его речи, не могла прийти в себя; и жутко ей было, и страшно, и хорошо в то же время; голова кружилась, в глазах было темно, она не знала, где она, что делается с ней, она была в забытьи, близка к обмороку. Салтыков нагнулся еще ниже; не выпуская ее руки, он шептал все тише и тише; шепот этот опьянял царевну. Салтыков обнял ее, прижал к себе, голова царевны бессильно упала к нему на грудь, что-то горячее, жгучее коснулось губ царевны. Обожгло их, она вся затрепетала, слезы брызнули из глаз, она бессознательно прижалась сама еще крепче к боярину, а горячие поцелуи осыпали ее губы, щеки, глаза, волосы...

«Что он со мной делает? Боже мой, боже мой! Что нужно ему от меня? Ведь я царевна, невеста. Полюбовницей своей хочет сделать... целует, обнимает. Что я царю теперь скажу?»

При этих мыслях краска стыда покрыла ее лицо. Опьянение от горячих боярских ласк прошло, заговорило негодование, оскорбление – как смел боярин так оскорбить ее, невесту царскую, когда он по отношению к царю, а следовательно, и к ней не более как раб, холоп; и этот холоп обнимает ее, целует, называет своей любимой, какая она ему любима!.. По-

любовницей хочет ее сделать, оскорбить царя, такого доброго, ласкового... Любит он ее? Так что ж прежде-то глядел, чего ждал? Ждал, чтоб она стала чужой женой, да еще чьей! Не высоко ли забрал он? Что ж, и она его любит, да умела же скрывать, только сегодня он своими ласками да лукавыми речами заставил высказать ее свою слабость. Досада, злость на себя, раскаяние в своей слабости охватили царевну, она собрала все силы и, оттолкнув Салтыкова, вскочила на ноги; в это время еще краше, еще лучше была она.

– Прочь!.. Как ты смеешь?! – задыхаясь, проговорила царевна.

– Царевна!.. Марьюшка... Господь с тобой... опомнись!.. – пробормотал ошеломленный Салтыков, не понимая такой резкой, быстро происшедшей перемены в царевне.

– Опомнись ты, боярин! Ты вспомни, куда пришел? – отчетливо, грозно произнесла царевна. – Ты, знать, забыл, что находишься в царском дворце; куда забрался ты предлагать свои холопские ласки да любовь?

Салтыков еле устоял на ногах.

– Что ж это, сначала на грудь припала, плакала, а потом оскорбления! Холопские?! – переспросил Салтыков, глаза его блеснули огнем.

– Какие же еще... не царский ли ты холоп?!

– Царевна! Люблю я тебя, но обиды не прощу и отцу родному, – медленно проговорил боярин.

– Обиды? Ты ополоумел, знать, боярин? Не ты ли обидел

царя? Скажешь, не вольна я, царевна, называть тебя холопом?

– Но не царица еще, помни, не захочу я, и не будешь ею!

Царевна принужденно засмеялась:

– Смешон ты, боярин, со своими угрозами! Уходи вон отсюда; сам знаешь, несладко тебе будет, коли позову кого... уходи же подобру-поздорову.

Этот смех, это указывание на дверь совсем ошеломили Салтыкова; смех этот возмутил его, потряс, оскорбил до глубины души.

«Что ж это, издевка надо мной?» – думал он.

– Опомнись, царевна, образумься, что ты делаешь? – попытался он снова заговорить, надеясь уладить как-нибудь дело. – Ты сама знаешь, не царь я, но сильнее царя! Никто, никогда, царевна, не оскорблял меня так, как оскорбила ты нынче... я прощу... я забуду... все забуду... ты не поняла меня... не полюбовницей нужна мне ты... ласка, ласка только твоя, Марьюшка.

Угрозы Салтыкова окончательно вывели из себя царевну:

– Не Марьюшка я тебе! Я царевна Настасья Ивановна! Я приказываю тебе сейчас же выйти вон!

– Вот что?! Царевна! – со злобой на лице проговорил Салтыков. – Царевна! Так помни же, царевна, что этот холоп, – продолжал он, ударив себя в грудь кулаком, – этот холоп сорвет с тебя царский венчик... раздавит его... сведет тебя с верха... Теперь холоп этот заговорит с тобой иначе... не мо-

лить он тебя будет, а требовать... Выбирай теперь: или будешь моей, или – ссылка! – произнес Салтыков вне себя, не отдавая отчета в своих словах.

Негодование охватило царевну, у нее не осталось кровинки в лице; она медленно подняла руку, указывая ею на дверь.

– Вон, холоп, иначе я подниму тревогу, сзову боярынь, расскажу о тебе царю!.. – проговорила царевна. Глаза ее горели; она становилась все бледней и бледней.

Салтыков низко поклонился.

– Прости, царевна! – прошептал он, улыбаясь. – Скоро свидимся, да уж попомни, кстати, когда будешь рассказывать царю про мою холопскую дерзость... Расскажи уж заодно, как этот холоп обнимал и целовал тебя и как к холопу прижималась и припадала на грудь царевна.

Он еще раз поклонился и вышел.

Нелегко было уходить ему от царевны, от того свидания, которого он так жаждал, которого добился с таким трудом; он мог ожидать холодного ответа, отказа, но оскорбления, презрения не ожидал он, не думал, чтобы его любя, его царевна указала ему на дверь. Он вышел, шатаясь. Слово «холоп», услышанное им от царевны, вызвало в нем злобу, он не мог сказать, что чувствовал в эти минуты к царевне; жажда мести охватила его. Он никак не мог примирить прошлое поведение царевны с тем поступком, который она сделала нынче. Ему хотелось отомстить ей как можно больше, чтобы она почувствовала те же муки, какие переносит он. Нужно

бороться – отказаться от этой борьбы, если бы он даже и желал, было невозможно: он хорошо сознавал всю опасность, какая угрожала ему, если царевне вздумается рассказать царю о нынешнем вечере. Царевна ушла от него, ее не воро-тишь, терять голову было бы безрассудно. Напротив, потеряв в жизни все, нужно было спасать хоть жизнь, а спасти эту жизнь можно было только гибелью царевны, гибелью быстрой, спасая себя, нечего было жалеть ее.

Марьюшке было не легче, она хорошо сознавала, какое глубокое оскорбление наносила она любимому человеку; она сознавала, что не могла поступить иначе, что должна была поступить так, и это исполнение долга давило, мучило ее; кроме того, угрозы Салтыкова возмущали, приводили ее в негодование.

– А все-таки люб он мне, люблю его, постылого, люблю! – зарыдала царевна, падая в кресло.

Глава XI

«Спешить надо, – думал, идя дорогой, Салтыков, – спешить приниматься за дело, проболтается царевна в сердцах – все пропало... нужно спастись... Ну и царевна! Салтыков – холоп!.. Погоди, царевна, попросишь и у холопа пощады и милости, да будет поздно!»

Он направлялся к Вознесенскому монастырю, к матери. Тихо вошел он в келью, поздоровался с матерью, с братом, который сидел здесь же. Евникия взглянула на сына.

– Что это, али неможется тебе? – спросила она его, увидев бледное, расстроенное лицо сына.

– Неможется, матушка.

– Может, так же, как и Борису?

– А что Борис? – спросил он, взглядывая на брата.

Борис сидел потупившись, он был бледнее брата, рука его, лежавшая на столе, нервно барабанила пальцами.

– Что такое, Борис, скажи? – снова повторил свой вопрос Михайло.

– Новая родня царская коготки начинает показывать, – отвечала за сына Евникия.

– Как так?

– Вот он тебе расскажет.

Михайло смотрел на брата, тот молчал.

– Расскажи, Борис, что случилось, – спрашивал его Ми-

хайло.

– А то, – дрогнувшим голосом заговорил Борис, – то, что всякая мошка, голытьба начинает позорить, оскорблять нас.

– Да, оскорбляют! – неопределенно заметил Михайло.

– Какой-нибудь Хлопов чуть не холопами нас считает.

– Говорят – холопы! – подтвердил опять Михайло.

– Ты как хочешь там, – продолжал Борис, – а я молчать да смотреть на то, как они начинают власть забирать да помыкать нами, боярами, не стану; или они пусть властвуют, или мы, а уж не попусти насмехаться над нами! – решительно, твердо произнес Борис.

– Да в чем дело-то?

– Ты знаешь оружейную! Уж на что мастера есть, сам гляжу, как работают, сам во все вхожу, добиваюсь и добыюсь, что наши клинки не будут уступать турецким, ну да что толковать об этом, чай, сам знаешь...

Михайло утвердительно кивнул головой.

– Сегодня царю вздумалось похвалиться своим оружием перед Хлоповым, не Иваном, а тем... Глебом; повел его в свою оружейную, и я здесь же. Взял царь турецкую саблю, полюбовался ею, погнул – гнется, как змея.

«А что, – говорит потом Хлопову, – у нас сделают такую аль нет?»

Взял тот саблю в руку и ухмыляется, да так ехидно, словно гадина какая, так во мне все и закипело.

«Что ж, отчего не сделать – сделают, – говорит, – только

такова ли будет?»

А сам все ухмыляется, ну тут уж я не выдержал. Скажи он это без усмешки, может, я и смолчал бы, а тут не мог, вырвал я саблю у него из рук... обозвал неучем... вижу, наступает: я ему слово, а он мне десять, да так хамское отродье и лезет, так на горло и наступает, таких речей от него наслушался, что отродясь не слыхивал, да вряд ли и услышу...

– Что же царь-то?

– Что царь! – с усмешкой проговорил Борис. – Царь молчит да слушает, как меня поносят, нет того, чтобы остановить нахала, глотку ему заткнуть, – продолжал он с гневом, – нет! Пусть, мол, попорочит его, пусть посмеется... ему, знать, любо...

– Неладно! – промолвил Михайло.

– Чего же тут ладного! Опять говорю, как знаешь, Михайло, так и делай, а я примусь за дело, а то лучше и не жить.

– Примусь да примусь, заладил одно, нужно приниматься умеючи, толково.

– Сумеем, небось у тебя ума-разума занимать не станем, совета не попросим.

– Напрасно, иной раз и я не был бы лишним.

– Хотите приниматься за дело, – вмешалась в разговор молчавшая до сих пор Евникия, – а ссору меж собой затеаете, какой же прок выйдет? Михайло правду сказал, что за дело нужно приниматься умеючи; кто бы там ни были Хлоповы, а побороть их не так легко, как ты думаешь, Борис,

у них крепкая есть стена – царевна... того и гляди, свадьба будет, тогда уж ничего не поделаешь... Нужно торопиться, теперь, может быть, успеем еще что-нибудь сделать, попытаемся...

– Ты что задумала, матушка? – спросил Борис.

– Что задумала, не скажу, сам догадайся. Ты как думаешь, что в дереве важнее: корень или ветви?

– Полагаю, корень.

– Ну, так если корень-то вырвать из земли, будет жить дерево или нет? Так вот я и думаю, что прежде всего за корень нужно приниматься, вырвем его – ну и ладно; тогда о ветвях-то и хлопотать нечего.

Борис оживился, он понял мысль матери, это было то, о чем он с самого начала говорил брату. Михайло сидел молча, потупившись.

– Я давно, с самого начала тоже так думал, – произнес Борис, – говорил с Михайлом об этом, да он тогда на стену полез, затвердил одно: не дам, не попущу, и конец.

Евникия взглянула на Михайлу, она понимала, почему Михайло лез на стену, знала причину, знала также и то, что причина эта существует и теперь.

– Можно без вреда, на время дурь навести, а там скоро все пройдет и следов не останется, – нерешительно, как бы спрашивая, говорила Евникия, глядя на Михайла.

Тот исподлобья вскинул глаза на мать:

– Но мне все равно, на время ли, навсегда ли, делайте как

знаете.

Согласие Михайлы немало удивило как мать, так и брата.

– Постараюсь, заготовлю, – заговорила торопливо Евникия, – а там уж сами постарайтесь, только осторожнее.

Послышался шум, все притихли и напряженно смотрели на дверь. В келью поспешно вошла раскрасневшаяся Феодосия.

– Что это шумят там? – спросила Евникия.

– У великой старицы, – отвечала поспешно Феодосия. – Из дворца прибежали, она собирается к царю идти.

– Что такое, что там случилось? – спросили все в один голос.

– С царевной что-то попритчилось...

Михайло вскочил, он был бледен, глаза страшно уставились на Феодосию; ему нужно было опереться о стену, чтобы не упасть.

«Рассказала, все рассказала!» – мелькнуло у него в голове.

– Сначала плакала, говорят, – продолжала Феодосия, – на крик кричала, а потом помертвела, лежит как мертвая.

– Бредит? Говорит что-нибудь? Не слыхала ли? – не своим голосом спросил Михайло.

– Не знаю, не слыхала.

– Поди получше узнай! – обратилась к ней Евникия.

Феодосия нырнула за дверь.

– Спешить нужно, спешить! – заговорил первый Михайле, его била лихорадка.

Евникия подозрительно взглянула на него.

– Ты не знаешь, что за болезнь у царевны; может, теперь моя помощь и не нужна вам? – спросила она у него.

– Откуда же мне знать? Знаю одно: если делать что, так делать теперь, медлить нечего!

– Заходи завтра утром, я склянку приготовлю, а теперь идите, мне немало еще дела будет сегодня, – сказала Евникия, выпроваживая сыновей из кельи.

Глава XII

Во дворце поднялась тревога, все были в хлопотах, бежали, суетились, сами не понимая, зачем они бегают, что делают; все это творилось без толку, без цели. Знали только одно, что с царевной что-то приключилось, что с ней очень нехорошо. А царевна лежала в это время в постели; на вид ей было действительно нехорошо: глаза были закрыты, в лице ни кровинки, она слегка стонала, ее окружали, перешептываясь между собою, с вытянутыми лицами, боярыни. Приключись болезнь с царевной при них, куда бы ни шло, а вся беда заключалась в том, что их не было при царевне. Пойдут теперь спросы да расспросы – как было да что, с чего приключилось? Что они скажут, когда и сами не знают. Пришли они к царевне, а она мечется в кресле да на крик кричит; начали ее водой взбрызгивать, расспрашивать, а она все кричит, не говорит ни слова, а слезы ручьями бегут. Раздели ее, положили в постель, донесли царю о беде; тот совсем голову потерял.

Сидел Михайло Феодорович у себя в покое и не думал о беде, прибежал к нему придворный, лица на нем нет.

– Что тебе? – спрашивает царь.

– Государь, беда стряслась!

Словно ножом полоснул он его по сердцу; побледнел царь, всполошился, вскочил.

– Какая беда? Говори скорей!

– Царевне нехорошо, захворала, без памяти лежит.

Царь даже за голову схватился, лучше бы он сам захворал, чем его Настюша. Могла быть самая пустая болезнь, но он хорошо знал, что навряд ли она останется без последствий.

– Давно ли? Давно ли с ней приключилось это? – не своим голосом спросил царь.

– Да больше часу времени будет!

– Что ж вы молчали-то? Отчего сейчас же не сказали мне? – Гневные ноты послышались в голосе царя, что было с ним чуть ли не в первый раз в жизни. – Беги скорей, отыщи Салтыкова Михаила, да живо!

– Его нет во дворце, – заметил придворный.

– Найди, из-под земли вытащи.

Придворный повернулся.

– погоди, постой, – торопливо остановил его царь, – пошли сейчас же к матушке в монастырь, скажи, что я прошу ее прийти сюда: царевне, мол, очень неможется, да скорей, слышишь!

Придворный скрылся. Царь заходил по комнате; если бы из чистого, голубого неба грянул гром, он не ошеломил бы его так, как весть о болезни царевны. За все время, какое прожила она наверху, царь привязался к ней всей своей юношеской чистой душой; он полюбил царевну, свою Настюшу. Это была его первая любовь; глубоко пустила она корни, вырвать эту любовь из сердца царю было невозможно, или потребовалось бы на это много лет. Видеть царевну, говорить

с нею сделалось для него необходимостью. Как бы хотелось ему теперь пойти к ней, поглядеть на нее, самому ухаживать за ней; там теперь боярыни, чужие люди, могут ли они угождать ей так, как он? Прогнал бы их всех, сам бы все делал, но обычай не позволял ему и шагу теперь сделать к ней – она больна и лежит в постели. Будь она не невестой, а женой – другое бы дело, а теперь не то. И злоба брала его на все обстоятельства, тормозившие его свадьбу.

На пороге показался Салтыков, он был страшен. Посланный нашел его на дороге из монастыря вместе с братом; при вести о том, что его требует царь к себе, он вздрогнул.

«Предупредила царевна, рассказала... он все знает!» – подумал он и вслед за посланным отправился во дворец.

– А! Ты, Михайло? Спасибо, что поторопился, – заговорил обрадованный его приходом царь.

Салтыков, не понимая такой встречи, с удивлением взглянул на царя.

– Беда приключилась, Михайло, царевна занемогла, – продолжал царь. – Возьми дохтура, пусть посмотрит, спроси, что с ней подеялось, да приходи ко мне, расскажи все... поторопись только, голубчик!

Салтыков вздохнул свободнее, словно гора с плеч свалилась у него.

«Ничего не знает, не ведает, не проболталась, значит, да и дело становится по-нашему: сама в руки дается, теперь только спешить нужно, а то, пожалуй, все откроется, тогда не вы-

играешь, а проиграешь», – раздумывал боярин.

Выйдя, он немедля послал за доктором; тот осмотрел царевну и возвратился к Салтыкову.

– Ну что? Как нашел ее? – нетерпеливо спросил Салтыков.

– Ничего, боярин, пустяки, расстроилась чем-нибудь царевна, завтра же здорова будет.

– Не может быть, не так она захворала.

– Мне, боярин, лучше знать.

– Что же, дашь какое-нибудь лекарство? – поинтересовался довольный Салтыков.

– Пожалуй, дам, только она и без лекарства здорова будет – простая болезнь.

Выслушав доктора, Салтыков отправился к царю; тот с нетерпением ожидал его.

– Ну что, видел дохтур ее? – обеспокоенно произнес царь.

– Видел! – отвечал Салтыков.

– Что же он сказал? Как Настю нашел?

– Говорит: нехорошо... Что завтра будет, может, полегчает, а пока очень нехорошо.

Царь опечалился; в комнату вошла великая старица; царь бросился к ней навстречу.

– Что у тебя здесь? Что приключилось? – сухо спросила монахиня.

Царь в коротких словах рассказал все дело, прося мать навестить его невесту, посмотреть, что делается с ней.

– Пойду погляжу, – отвечала великая старица, выходя из

комнаты. За ней следом вышел и Салтыков.

Речи Салтыкова совершенно обескуражили царя; слово «нехорошо» звучало у него в ушах похоронным колоколом; он давно уже заметил нерасположение матери к царевне, он заметил в ней также желание под каким бы то ни было предлогом оттянуть свадьбу, а тут эта болезнь еще подвернулась, кабы легкая, а то вон дохтур сказал «нехорошо». Теперь вдесятеро наскажут, раздуют... неужели ж придется расстаться с ней? При этой мысли молодой царь похолодел даже весь. Расстаться? Никогда ни за что в жизни он не расстался бы с ней, да заставят сделать это: мать строгая, капризная, настойчивая женщина, настоит на своем. И что за судьба его! Царем сделали почти насильно, заставили молодого юношу управляться с делами государства, да такого государства, что впору им править опытному старику; государства разграбленного, разоренного, разорванного на куски, покрытого вместо городов и сел одним пепелищем, наполненного врагами да разбойниками, казацкою вольницей. Еле вздохнулось немного юноше, попытал он счастья, нашел себе любовь, души в ней не чает, да хворость эта подвернулась, а что из этой хворости сделают хорошие люди, бог весть... Знать, всю жизнь придется маяться да жить, как люди прикажут, а не своим умом-разумом. Горько, тяжело стало царю от этих дум.

Великая старица медленно, важно вошла в опочивальню царевны; царевна, как и прежде, лежала с закрытыми глаза-

ми, тяжело дыша, окруженная боярынями, которые при входе монахини почтительно расступились и очистили дорогу к царевне.

Марфа подошла к больной, взглянула на нее; нехорош был этот взгляд, холодность, суровость были видны в нем.

– Что с ней подеялось? – спросила она таким тоном, каким обыкновенно спрашивают, отчего сломался стол или стул.

Боярыни наперебой поспешили рассказать, что приключилось с царевною.

– Да говорите кто-нибудь одна, что как сороки затрещали! – сердито прервала их Марфа.

Рассказ продолжала Мишакова. Выслушав ее, старица несколько минут молча смотрела на царевну.

– Падучая! – произнесла она наконец безапелляционным тоном.

Желябужская не стерпела, не могла она не вступить за свою внучку.

– Откуда взяться падучей: это с ней впервой в жизни! – вмешалась она.

Марфа строго смерила ее с ног до головы.

– Ты, кажется, бабкой ей доводишься? – спросила она.

– Да, это моя внучка.

– Известно, чтоб в почет попасть, не то что падучую, а и похуже что выдадут за здоровую, – сухо произнесла монахиня, поворачиваясь спиной.

Царевна при звуке этого металлического, безжизненного

голоса очнулась, открыла глаза и медленно обвела глазами комнату и присутствующих.

Желябужская бросилась к ней.

– Ну что, Марьюшка... что, царица, – поправила она, – как тебе может быть?

– Ничего, бабушка, я здорова... так, я сама не знаю, что произошло со мной.

Старица, услышав слова царицы, не оглянулась и так же важно вышла из опочивальни, как и вошла в нее.

– Не жена она тебе! – сказала она, входя к царю.

Царь, зная нерасположение матери к царице, ожидал подобных речей, но, несмотря на это, при словах матери он невольно вздрогнул.

– Не жена она тебе: у нее падучая... хороша будет царица, – продолжала монахиня.

– Матушка, доктор ничего не говорил про падучую, – робко заметил царь.

– А ты кому больше веришь: немцу-нехристу или мне?

– Матушка...

– То-то матушка! Зла я тебе, что ли, желаю? Сам не знаешь, что говоришь, на последнюю девку мать готов поменять.

И, без того расстроенный, царь окончательно растерялся: он не спал всю ночь, доктор сказал, завтра... что-то будет завтра?

А на другой день царица встала совершенно здоровой,

бледна была только немного да чувствовалась маленькая слабость. Пришел дядя Глеб, в руках у него была склянка, переданная ему Салтыковым, с приказом давать царевне из этой склянки водки по рюмке каждый день.

– Выпей, царевна! – предложил ей дядя.

– Дядюшка, да я совсем здорова, – отказывалась царевна.

– Выпей, царевна, лучше будет, лекарь велел, – убеждал ее дядя.

Царевна, желая успокоить дядю, выпила, но не прошло и получаса, как занемогла пуще прежнего, начались колики в животе, тошнота, рвота; слегла совсем царевна в постель.

Успокоенный было дворец снова взволновался, снова стал на ноги, принялись за доктора, тот только плечами пожимает, не понимая, что творится с царевной. А Салтыков между тем пристает к нему.

– Как полагаешь, будет она у нас царицей или нет? – допрашивал он.

– На это воля царская: захочет жениться на ней, тогда будет, – отвечал осторожный немец, – а нет, так не будет, только болезнь у нее неопасная.

А Салтыков идет к царю и доносит совсем не то.

– Болезнь куда опасная, – докладывает он, – в Калуге одна женщина от такой болезни померла.

Царь совсем потерял голову. Между тем царевна бросила пить принесенное ей дядей лекарство; начали поить ее богоявленной водой – ей и полегчало. А Салтыков с великой

старицей вместе то и дело твердят, что царевна неизлечима, что она не годится в жены. Понимает царь, что идет все это из Вознесенского монастыря, сопротивляется он, насколько позволяют силы.

– Возьми себе другую в жены, – твердит мать.

– Не могу, матушка, – отвечал на этот раз твердо царь, – я обручен с ней, она перед Богом моя жена, ее поминают в церквах царевной; не могу я этого уничтожить.

– Так созови Думу, – настаивает монахиня на своем, – пусть она решит дело.

Весть о немощи царевны проникла и в народ; только и толку что о ней. Сколько ни бился царь, сколько ни сопротивлялся, а должен был уступить и отдать вопрос о своем счастье на решение Думы.

Глава XIII

В старых каменных палатах Боярской думы собрались обсуждать очень серьезный вопрос: «Прочна ли к царской радости царевна или непрочна?» Собрались решать этот вопрос бояре преимущественно старые; многие из них помнили Грозного, другие думали о государственных делах при Борисе, были и такие, которые прислуживали Тушинскому вору, а потом перекинулись в Москву; тех же, которым в новизну приходилось заседать в Думе, было сравнительно немного.

Все уже собрались, но за решение вопроса не принимались, ждали прибытия царя, но царь не являлся. Был здесь и Глеб Хлопов, суетился он немало. Там послушает, что говорят, послушает в другом месте, хочется ему заранее узнать, что думают, говорят бояре, но мало утешительного узнал он. Нашел он, правда, несколько человек, не поддавшихся влиянию Салтыковых и великой старицы, относившихся с сочувствием и сожалением к царевне, понимавших, что не серьезная, как уверяли, болезнь у царской невесты собрала их здесь, а интриги да козни Салтыковых, но таких было очень мало – горсточка сравнительно с противниками царевны. Пытался Хлопов заговаривать с некоторыми, но те двусмысленно улыбались и поскорее отворачивались и уходили, боясь навлечь на себя гнев и попасть в опалу временщиков.

– А почет, знать, по сердцу пришелся Хлоповым, вишь, как увивается да хлопочет за племянницу, – замечали некоторые из бояр.

– Недолго почетом-то пользовались, скоро придется проститься с ним, – слышался ответ на такие замечания.

Время шло, а царь все не являлся. Некоторые из бояр угрюмо посматривали по сторонам, другие сговаривались, третьи рассуждали между собою, покачивая седыми головами. А царь все это время сидел у себя в покое. Невеселы были его мысли, знал он наперед, чем кончится это думское обсуждение, был заранее убежден в известном решении. Тяжело ему было отдавать на решение совершенно чужих ему людей вопрос, касавшийся лично его, затрагивавший его личное, собственное счастье.

Он не мог представить себе, как он расстанется с царевной. И из-за чего? Из-за каприза старухи, выжившей из ума, погребенной за монастырскими стенами, из-за того, что какой-то немец-нехристь наговорил про опасность, между тем как он сам лично, не далее как третьего дня, видел ее, говорил с ней, глядела она него еще ласковее, чем прежде, голос ее казался еще нежнее. И тоска, словно змея, сильнее и сильнее впивалась в царское сердце.

Пришли доложить ему, что его ожидают в Думе, царь не расслышал.

– Что? – переспросил он.

– В Думе ожидают тебя, государь.

– Не пойду я, пусть сами толкуют, а я не пойду! – раздраженным голосом произнес царь.

– Государя не будет! – пронеслось в Думе.

Многие вздохнули свободнее.

– Что ж, пора приниматься за дело, – слышались слова.

Стали усаживаться на места по старшинству.

Рассказывал историю болезни Борис Салтыков; Михайло старался держаться в стороне. Оскорбление, нанесенное ему царевной, мало-помалу улеглось, сгладилось, а любовь не умирала в нем, она только затаилась, притихла на время и теперь вспыхнула пуще прежнего. Нелегко ему было слушать эту хитросплетенную историю, рассказываемую братом; он знал, что все его слова, от первого до последнего, – бессовестная ложь. Была минута, когда он готов был вскочить и закричать во всеуслышание, что брат его лжет, говорит неправду... Но каша была заварена, и притом заварена с его собственного согласия, он сам собственной рукою передал отраву, полученную от матери, от этого и приключилась болезнь царевны; он главный виновник всей этой истории... отступать теперь было уже поздно. Он должен был страдать молча, добровольно отдав себя на эти страдания; но все это было еще начало, самая пытка была впереди. Борис окончил свой рассказ и сел.

– Что же сказал лекарь? – слышались голоса некоторых бояр.

– С лекарем говорил брат Михайло! – отвечал Борис.

Глаза всех обратились на него, что скажет он?

Михайло встал, потупив глаза: он должен был говорить напраслину, клевету на дорогую для него царевну; клевету, придуманную им самим для ее гибели. Он был бледен, руки и ноги дрожали у него, ему хотелось покаяться во всем, выдать себя головою, он робко, несмело взглянул на бояр – все смотрели на него с недоумением, никто не понимал его волнения, он снова быстро опустил глаза вниз.

– Что же тебе сказал лекарь, боярин? – послышался чей-то голос.

Наступила тишина, решительная минута. Нужно было сейчас же, на месте или сознаваться во лжи, в преступлении или, для собственного спасения, губить царевну. В нем происходила борьба, но чувство самосохранения взяло верх.

– Лекарь сказал... опасна... одна умерла... от этой болезни, – проговорил Михайло не своим голосом.

– Что же тут толковать, коли так; дело известное, – слышались голоса.

Напрасно Глеб Хлопов выбивался из сил, доказывая, что болезнь совсем неопасна, что она прошла уже и царевна теперь здорова совершенно, что, наконец, для правильного решения должно призвать лекаря и выслушать его лично, а не доверять сказкам, рассказываемым Салтыковыми. Все было напрасно; поднялся шум, крик, раздалась ругань; удержать было некому: царь отсутствовал. В воздухе стоял гул, наконец мало-помалу шум начал стихать, стали приходить к со-

глашению, и приговор был произнесен: «Царевна непрочна к царской радости».

Борис Салтыков вздрогнул, глаза его блеснули, он с торжеством взглянул на Хлопова, тот также отвечал вызывающим взглядом. Михайло понурился, он был готов бежать отсюда, укрыться куда-нибудь подальше, остаться одному, чтобы не видеть, не слышать никого.

Стали толковать о том, кто должен передать эту весть царю, но толковать, собственно, об этом было нечего, это лежало на обязанности Салтыкова.

Несмело вошел Михайло к царю, нечиста была перед ним его совесть, на душе было тяжело. Сурово взглянул на него царь. Салтыков молчал и стоял потупившись.

– Ну? – спросил царь.

– Решили... – начал Салтыков и остановился.

– Да говори же, что решили?

– Что непрочна к твоей радости...

Царь быстро отвернулся, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы: если раньше в душе теплилась крохотная надежда, то теперь все было кончено.

Михайле Салтыкову еще предстояло дело, более трудное, более тяжелое: эту весть он должен был сообщить и царевне. Нужно было уж разом рвать все – легче будет.

– Что прикажешь делать теперь, государь? – спросил он царя...

– Я-то почему знаю, – отвечал тот дрогнувшим голосом.

– Прикажешь свести ее с верха? – бледнея, проговорил Салтыков, сердце его сжалось, он едва стоял на ногах.

– Делайте, что нужно! – отвечал царь, быстро уходя из покоя и стараясь не выдать себя голосом.

От царя Салтыков отправился к царевне, он был страшнее мертвеца.

Царевна сидела с бабкой совершенно здоровая. Знала она, что Михайло приводит в исполнение свои угрозы, знала нелюбовь к себе и интриги великой старицы, знала также и то, что нынче собралась Дума, где речь идет о ней, но была спокойна, она надеялась на царя, была уверена, что царь не даст ее в обиду, он сам третьего дня уверял ее в этом.

Но при появлении Салтыкова сердце у нее замерло, она слегка побледнела – не с доброю вестью пришел боярин; всполошилась и бабка.

– Дума решила, царевна, – заговорил Салтыков, – что ты не можешь быть царицей, и царь... приказал тебя свести с верха.

Желябужская ахнула и повалилась на пол: ей сделалось дурно. Царевна поднялась, глаза ее заблестели.

– Царь ли, боярин? – спросила она.

– Не сам, царевна, по приговору Думы, – смущенно проговорил Салтыков.

– Спасибо тебе, боярин, за твои хлопоты обо мне, – не слушая его, говорила царевна, – царь никогда не сослал бы меня отсюда, ты постарался об этом... Что ж, спасибо... это,

видно, боярин, за то, что любила я тебя... что ты люб, дорог мне был, спасибо еще раз, – добавила царевна.

Салтыков задрожал, ступил шаг вперед; он готов был броситься ей в ноги, целовать эти ноги.

– Зачем же оскорбила?.. Зачем оттолкнула?..

– А тебе бы хотелось, чтоб я полюбовницей твоей была?

Опомнись, боярин!..

– Царевна! – простонал Салтыков.

– Ты ошибаешься, боярин: здесь больше нет царевны, я – Марья Хлопова.

– Прости меня, царевна! Прости окаянного! – молил, глотая слезы, Салтыков.

– Бог простит, боярин, а теперь прощай, пора мне собираться в путь.

Салтыков еще хотел что-то сказать, но не мог – слезы душили его, он старался сдерживать рыдания. Царевна глядела на него с жалостью. Махнув рукой, боярин чуть ли не выбежал из покоя.

Едва он успел скрыться, как царевна зашаталась и без памяти повалилась в кресло.

Глава XIV

Две недели уже, как живет царевна с бабкой и дядей на своем старом, родном пепелище, в доме своего отца. Отцу была оказана почему-то милость, его послали воеводой в Вологду. Невесело жилось царевне дома: вспоминалась ей дворцовая роскошь, успела она отвыкнуть от этой простоты, чуть ли не бедности, но пуще всего обидно было ей, что всю эту напасть устроил Салтыков; пусть бы уж строила козни великая старица, а то ее любимый боярин!

Не легче было и бабке: трудно было отказаться ей от ожидавшего ее звания придворной боярыни и того почета, который был связан с этим званием; трудно было так же, как и внучке, отвыкать от придворной жизни.

Только и была довольна и счастлива по-своему старуха Петровна. Извелась она совсем без своей Марьюшки; спать ли ляжет, встанет ли – все ее дорогая перед глазами, и плачет старуха, горько плачет, зачем отняли у нее дитяtko. Сильно постарела она за время житья царевны во дворце; а там услышала она про болезнь ее, сколько ни просила, ни молила она, чтобы отвели ее к царевне, чтобы дали хоть одним глазом взглянуть на нее, все было напрасно. Сколько раз говорила она, что за ней там и ухаживать никто не сумеет, не угодит никто, кроме нее, – в ответ на это старуху только пугнули, и снова забилась она в свой угол горевать да оплакивать свое

дитяtko.

Наконец наступили тревожные дни у Хлоповых. Шепот да сговоры разные, точь-в-точь как было тогда, когда отняли у нее Марьюшку и отвели во дворец. Не понимала старуха этой тревоги, только сердце ее чуяло что-то недоброе.

Привезли царевну. Как увидела ее Петровна, так и ахнула; расплакалась старуха, только слезы эти были совсем не те, что прежде. Теперь плакала она от радости, что снова видит свое дорогое дитяtko, что опять она будет ухаживать за ней.

Тяжесть царской опалы ступевалась перед этой радостью; она не верила себе, не верила своим глазам, что это Марьюшка, что это ее дитяtko перед ней; она целовала, обнимала свою боярышню, и поцелуям и ласкам не было конца.

Прошло еще несколько дней. Перед домом Хлоповых остановилась повозка, около нее прохаживались несколько стрельцов, готовились отправлять бывшую царевну в Тобольск, в ссылку на житье.

Сколько ни отбивался мягкосердечный царь, сколько ни сопротивлялся – его чуть ли не силою, по обыкновению угрожая государственными смутами, заставили услать дорогую ему Настюшу со всей ее родней в ссылку.

Грустная, заплаканная вышла царевна с бабкой и дядей из дома, за ними ковыляла Петровна. Сели в повозку и двинулись в путь, распростившись навсегда с Москвой. Быстро проехали они город; кругом поля, лес. Москва стала исчезать, только золоченые главы соборов да Ивана Великого

ярко блестели издалека. Царевна глаз не отрывала от них, а здесь же, рядом с соборами, виден и царский дворец и царицын верх; видны ей и окна тех покоев, в которых жила она. Она грустно, задумчиво смотрела на исчезающую перед ней Москву, и слезы медленно скатывались по ее лицу.

– Не тужи, дитячко, везде живут люди, – утешала ее Петровна.

Царевна не слышала ее. Она все продолжала смотреть вдаль, а Москва между тем пряталась за пригорками, исчезала. Вот еще раз, последний раз блеснула глава колокольни и исчезла навсегда из глаз развенчанной царевны.

Развенчанная царевна в ссылке

Глава I

Тихо в воздухе, серебряной, посыпанной бриллиантовыми блестками пеленой кажется широко раскинувшаяся степь в Тобольской губернии, и каким-то резким контрастом этой блестящей белизне представляется темно-зеленый хвойный лес, между деревьями которого виднеется новый сруб избы; вдали направо сквозь морозный прозрачный воздух рисуется Тобольск.

День ясный, солнце ярко обливает своим светом снег и слепит глаза, колет их, из глаз невольно катятся слезы, и как-то покойнее делается глазам, словно отдыхают они при взгляде на темь лесную.

Издали доносится стук топора. В лесной чаще, не далее как в двухстах – трехстах саженях от избышки, надвинув на затылок шапку, усердно взмахивая топором, пожилой уже человек рубит молодой ельник, который так и валится один за другим; за ним едва успевает подхватывать его и оттащить в сторону, складывая в кучу, молоденькая девушка, одетая в зипун, подпоясанная кушаком, с закутанной платком головой. Из-под этого платка только и видны были одни крупные черные, блестящие глаза.

Девушка, видимо, устала, работа ее делалась медленнее и медленнее, ноги едва двигались; наконец, дотавив последнюю ель, она бросила ее, руки ее опустились, ноги подогнулись, и она не села, а, скорее, упала на кучу дров.

– Аль устала, Настя? – с участием спросил ее рубивший. Девушка при этих словах вздрогнула, быстро взглянула на говорившего, и какое-то необъяснимое чувство проскользнуло в ее глазах.

– Сколько раз уже просила я тебя, дядя, не звать меня Настей, какая я Настя, была Марьей и буду ею, – проговорила девушка. В ее голосе слышалась мольба.

Ее собеседник опустил топор и поднял голову.

– Была ты Марьей, да сплыла. Тебя нарекли Настасьей, так тебе ею и оставаться. Не кто другой, митрополит нарек! – проговорил он.

Девушка вздохнула и опустила голову. Дядя ее, слегка покачав головой и поправив съехавшую совсем на затылок шапку, снова принялся за рубку.

Кто бы узнал теперь в этой девушке, работающей и одетой как простая крестьянка, Настасью Ивановну, царевну, невесту Михаила Феодоровича, ласки которой искал так жадно сам царь, взгляда которой достаточно было для того, чтобы заставить могущественного, сильного временщика Салтыкова делать все, что ей было угодно, – той, перед которой кланялись и ухаживали боярыни, бояре, весь двор, за которую молилась вся Русь, которую поминали на ектениях во всех

церквах.

Недаром Марьюшка не любила и просила никогда не называть ее Настей, именем царевны; оно напоминало ей то счастливое время, которое уж не воротится больше никогда, и воспоминание о нем было для нее тяжело, горько. На что бы она ни решилась, чем бы ни пожертвовала она, чтобы воспоминание об этом золотом времечке умерло в ней, заглохло навек, чтобы даже как о сне не вспоминать о нем.

А тут как назло то тот, то другой чем-нибудь да напомнят ей о прошлом, разбередят не закрывшуюся еще рану, встревожат, испугнут ее молодую душу, и закручинится, затуманится Марьюшка. Вот и теперь снова затосковала она. Ярко всплыла перед ней дворцовая жизнь, вспомнился ей молодой, красивый царь, так ласково заглядывавший ей в глаза, называвший ее такими нежными, ласковыми именами... Сколько счастья обещал он ей, а теперь... теперь... изба с голыми стенами; вместо сводчатых расписанных потолков – закопченный, черный накат; вместо бархатных скамей, парчовых кресел – голые еловые скамейки; вместо роскошной, полной довольства и покоя жизни – труд, нужда и постоянная забота о себе и других.

– Сама... всему сама виновата!.. – в тоске шепчет она... – Зачем я глядела ласково на этого злодея... говорила с ним... он невесть что и подумал, невесть чего и захотел... да нет, нет!.. Я сама любила его, ах как любила... лукавый попутал... а тут эта болюсь... и из чего только!.. Знать, так нужно

было! Ох, горемычная я, горемычная!

Задумалась она о своем горьком житье, о своей незавидной, несчастной участи и не видит того, что Хлопов давно уже стоит около нее и заботливо, с участием глядит на нее.

– Что с тобой, аль недужится? – спросил он наконец, наклоняясь к Марьюшке.

Та при его голосе вздрогнула и, подняв голову, быстро взглянула на него; на ее длинных ресницах повисла замерзшая слезинка.

– Нет, ничего, дядя, устала я очень! – поспешила ответить она.

– Устала! А плачешь-то о чем?

– Тяжко что-то, дядя, так тяжело на душе, что и не знаю, все старое из головы не выходит, а тут ты еще... – она не закончила; судороги сжали ей горло, и она, припав головой к плечу Хлопова, зарыдала. Дядя побледнел, жаль ему было Марьюшку, но вместе с тем он понимал, что помочь ей он ничем не может, не в силах, что ей суждено провести остаток жизни здесь, среди этой белой степи, в тени этих еловых деревьев; а сколько ей придется жить, один Бог ведает, она так молода еще, так много еще предстоит ей, только чего?

«Нужды да горя!» – словно подсказал ему кто.

Хлопов в бессильной злобе сжал кулаки: в настоящую минуту он готов был идти на все, вызвать на борьбу всех недругов; он чувствовал в себе какую-то необыкновенную силу, но вместе с тем сознавал ясно, что сила эта хуже бессилья, что

он был связан, скручен по рукам и по ногам, словно в тенетах находился он, из которых выпутаться ему было невозможно.

«Пристроить бы ее куда-нибудь, – думалось ему, – да как пристроить-то? Замуж выдать? За кого? Да нешто можно выходить замуж царской невесте, хоть и опальной?»

А Марьюшка все плачет и плачет, все тело ее вздрагивает от рыданий. Хлопов обхватил ее голову руками и прижал к себе.

– Ну, будет, перестань, голубушка, старого не воротишь, нечего, значит, и убиваться. Пойдем-ка лучше домой, гляди, солнышко-то уж где, скоро и стемнеет, – проговорил Хлопов.

Марьюшка понемногу успокоилась. Хлопов, обхватив веревкой связку дров, взвалил ее себе за спину, Марьюшка сделала то же, и они направились к своей избе.

Пока добрались они, в лесу совершенно стемнело. Паром и дымом пахнуло на них в отворенную дверь. Желябужская, состарившаяся, казалась дряхлой старухой, за перегородкой стонала Петровна.

– Что, не легчает? – спросила озабоченно Марьюшка Желябужскую, указывая глазами на перегородку, за которой лежала Петровна.

Та отрицательно покачала головой. Марьюшка наскоро разделась и пошла к своей мамушке.

В избе наступила тишина, никому не говорилось, не в охоту было, каждый был занят своими мыслями.

– Что ж, ужинать, что ль? – вдруг обратился Хлопов к Желябужской.

– Сейчас собирать стану! – отвечала та, поднимаясь. – Марьюшка! – кликнула она.

– Что? – отозвалась та.

– Иди ужинать, я собираю.

– Не хочу, бабушка, я легла уж.

Продрогшая, усталая, она уснула скоро, и снова ей стали мерещиться царские палаты.

Снится ей, что сидит она в своем девичьем царском венчике на верху, окруженная боярынями, все с любопытством смотрят на нее: чем-то она порадует стоящего перед ней на коленях боярина Салтыкова, выданного ей царем головою.

А она глядит на него вся зардевшаяся, сконфуженная, и люб-то он ей пуще прежнего, и не наглядится она на него после разлуки, и злоба лютая кипит в груди у нее, и хочется рассказать ей злодея, отомстить ему за прошлые муки, за прошлые страдания. И жалко, ох как жалко, а он стоит и так любовно, ласково смотрит, точно как тогда под Троицей.

Вдруг словно туман какой застлал все; сквозь сон слышался ей сильный стук, словно кто в окно к ним стучит, потом голоса раздались; слышит Марьюшка, но не разберет, кто это говорит, о чем говорят; она хочет открыть глаза, но сон, тяжелый, глубокий сон снова охватывает ее. Видит она, что перед ней стоит царь, такой ласковый, приветливый, взял ее за руки, в глаза смотрит и говорит что-то, только что го-

ворит, она никак не разберет.

– Марьюшка! Марьюшка! – слышится ей дядин голос.

«Что ему нужно, зачем он мешает нам?» – думается Марьюшке.

– Марьюшка! – снова кричит дядя.

Царь исчез.

– Марьюшка!

Марьюшка открыла глаза и вскочила. Ее действительно звал дядя.

– Что такое? – с испугом спросила она.

– Подь сюда! Скорей! Милость царская! – взволнованно говорил Хлопов.

Марьюшка, накинув на себя наскоро зипун, выскочила к дяде; там стоял какой-то незнакомец, не то боярин, не то подьячий, весь закутанный, не разберешь.

Хлопов сиял, Желябужская смотрела как-то растерянно на незнакомца.

– Что? Какая милость? – спросила озадаченная, перепуганная Марьюшка.

– Милость! Царская милость! В Нижний нас перевозят, жалованья больше дают. Поняла, царь не забыл, к себе поближе зовет... знать, правду познал!.. Знать, недруги-то, злодеи наши не устояли!..

Марьюшка побледнела, задрожала.

– Так вот, вот что он мне сейчас говорил, ласковый, да не разобрала я! – проговорила она, плача, и с этими словами

бросилась на шею к бабке. Та расплакалась в свою очередь.

Глава II

Гул стоит над Москвой от колокольного звона, все сорок сороков заговорили разом, народ толпами бежит к Арбату, к Смоленской заставе, сам царь с матерью, со всеми боярами и чинами придворными поехал туда. Сегодня большой праздник для Москвы, она встречает отца государева, митрополита Филарета, возвращающегося из польского плена, встречает своего будущего патриарха.

Торжественно, медленно сквозь людскую толпу, запрудившую дорогу, двигается царский поезд, народ без шапок, падает на колени, кладет земные поклоны, царь весело глядит по сторонам, Филарет благословляет народ. Какой-то восторг охватил всех, все радовались царской радости, только лица некоторых бояр были пасмурны, невеселы, а особенно хмурились и глядели исподлобья брата Салтыковы. Понимали они, что с приездом Филарета многое должно измениться: этот человек видел разное, помнит он и времена Грозного и Годунова, был он и патриархом в Тушине, ко всему пригляделся, все изведаль, это не то что молодой, неопытный, мягкосердечный Михаил Феодорович. Конечно, Филарет будет теперь царствовать, заберет все управление государством в свои руки, не позволит не только им, Салтыковым, властвовать и творить, что им вздумается, а теперь, пожалуй, и сам царь отодвинется на второй план. Подумать бы-

ло о чем. Нужно было постараться спасти свое влияние при дворе. Положим, Филарет только человек, имеющий свои слабости, но пока узнаешь их – сколько воды утечет; в это время очень легко попасть в свои вотчины и по указу царскому поселиться в них на веки вечные. Перспектива крайне неприятная.

И они не ошибались. Филарет, перенесший немало невзгод в своей жизни, хотел быть властителем. Власть так заманчива! Так неужто же он, сделавшийся теперь первым лицом в государстве, будет терпеть и не столкнет с дороги Салтыковых и им подобных?! Теперь волей-неволей придется ступать и самой великой старице; для нее с прибытием Филарета прошли те времена, когда она делала что хотела, когда молодой царь слепо повиновался ей во всем, смотрел ее глазами, слушал ее ушами и делал только то, что приказывала ему великая старица.

Поезд долго двигался по Арбату, потом свернул на Знаменку и наконец остановился в Кремле. Торжественно, с почетом взвели митрополита на Красное крыльцо, он шел важно, спокойно, с сознанием собственного достоинства, как будто привыкнув давно к подобным торжественным встречам и шествиям; весь этот почет он принимал как должное. Он понимал, что в настоящую минуту дань отдается не митрополиту, не государеву отцу, а ему лично, как государю и повелителю всей земли Русской. Да разве и мог он думать иначе при виде своего молодого неопытного сына: кому же,

как не ему, Филарету, быть руководителем этого юного государя, кому, как не ему, быть царем и править государством?

Взошедши наверх, он остановился; вся площадь была набита народом; как нива, колыхалась она обнаженными головами. Вокруг царя и митрополита сгруппировались бояре, духовенство, высшие сановники. Филарет поднял руки, и в один миг площадь заколыхалась, все повалились на землю, готовясь принять пастырское благословение. Благословив народ, Филарет бросил вокруг себя зоркий, пронизательный взгляд; ему словно хотелось заглянуть в самую глубину души каждого из присутствовавших. Никто не заметил этого взгляда, все были увлечены представившейся картиной, один только Салтыков на лету поймал этот взгляд и понял его. Невольно нервная дрожь пробежала по его телу, и он, вздрогнув, быстро опустил глаза. Филарет понял многое, он узнал сам лично, без помощи других, кто до него был временщиком, знал, кого нужно было устранить, кого повесить и приблизить к себе.

Благословив народ и скромно опустив глаза, он двинулся дальше во дворец. Как-то безучастно, вполне по-монашески отнесся он ко всем празднествам, данным в честь его возвращения. Его не было слышно, никто почти не видал его, но зато он сам издали зорко следил за всем, что делалось, внимательно вглядывался во все, замечал малейшие мелочи. Как человек бывалый, умевший пользоваться обстоятельствами, приноравливаясь ко всему, теперь он увидел, что всякая иг-

ра излишня, что у него развязаны руки, хитрить и притворяться перед кем бы то ни было ради достижения власти не стоит, так как эта власть сама пришла к нему, без всяких с его стороны домогательств. Он сознавал, что теперь полный владыка и никто не может встать на его дороге.

На десятый день после приезда он провозглашен был патриархом, получил титул «великого государя» и деятельно принялся за дела. Прежние царские советники невольно должны были отступить и предоставить все патриарху.

Глава III

Громко разносятся над Москвой удары колокола Вознесенского монастыря. Суетливо бегают по двору в церковь и обратно молодые послушницы; степенно, медленно, опираясь на посохи, двигаются монахини. Наконец раздался последний удар; беготня прекратилась; все заняли свои места; началось богослужение. Прошла почти половина обедни, как в домике, занимаемом Салтыковой, отворилась дверь, и на пороге показалась Евникия, поддерживаемая под руку изогнувшейся Феодосией. Последние дни, как видно, сильно подействовали на нее. Первые же действия великого государя патриарха Филарета Никитича заставили задуматься ее, заставили прозреть и увидеть ясно, что роль ее сыграна, что нужно сойти со сцены и уступить место другим. Теперь нельзя было ничего поделывать, так как сама великая старица должна была невольно подчиниться и опустить прежде гордо поднятую голову перед властью, попавшею в крепкие мужские руки. А куда как не хотелось Евникии расставаться с той видной ролью, которую играла она еще так недавно. С воцарением Михаила Феодоровича она была чуть не правительницей Московского государства, положим, не явно, не прямо, но воздействуя непосредственно на великую старицу; теперь же превращалась в простую монахиню, положим, хотя и почетную, как царскую родственницу, но все же от интриг, от вли-

нения она должна была отказаться навсегда. К этому присоединялось еще и нечто другое, которое давило, угнетало ее, заставляло дрожать чуть не каждую минуту, – это опасение, чтобы не выплыло наружу что-нибудь из прошлых темных делишек, пуще же всего боялась она за порчу царской невесты. Жадно прислушивалась она к каждому слову, не выскажется ли кто, не намекнет ли на это страшное для нее дело, но пока все было тихо. Марьюшка как будто в воду канула, словно забыли ее все. Помнилась она только двум человекам: Салтыкову, который трепетал не менее матери при одном воспоминании о ней, да царю, перед которым и наяву и во сне грезилась его любая, кроткая, застенчивая невеста. Все эти тревоги, волнения, опасения за будущее мучили Евникию, состарили в несколько дней. Резче еще заострился у нее нос, глаза ушли еще глубже, лицо все изрезалось морщинами, стала она брюзгливее, ворчала на всех и на все, больше же всех доставалось теперь на долю Феодосии.

Войдя в церковь, Евникия быстро оглядела всех: великой старицы не было. Она начала пробираться на свое постоянное место, устроенное рядом с местом Марфы, перед ней почтительно расступались, уступая ей дорогу; она молча, опустив глаза, ни на кого не глядя, прошла церковь и, остановившись, перекрестилась и с трудом положила земной поклон.

Ей хотелось хоть в молитве забыться, отрешиться от мучивших ее тяжелых дум, но молитва не помогала ей. Машинально шептала она слова молитвы, а на душе была пустота,

в сердце тоже, она не понимала, не могла дать отчета себе, о чем она молится, мысли бессвязной вереницей проносились в ее голове, быстро перескакивая с одного предмета на другой, от одного лица к другому.

«Что-то деется там, во дворце, – думалось ей, – что говорят, что делают... какие козни затевают, вот и Михайло сколько времени не идет, здоров ли, не попал ли уж в опалу... Да отчего старица не в церкви, не отправилась ли во дворец, Фенька-то ничего не говорила... может, не знает... Ох, доведаются, – вдруг вздумалось ей, – доведаются до правды, как царевну-то опоили...»

Она вздрогнула при одной этой мысли, бледность покрыла лицо, она учащенно закрестилась, а губы продолжали шептать и шептать бессвязно слова молитвы.

Литургия окончилась, перед Евникией потянулся к выходу длинный ряд монахинь, она оглянулась, возле нее стояла Феодосия и ожидала только приказа, чтобы схватить ее под руку и вести домой. Не один раз успела она выскочить во время обедни из церкви, и теперь, как видно, ей очень хотелось что-то сообщить монахине.

Выйдя из церкви, Феодосия не стерпела.

– Матушка, – начала она.

– Ты что? – спросила сурово Евникия.

– У нас там в келье боярин...

Евникия остановилась.

– Какой боярин? – спросила она испуганным голосом.

За все время ее пребывания в монастыре до сих пор еще не было случая, чтобы в ее отсутствие кто-либо входил в ее келью; это почему-то она считала оскорблением для себя.

– Какой боярин? – повторила Евникия.

– Наш Михайла Михайлович.

Евникия перепугалась окончательно.

«Знать, недобрые вести принес! – пронеслось в голове Евникии. – Кабы не это, зачем бы ему дожидаться меня, знает, когда можно застать, и в церковь не пошел».

Чуть не шатаясь от страха, вышла она на крыльцо в ожидании услышать от сына что-то ужасное.

Глава IV

Неровными, быстрыми шагами ходил из угла в угол небольшой кельи Салтыков; он был бледен, сильно сжатые губы, нервное подергивание лица, растерянно блуждающие по сторонам глаза выдавали сильное внутреннее волнение; он с нетерпением ждал окончания обедни, прихода матери, ему хотелось высказаться, открыть все, что накопилось на душе; злоба, зависть и чувство страха, опасения за будущность давили его.

Да и как было подавить злобу, примириться со своим новым положением! Он ли не был силою, не его ли имя шепталось чуть не наравне с царем, не перед ним ли гнули спины и заискивали князья, бояре, все близкие к царю люди? И что случилось теперь, где эти поклоны, заискивания, куда девалось все это, и в такое короткое время?

Незаметно для него самого началось удаление от царя, все как будто шло и по-старому, но вместе с тем повеяло чем-то новым, пахнуло каким-то холодом, появилась натянутость, нужно было быть слепым или слишком самоуверенным в себе, чтобы не видеть всего этого. И Салтыков видел это, чувствовал, что власть мало-помалу начинает уплывать из его рук, и злоба, горькая, бессильная злоба душила, мучила его.

А здесь еще начали появляться новые люди, которые понемногу входили в доверие, оттирали Салтыковых и засту-

пали на их место, а они должны были молчать, безропотно, покорно подчиняться этому. Вон у Бориса отняли уж почетнейшее дело – остригать волосы у государя, отняли и посылку к великому патриарху справляться от имени царя о здоровье родителя и поручили оба дела новому человеку, князю Черкасскому. Пройдет еще некоторое время, и почем знать, может быть, новая власть и совсем ототрет их от двора, поставит их на то место, которое занимали во времена их владычества последние дворяне, находившиеся при дворе. Как взглянут на это остальные, как будут глядеть на него с братом, сколько придется перенести насмешек от тех, которые прежде так низко отвешивали перед ними поклоны. Одного стыда, срама не оберешься, уж лучше совсем попасть в опалу, в ссылку, забраться в свою деревню и зажить в ней по-старому, никого не видя, ничего не мысля.

Немало мучила его и душевная боль, сильно страдал он при воспоминании о царевне, не выходила она у него из головы. Днем ли, ночью ли – вечно мерещилась она ему, мерещилась в том виде, какую он видел ее в последний раз, когда передавал ей приговор Боярской думы. Не мог забыть он ее бледности, ее горящих глаз, горделивой стройной фигуры; не мог забыть он и ее последних слов, обращенных к нему: огненными буквами врезались они у него в сердце и не давали ему покоя.

«Что нужно-то было мне, окаянному, от нее, моей любушки, ведь любила же, сама сказала на прощанье, да и сам я

нешто не видел, как ласкалась она, чего еще, гордость обуяла, сгубить нужна было, боялись, что Хлоповы место наше займут? Теперь вот лучше стало! Братец-то небось с матушкой не нарадуются, их дело ведь, они все натворили! Эх, तोпора мало мне, сам тоже в Думе перед боярами окоlesiцу плел!» – не раз думалось ему, и что-то тяжкое, нехорошее закрадывалось в душу и мутило и ворочалось в ней.

Ему хотелось выплакать свое горе, свое оскорбление слезами, раскаянием хотелось омыть свой тяжкий грех, но слез не было, словно высохли они или превратились в тяжкий камень, который лежит у него на сердце.

А тут еще нынешняя встреча во дворце с Черкасским доконала его окончательно. К угрызениям совести прибавились еще опасение и страх за то, что тайна, так бережно хранящая им, известна.

Не мог равнодушно он видеть Черкасского, занявшего при царе место его брата, отнявшего у последнего почести. При встречах с ним он как-то терялся, бледнел, хотелось ему нагрубить, оскорбить чем-нибудь князя. Так было и нынче.

Черкасский выходил от царя; надменно, с едва заметной язвительной улыбкой взглянул он на Салтыкова, бросавшего на него злобные взгляды, и вместо обычного тогда поясного поклона едва кивнул головой боярину.

Не стерпел Салтыков, сердце у него сжалось, кровь бросилась в голову, захватило дух.

– Аль не узнал меня? – заговорил он дрожащим, преры-

вающимся от волнения голосом. – Что не кланяешься?

– Как не узнать тебя, боярин, тебя, чай, все знают, а что не кланяюсь, так это ты напрасно, я поклонился тебе! – отвечал с усмешкой князь.

– Не видал я твоего поклона, допрежь так чуть не в землю кланялся мне, тогда были приметнее поклоны твои.

Черкасский вздрогнул, правда затронула его самолюбие, боярин сказал истину: не так давно еще было то время, когда он изгибался и гнул перед ним спину.

– Я и царю-то низко не кланяюсь, не то что тебе! – проговорил, вспыхнув, князь.

– Что говорить, как подбился к царю, так от радости, знать, память отшибло!

Черкасский окончательно вышел из себя:

– Я не подбивался к царю, а ежели была его милость приблизить меня к себе, так не за что другое, как за верность мою, потому я не опаивал зельем царевну и не лгал на нее перед Боярской думой!

Слова Черкасского добила боярина, им овладела ярость, он готов был броситься на него, задушить здесь же, на месте, но под давлением страшного обвинения, произнесенного князем, он не мог двинуть рукой, ступить шагу, ему казалось, что он прикован к полу, на него напало какое-то оцепенение.

Князь видел, какое действие произвели на боярина его слова. Слышавший мельком что-то путаное, туманное о том,

будто царевна была опоена, что это дело было сделано руками Салтыковых, теперь, при виде уничтоженного боярина, он убедился, что в этих глухих сбивчивых толках есть и должна быть значительная доля правды. Он поглядел еще раз на боярина, улыбнулся и не поклонившись вышел из покоя.

Не скоро опомнился боярин; шатаясь, вышел он из дворца и прямо направился в Вознесенский монастырь, к матери. Зачем он шел туда, он сам не мог дать себе отчета, его что-то помимо воли тянуло туда, он чувствовал необходимость высказаться, сорвать на ком бы то ни было, хотя бы на матери, всю накопившуюся за последнее время злость.

Прошло около получаса, как он находился в келье, его разбирало нетерпение, он еще больше злился на всех и на все. Слова Черкасского не выходили у него из головы, буровом вертели они его мозг, приводили в бешенство.

– Вырвалось... известно стало... в набат теперь забьют, мало ли недругов... холопы даже порадуются! – вырывались у него слова.

Он не мог понять, как, кто мог доведаться до истины, кто мог выдать его. Положение его действительно было ужасно. Если знает Черкасский, кто мог поручиться за то, что не знают этого же самого остальные, как он теперь покажется на глаза, как будут смотреть на него, что думать. Недругов у него действительно много, найдутся и такие, которые сочтут своим долгом шепнуть об этом деле и царю и патриарху. Нач-

нется следствие, тогда уж не опала грозит, тогда, пожалуй, придется познакомиться и с топором, не спасет от него ни знатность рода, ни положение и родство царское, как взглянет на это огорченный и до сих пор влюбленный в свою изгнанную невесту царь.

При последней мысли дрожь пробежала по его телу, он схватился за голову. Несколько минут простоял он в таком положении, не видя, что в покой вошла Евникия и при виде его остановилась, растерянная, у двери.

Ее поразил вид сына, сердце, и прежде не покойное, теперь замерло, она движением головы указала Феодосии на дверь. Та быстро шмыгнула за нее, притворила и припала ухом к отверстию, решившись подслушать все, что будет говориться в келье.

Оставшись одна с сыном, Евникия сделала шаг вперед, не спуская глаз с Михайлы, который, казалось, находился в забытьи.

– Ты что же это, Михайло, задумал, – заговорила Евникия, – ворвался без меня в келью да и поздороваться с матерью не хочешь?

Боярин вздрогнул и взглянул на мать. Та строго, с гневом, смешанным с любопытством, смотрела на него.

– Прости, матушка, не по себе мне, не видал я, как ты вошла, а что без тебя в келью вошел, так спешка была, – проговорил Михайло.

– Что за спешка такая? Аль беда какая стряслась? – с тре-

вогой спрашивала монахиня, усаживаясь в кресло. Михайло вместо ответа махнул только рукой.

– Да ты что ж, пугать, что ль, меня пришел сюда? Говори, что приключилось, что юродивого строишь из себя.

– Не юродивого, матушка! А коли хочешь знать, какая беда стряслась, так слушай! Дело-то, что вы заварили с братом, открылось, теперь вслух говорят, в глаза тычут мне! – произнес он дрогнувшим голосом.

Глаза Евникии сверкнули гневом, в первый раз в жизни ей пришлось слышать такую грубую речь от сына.

– Какое дело? Как ты смеешь говорить мне это? Ты забыл, где ты, с кем говоришь!

– Помню, матушка, помню хорошо, только одно скажу тебе. Не я шел на это дело, ты с братом подтолкнули меня. Недаром я не хотел, сердце чуяло.

Монахиня слушала молча, от гнева и волнения она не могла вымолвить слова, руки ее дрожали.

– Брат первый затеял извести царевну, ты зелья дала, – продолжал он.

Евникия, не выдержав, вскочила на ноги.

– А ты поднес, ты опоил! – не своим голосом закричала она. – Ты что ж это, разума решился, что ль, что ты упрекаешь-то меня, с испугу да со страху на мать с братом валишь, свою шкуру жалеючи!

Боярин зашатался и повалился в ноги матери.

– Прости, родимая, прости, сам не знаю, что говорю, что

делаю. На каждом шагу обиды, при дворе чуть не немилость, насмешки, а тут еще это, пойдет следствие, что будет, что будет?!

– А будет чему быть. Хоть бы дознались, головы не снимут, Марфа не допустит. А ты безумствуешь только, мать гневаешь, за это тебя скорей Бог накажет! Вставай, говори толком, что говорят, кто?..

Боярин встал и начал вести рассказ о встрече с Черкасским. На половине рассказа в прихожей зашуршало платье Феодосии и послышался стук в дверь.

– Кто там? – недовольным голосом спросила Евникия.

– Я, матушка, позволь войти! – послышался голос Бориса Салтыкова.

– Иди!

Лицо вошедшего не предвещало ничего хорошего. Борис был бледен, расстроен не менее Михайлы.

Михайло продолжал рассказ. Борис внимательно слушал его.

– Я затем же пришел, – проговорил он, когда тот кончил, – только мне не так еще говорили, на тебя одного всю беду валят, говорят, ты по злобе Хлопову опоил, соблазнял ее, а она не согласилась.

Михайло дико взглянул на брата.

– И ты глотки не заткнул тому нахалу, кто посмел говорить это? – закричал Михайло.

– Как заткнешь сплетне-то глотку? – отвечал тот. –

Сплетня из дворца пошла, видели, вишь, как ты пробирался к Хлоповой в терем вечером; в тот же вечер, вишь, и захворала она.

Михайло не нашелся что отвечать.

– Нужно придумать поскорей что-нибудь, дело и впрямь скверно, – проговорила Евникия.

Все замолчали, прошло несколько минут.

– Михайла винят; из злобы, вишь, он это сделал, из любви, – заговорила наконец Евникия, – этим же нужно и лечить. Тебе, Михайло, как можно скорей жениться нужно.

Больно отозвались слова матери в душе боярина, но делать было нечего, он сам как-то инстинктивно чувствовал, что в этом именно и должно заключаться для него спасение.

– Женившись, скажешь царю, что невеста тебе давно приглянулась, что ты только его свадьбы ждал, а после, мол, малые помехи были. Понял?

– Понял, матушка, – отвечал Михайло, – да, больше ничего не поделаешь! – прибавил он, взглянув на Евникию.

Глава V

Поселившись в доме Кузьмы Минина, Марьюшка и не подозревала, что наказание за зло, причиненное ей врагами, наступило так скоро, что в семье Салтыковых начался переполох. Она не могла и подумать о тех переменах, которые произошли при дворе в ее отсутствие; она твердо была уверена, что там, в Москве, в золотоверхом Кремле, жизнь течет по-старому, что злейший ее враг и притом все-таки любимый ей Михайло Салтыков пользуется все той же властью. Во время ссылки, нужды, лишения на душе у нее как-то перегорело все, все негодование против боярина за его против нее интриги улеглось, она вспоминала только лучшие минуты своих с ним свиданий, когда его страстный, ласковый взгляд зажигал в ней кровь, заставлял сильнее биться сердце, нагонял на щеки румянец. Она давно простила ему все зло, которое он нанес ей. Она была убеждена, что никто в жизни не любил никогда ее так, как любил боярин; если же и сгубил ее, то все-таки любя; в этом она была сама виновата, сначала была ласкова, завлекала его, а потом оскорбила – поневоле озлится человек. Ей казалось теперь, что Салтыков сам кается в своем поступке, что, пожалуй, и возвратили-то ее благодаря его влиянию. Положим, царь любил ее, нелегко было ему расставаться с ней, но без совета с боярином разве он решился бы наперекор думскому приговору облегчить ее

положение?

Только одна мысль мучила, не давала ей покоя. Если уж раз попала в опалу, то чем заслужила милость? Родные так довольны, толкуют только об одном, что быть ей царицей на Москве, что больно уж полюбилась она царю, стосковался он по ней, потому и возвратил из Сибири.

Только если правду говорят родные, думалось Марьюшке, если и впрямь царь задумал снова жениться на ней, отчего он не вызвал ее прямо в Москву, к себе, на верх, зачем он оставил ее здесь, в Нижнем? Может, ему только жаль стало меня, а не то что жениться вздумал. Впрочем, бог весть, мало ль чудес бывает на белом свете, вон как послушаешь Петровну, так то ли еще бывает!

И уносились она мыслями на берег Москвы-реки, в свой царский терем. Вспоминалось ей кратковременное ее житье в нем, роскошь, богатство, ухаживание боярынь, ласки царские, его робкие, застенчивые речи. Вспоминалась и Сибирь холодная, голодная, и с тоской опускалась на грудь венчанная когда-то головка Марьюшки, слезы туманом застилали ее глаза, глубокий вздох вырывался из груди, и мысль работала усиленнее и усиленнее.

– Что, дитятко, что, касаточка моя, призадумалась, о чем загрустила? – с участием спрашивает ее еле двигающая ногами Петровна.

– Ничего, мамушка, так вздумалось, старое вспомнилось, – отвечает Марьюшка, краснея и стараясь не глядеть на Пет-

ровну.

Но Петровну не так легко обмануть, в последнее время она ни на шаг почти не отходит от Марьюшки, ей хочется знать все, что с той происходит, она и мысли-то ее самые пустые желала бы знать. Вот и теперь так пытливо заглядывает она в глаза девушки, что та не может удержаться, улыбается и как-то по-детски отворачивается от своей мамушки.

– Нечего отворачиваться-то, – ворчит старуха, – о чем плачешь, о чем сокрушаешься, ведь миновало горе, прошла беда.

«Миновало горе, – думается Марьюшке, – словно горе она мое знает!»

– Да я и не думаю плакать, Петровна, это тебе так мерещится только, – старается Марьюшка утешить свою мамушку.

– Да, толкуй тут, толкуй, думаешь, стара, слепа стала, не увижу? О чем горевать только, не пойму. О том, что не царица, так за это надо Бога благодарить: царевной была, так опоили, а царицей стала бы, так и совсем бы извели.

Неприятная гримаска пробежала по лицу Марьюшки. Постоянно толковали родные, что она опоена была Салтыковым, но она думала совсем другое, она хорошо помнит, отчего занемогла она, родные ведь не знают ничего, не знают, как вечером прокрался к ней Михайло Салтыков, не знают, что произошло между ними, а с той самой минуты, как прогнала она его от себя, и приключилась с ней болезнь. Известно,

родным обидно за нее, потому они и обвиняют его. Самой ей ничего не было известно, поэтому выслушивать напраслину, как она думала, на Салтыкова ей было крайне неприятно.

– И ты уж, Петровна, бог весть что понесла, никто меня не опаивал, сама занедужила, знать, Богу так было угодно, что на людей напраслину возводить! – проговорила как бы с упреком Марьюшка.

Петровна только головой покачала.

– Нет, дитяtko, не напраслину я возвожу, напраслину грех возводить – и Бог и люди накажут, – говорила она, – а я говорю то, что и все говорят, а глас народа, сама, дитяtko, знаешь, глас Божий.

– Кто это все-то? Только дядя с бабкой да ты вот, больше никто и не говорит.

– Ох, дитяtko ты, дитяtko неразумное, ничего-то ты не знаешь, ничего не ведаешь, да, не знаючи, и меня, старуху, обидела, вишь, напраслину я возвожу, а послушала бы ты да узнала, какой слух на Москве идет, не то бы заговорила.

Марьюшка против воли встrepенулась и взглянула на Петровну. Из Москвы ни одна весточка еще не долетала к ней, а Петровна про Москву сказала, откуда она узнала, что делается, что говорится там.

– Да ты откуда все знаешь-то? – с любопытством спросила она Петровну.

– Уж знаю! Помнишь Ивана, на дворе у твоего батюшки жил, при амбаре хлебном состоял?

– Ну, помню.

– Так вот он и приехал, грамотку привез от твоего батюшки к дяде. Он-то сам-то ничего, почитай, не знает, говорит, что в народе-то молва идет, что Салтыковы опоили тебя; что батюшка-боярин пишет, того не могу тебе сказать, хотела послушать, как боярин боярыне грамотку-то читал, да ничего не узнала, стара стала, глухота одолевать начала.

Марьюшка побледнела, письмо от отца было первым еще письмом со времени ее изгнания. Что-то он пишет, какие весточки шлет? Как бы ей хотелось узнать! Она встала и сделала несколько нерешительных шагов по светлице, ей хотелось пойти вниз к дяде узнать, что пишет отец, услышать новости московские, но удобно ли это сделать, как бабка взглянет на это, не осудит ли.

– Ты что заходила-то? – спросила следившая за ней Петровна.

– Ничего, – отвечала та.

– Ой, не лукавь, задумала что-то, уж куда тебе провести меня, коли я знаю все, что и подумаешь-то ты!

Марьюшка сконфузилась, вспыхнула. Неслышными шагами подошла она к Петровне, словно чувствуя какой за собой грех.

– Мамушка, – начала она, – мне хочется к дяде пойти, он ничего не скажет? Мне про грамотку узнать хочется, какие вести от батюшки, да боюсь, бабушка забранится.

– За что же браниться-то, чай, ни от кого грамотка пришла

– от родителя. Поди, дитяtko, узнай, потом и мне, старухе, поведаешь!

Марьюшка быстро, порывисто обхватила шею старухи, поцеловала морщинистое ее лицо и вихрем вылетела из светлицы.

– Ох, пташка ты моя милая, дитяtko родимое! – пробормотала ей вслед Петровна, с сокрушением покачивая головой.

Марьюшка, задыхаясь, едва дыша, влетела в комнату, занимаемую Желябужской. Та сидела у стола, Хлопов сидел рядом; перед ними лежало письмо. При виде вбежавшей Марьюшки оба словно по уговору улыбнулись, глядя на ее раскрасневшееся личико, блестящие глаза.

– Знать, старая проболталась, про грамотку сказала, – заговорил ласково Хлопов.

– От батюшки? – только могла спросить Марьюшка.

– От него.

– Что же... какая весточка? – затаив дыхание, произнесла Марьюшка.

– Плохих пока нет, больше хорошие.

Марьюшка уставилась глазами на дядю, она ждала, чтобы тот поделился с нею этими хорошими вестями.

– Наши дела в гору пошли.

– Какие дела?

– Известно, допрежь всего твое дело. Царь, вишь, и невесть как по сию пору сокрушается по тебе; говор пошел,

что опять тебя на верх возьмут, за это принялся сам патриарх, а вороги-то наши Салтыковы уж совсем не в той чести, чем были, оттерли, вишь, их, да промеж боярства слух пошел, что опоили они тебя, того и гляди, до царя дойдет, тогда уже и совсем несдобровать, а особенно молодой небось не понравится.

– Какой молодой? – спросила Марьюшка.

– Как же, Михайло Салтыков молодую хозяйку завел себе, женился; царь одарил его с молодой, да, видно, последняя эта милость была, больше не перепадет.

Марьюшка последних слов не слышала, в голове у нее помутилось, в глазах зарябило, она бессознательно, ничего не слыша, что еще говорил ей дядя, повернулась и пошла к себе наверх.

«Как же я-то... что ж он мне говорил-то, ласкал как, что ж теперь женился... врал, значит, все, обманывал, смеялся только надо мной!» – думалось ей, и что-то горькое заворочалось у нее на душе.

Глава VI

В письме Хлопова к брату по большей части содержалась правда относительно видов царя на Марьюшку.

После смут, в которые попала Русь от пресечения царского рода, первой заботой Филарета было женить сына, чтобы после него осталось потомство. Патриарху хотелось, чтобы Михаил Феодорович непременно женился на иностранной принцессе. Царь не говорил ни слова, планы отца словно не касались его; он не изъявлял согласия, но и не противоречил патриарху. В самую решительную минуту, когда бы от него потребовали последнего слова, тогда он порешил сказать отцу, что он не женится ни на ком, кроме Хлоповой. Глубоко запал ему в душу ее образ, он не мог забыть ее, не мог вырвать из сердца любви к ней. Не один раз он горько раскаивался в своей слабости, зачем он уступил, зачем дозволил Боярской думе вмешиваться в свои сердечные, семейные дела, когда одно слово могло бы доставить ему полнейшее счастье. Участь Марьюшки, ее опала, ссылка тяжелым камнем лежали у него на душе, не одну бессонную ночь провел он из-за своей царевны.

Время шло, переговоры с иностранными дворами велись деятельно, но безуспешно. Никто, помня прежние примеры, не решался отправлять принцессу в далекую, холодную, неизвестную еще Европе Россию.

Между тем жениться царю было необходимо; вследствие неудач заграничного сватовства нужно было прибегнуть к облюбованному обычаю выбора невесты.

Патриарха сильно озабочивало это, он решил переговорить с царем и с этой целью отправился к нему.

Низким поклоном встретил Михаил Феодорович отца, подошел к нему под благословение и, когда тот сел, остановился напротив него. Филарет молчал, он как будто собирался с мыслями, не зная, как приступить к делу.

Царь вопросительно смотрел на него, он ждал, что скажет отец, первым он не решался заговорить.

– Ну, Михайло, – наконец произнес патриарх, – пора нам и о деле подумать.

– О каком, батюшка? – спросил царь.

– Жениться тебе пора. Бобылем царю жить непригоже, в животе и смерти Бог волен, помрешь, на Руси опять смута пойдет, наследник нужен.

Михайло смущенно глядел на отца.

– Чего смутился? – с улыбкой спросил патриарх. – Не красная девица, дело житейское, а для тебя государственное.

– Я ничего, батюшка, только... – начал царь.

– Что?

– Окромья своей Насти, ни на ком не женюсь я...

– Какой Насти? – с изумлением проговорил патриарх.

– Чай, знаешь, батюшка, какая, моя Настя Богом венчанная, и в церквах-то ее как царевну поминали.

– Да ведь она порченная, говорят.

– Ничего не порченная, так просто малость похворала, а тут толки пошли, матушка ее невзлюбила больно, за что? Господь ее ведает, такая-то кроткая, словно ангел была...

– Да ты-то что же, коли так смотрел, зачем сверху сослал?

– Так матушка требовала, чтоб бояре обсудили, годна ли она, ну, по приговору боярскому и свели ее, и услали.

– Бояре да бабы, старая история, знакомая, козни да козни да пересуды, – как бы про себя, тихо говорил патриарх, но в глазах его загорелся недобрый огонек.

– Эх, Михайло! – продолжал он. – Сам-то ты баба! Мало ль чего мать тебе не наговорит, не ей было жить с твоей Настей, а тебе!

Царь потупился, он сознавал, что отец говорит правду, что сам он по своей слабости лишил себя счастья.

– Бояре приговорили, да откуда им ведать, годна она или не годна, порчена иль нет! – продолжал патриарх.

– Лекарь сказал, что порчена.

– Какой лекарь?

– Балсырь, мой лекарь.

– Что же он тебе говорил?

– Он не мне сказывал, а Салтыкову Михайле.

При имени Салтыкова патриарх нахмурился.

– Так! Значит, ты сам, ничего не зная, не ведая, свою Богом данную на съедение отдал боярам. Ох, Михайло, чует мое сердце, что неладное здесь дело, обвели тебя.

Царь побледнел.

А что, если и впрямь обошли его, обманули, разлучили нарочно, только кому ж нужно было это, кому он сделал зло, он, мягкосердечный, добрый, зло, за которое так тяжко отплатили ему?

– По речам твоим вижу, – продолжал Филарет, – что любовь тебе невеста.

Царь снова зарделся, на глазах блеснули слезы.

– погоди, не печалься, может, и поправится дело, – промолвил патриарх, поднимаясь.

– Как поправить-то? – нерешительно проговорил царь.

– А так и поправим, узнаем, как и что делалось, ты, чай, ничего не знаешь?

– Ничего, я и в Думе не был, когда решали там, – отвечал царь.

Патриарх подошел к двери и отворил ее. В соседнем покое стояли Черкасский и Шереметев.

Филарет кивнул им головой, и они вошли в царский кабинет.

– Вы были в Думе, когда судили царевну, годна ли она в жены царю? – спросил он вошедших бояр.

Всех смутил этот вопрос, никто не понял, к чему клонится он.

– Были, – отвечал Шереметев.

Черкасский промолчал.

– Как же вы решали, что делали, чтоб узнать, годна ли

она? Спрашивали лекаря, что ль? – продолжал допрашивать патриарх.

– Нет, ничего такого не было, государь. Салтыков рассказал про болезнь, про то, что сказал лекарь, да промеж боярства слух прошел, что сама мать государева, великая старлица, видела ее в корчах, сама, вишь, признала ее за порченую, так тогда и порешили, что царевна не годна к царской радости.

– Так только потому, что слух прошел да Салтыков наговорил, вы и порешили?

– Потому.

– Вот так Боярская дума, – с усмешкой проговорил патриарх, – и никто ничего не сказал?

– Нет, Хлопов шумел много, да его не послушали.

– Что же он шумел?

– Говорил, что все это наветы Салтыковых; лекаря, говорил, чтоб спросили.

– Так! А позови-ка лекаря, чтоб скорей шел, Балсырь, что ль? – обратился он с вопросом к царю.

– Балсырь.

– Так вот его! – проговорил патриарх боярам.

Те вышли.

– Видишь теперь, как все делалось? – обратился Филарет к царю. – Молод ты больно, не знаешь еще всех боярских проделок.

– Что же ты хочешь делать теперь, батюшка? – спросил

Михаил Феодорович.

– А вот поговорю с лекарем, поспрошаю его, а там, может, и розыск нужно будет сделать; чую я здесь салтыковскую руку, пожалуй, за него придется приняться.

– А потом?

– Потом что? Потом если окажется так, как я думаю, тогда и свадьбу твою с Настей сыграем.

Царь вспыхнул и, бросив взгляд на образа, перекрестился.

Глава VII

Царь был немало смущен разыгравшейся перед ним сейчас сценой. Обидно было ему, как это отец сразу заподозрил интригу, как ему раньше самому не запало в голову подозрение?

Да и то сказать, отуманен он был в то время нападками великой старицы на его Настюшку, невдомек было тогда самому как можно ближе войти в положение дела, расспросить лично Балсыря о болезни царевны; может, и впрямь от него он услышал бы совершенно другое об этой несчастной болезни; может, и впрямь это была одна только боярская интрига.

С болью сжималось при этой мысли царское сердце; была, правда, маленькая надежда на поправление дела, едва светящейся звездочкой мерцала она; эта надежда заключалась теперь в оправдании подозрений отца.

А что, если снова его Настенька появится здесь, во дворце, в своем покинутом тереме, опять будет ласково глядеть на него, опять он услышит ее певучий серебристый голосок?

Голова кружилась, дрожь пробегала по телу молодого царя при этой мысли.

– Что же так долго не идет лекарь? – шептал царь, нетерпеливо расхаживая по палате. – Каково ждать мне его, правду услышать?..

Чело его омрачилось.

«А если она и здорова, ведь мать опять упрется, не любит она Настю. Что ж, теперь я не один, – подумал он, – теперь отец здесь, он вступится!»

Послышались торопливые шаги, в комнату вошел запыхавшийся Шереметев.

– Балсыря, лекаря привел, прикажешь ввести его, государь? – спросил он.

– Скажи, чтоб шел сюда один, да скорее, слышь, как можно скорей! – чуть не закричал царь.

Шереметев исчез, и через минуту вошел немец.

Царь сделал несколько шагов к нему и остановился; негоже было царю идти немцу навстречу.

Тот отвесил низкий поклон, приложив правую руку к сердцу, потом, наклонив голову, исподлобья посмотрел восторженно на Михаила Феодоровича.

Царь не мог выговорить слова, волнение овладело им; сейчас, вот сейчас он может узнать правду, и как хочется поскорее узнать ее, да спросить не может, язык не повинуется, лицо его то бледнеет, то краснеет, на лбу и щеках появились багровые пятна.

– Ты... ты лечил царевну? – наконец проговорил он.

Балсырь вздрогнул, легкая бледность покрыла его лицо.

«Не оклеветали ли?» – невольно подумалось ему, и он побледнел еще больше.

– Что же молчишь?.. Ты, что ли? – спросил царь, в голосе его послышалась гневная нотка.

– Я, государь! – отвечал робко, чуть слышно Балсырь.

– Ты сам видел царевну?

– Осматривал!

– И болезнь ее знаешь?

– Болезнь ее мне была известна, государь.

– Что же... что же за болезнь, тяжкая, что ль?

– Нет, государь, болезнь была пустая.

Царь вздрогнул, словно оборвалось в нем что.

– Вылечить, значит, можно было?

– Я тогда же говорил, что можно.

Гнев все более и более одолевал царя; ему было стыдно, обидно за себя, что он легко поддался обману.

– Болезнь эта могла пройти совсем, чадородию не была помехой?

Балсырь слегка улыбнулся:

– Никакой помехи, государь, быть не могло.

Царь едва устоял на ногах, он подошел к креслу и бросился в него.

– Болезнь у царевны была самая пустая, натура же очень сильная, – продолжал Балсырь, – она обещает прожить долго в добром здоровье, я и тогда это говорил.

Каждое слово лекаря словно ножом резало сердце царя, он от боли готов был вскрикнуть.

– Кому же ты говорил? – чуть слышно спросил царь.

– Боярину Салтыкову, он все выпрашивал у меня.

Наступило молчание.

– Хорошо, ступай, – проговорил наконец царь, – только не уходи из дворца.

Балсырь, отвесив низкий поклон, вышел.

Царь сам не знал еще хорошо, зачем он лекарю приказал оставаться во дворце; он смутно как-то сознавал, что тот понадобится еще.

Да и не мог он в настоящее время сознавать что-нибудь ясно, в голове его все мутилось, одна только мысль, как буровом, точила его мозг, мысль о поступке Салтыкова.

Кроме добра, ласки, ничего не видел от царя Михайла, зачем нужно было нанести ему такой удар, с какой целью он это сделал, какие были его намерения?

И начали длинной вереницей, картина за картиной, рисоваться перед его глазами минуты его прошлого счастья. Вспомнилось каждое слово, каждый ласковый взгляд царевны, все до мельчайших подробностей врезалось в его памяти. Вспоминалась ему и ее болезнь, и ее выздоровление, его собственное обещание, когда он виделся с нею в последний раз, обещание вступить за нее, не давать никому в обиду. И она, голубка, смотрела ему в глаза так ясно, весело, доверчиво, она верила ему, а чем он отплатил ей за это доверие? На другой же день изменил своему слову и предал в руки врагов, которые сгубили, оскорбили ее. Зачем он это сделал? За любовь, за ласку отплатил позором, сведением своей Настюшки с верха? Мало того, согласился на ссылку, и теперь она, ни в чем не повинная, святая, чистая, в нужде, в горе.

И за что, за что?

На глазах у царя показались слезы. Прошло по крайней мере полчаса. Наконец он встал, прошел несколько раз по покою и приказал позвать к себе Салтыкова.

Тот не замедлил явиться, так как находился здесь же, во дворце. Он вошел спокойно, ничего не подозревая, так как он ничего не знал о свидании патриарха с царем и последнего с Балсырем.

Войдя и отвесив поклон, он смело взглянул на царя, но при виде его бледного лица, сверкнувших гневом глаз невольно смутился, явилось какое-то опасение, он не выдержал устремленного на него царского взгляда и смущенно опустил глаза.

Царь между тем молчал; при виде когда-то любимого боярина, который теперь являлся злейшим врагом его, он растерялся. Упорно смотрел он на боярина, и чем более смотрел, тем более злоба разбирала его, кровь сильнее прилиwała к сердцу.

Положение Салтыкова становилось неловким, молчание царя смущало его.

– Ты, государь, приказал кликнуть меня? – решился наконец он сам прервать тяготившее его молчание.

– Что я тебе дурного сделал, Михайло? – тихо, задыхаясь, заговорил царь.

Салтыков вспыхнул и поднял глаза, он понял теперь, зачем позвал его царь, понял и задрожал.

Что было отвечать ему? А краска стыда все более и более покрывала лицо его.

– Что я тебе сделал? – снова повторил царь.

– Окромья милостей, государь, ничего, я век должен молить Бога за тебя, – еле отвечал Салтыков.

Царь встал, медленно приближаясь к боярину, тот глядел на царя.

– Если, окромья милостей, ничего я тебе не сделал, так за что же, Михайло, ты мне зло такое учинил? Иль я змею у себя отогрел?

«Вот оно, вот началось это страшное, – думалось боярину, – страшное, которого я так боялся».

– У меня и в помыслах не было, государь, чинить тебе какое-либо зло, сам знаешь, что всегда был верным тебе слугой, жизни для тебя не жалел.

Царь усмехнулся:

– На что мне твоя жизнь, боярин, жив ли ты, нет ли, для меня все едино, зачем ты только счастье у меня отнял?

– Я... государь, твое счастье?..

– Да, счастье! Настюшку передо мной и перед Думой оболгал.

Салтыков едва устоял на ногах. Давно он уже ждал услышать это слово от царя, давно подготовлялся как можно хладнокровнее выслушать его, но он думал, что услышит его от гневного царя. Теперь же царь так грустен, словно бы спокоен, и тем тревожнее делается на душе у боярина.

– Зачем ты обманул меня? – продолжал царь.

– Государь, я не обманывал тебя, меня обнесли, оболгали перед тобой, – оправдывался Салтыков.

В глазах царя блеснул гнев:

– Никто не оболгал тебя. Что ты толковал мне о Настинной болезни, что говорил об ней перед Боярской думой?

– Ничего, государь, не говорил я, опричь того, что лекарь говорил.

– И все-то ты, боярин, лжешь, все лжешь! – закричал, не выдержав, царь.

– Воля твоя, государь, а как царица захворала, так я ни ее не видал, ни лекарства ей не подавал, а отдавал их Хлопову, а что ежели и говорил тебе, так только то, что сам слышал от лекаря.

– И про бабу ту, что померла от такой же болезни?

– И про бабу... лекарь говорил... – бормотал Салтыков, окончательно теряясь.

Царя вывело из терпения упрямство Салтыкова; покайся он, скажи правду, царю было бы легче, он знал бы истину, а теперь кому верить: Балсырь говорит одно, боярин другое, и опять как в тумане – не знаешь чему верить, что думать.

«Свести нешто их вместе, авось правду узнаю?» – подумал царь.

– Позовите Балсыря! – крикнул он.

Салтыков этого не ожидал, он затрясся от страха.

– Государь... что задумал... меня с нехристом... с немцем

сводить... за что порочишь... пощади... – залепетал Салтыков.

– Пощади? А ты щадил меня, когда люблю мою, Настю, из сердца вырывал, думал ты тогда обо мне?

Боярин повалился на колени.

– Не позорь... государь, вели голову снять, но не позорь, – молил он.

– Какой тут позор, правду только хочу знать, а кто-нибудь из вас да лжет.

– Не я, государь... что за польза лгать мне?

Послышались шаги.

– Встань, боярин! – сказал царь.

Салтыков поднялся на ноги и прислонился спиной к стене, ноги не держали его.

Вошел Балсырь.

– Ты что говорил о болезни царевны боярину? – прямо спросил его царь.

– Я докладывал уже тебе, государь, что болезнь была пустая, чадородию помехи никакой не могло быть.

– Что же ты, боярин, мне-то говорил?

– То же, что и он, он теперь отпирается от своих речей, – прошептал Салтыков, бледнея все более и более.

– Одно только удивило меня, – продолжал лекарь, не обращая внимания на слова боярина, – царевна совсем было уже на ноги стала, я дал вот боярину последнее лекарство, вдруг слышу, что, как только приняла она его, так с ней

невесть что стало делаться, а лекарство было доброе, хорошее! Потом меня к царевне и пускать не стали.

– Хорошо, должно быть, было лекарство, коли царевна от него совсем свалилась! – с дрожью в голосе, сверкнув злобно глазами, проговорил Салтыков.

– Лекарство было доброе, хорошее, говорю я, а что его могли подменить каким-нибудь зельем, за это я не ручаюсь, – отвечал хладнокровно лекарь.

– Знать, родня подменила да опоила царевну зельем, ей это, что ль, нужно было, ведь твое доброе лекарство я Хлопову отдал, так он, знать, и поил ее им, ты уж невесть что стал городить, немец.

– Родне зачем опаивать было царевну, это нужно было ее недругам. Родня и не спрашивала меня, будет ли у нас царицей Марья Хлопова.

Молчавший до сих пор царь встрепенулся.

– А кому до этого было дело? Кто тебя об этом спрашивал? – живо спросил царь.

– Вот боярин! – отвечал спокойно немец, вскидывая глазами на боярина.

Царь гневно взглянул на Салтыкова:

– Тебе зачем это было нужно знать? Ты знал, что она объявлена царевной, как же она не была бы царицей?

– Я, государь, исполнял твою волю, да также мне приказывала и мать великая старица узнать, прочна ли будет к твоей радости царевна.

– А ты нешто про это спрашивал?

– Твоя воля, государь, верить мне или нет, только одно скажу, немец врет, все врет, у него нет ни слова правды, это его враги мои научили обнести меня перед тобой! – говорил Салтыков.

Балсырь ничего не отвечал, только какая-то загадочная улыбка бродила по его лицу.

– Идите! – вдруг решил царь.

Оба вышли, царь задумчиво посмотрел им вслед.

«Кто из них говорит правду? – невольно думалось ему.

– Может, и впрямь враги Михайловы подучили немца говорить так? Нет, видно, нужно назначить следствие, и если Балсырь сказал правду, берегись тогда, Михайло, отплачу я тебе за свое горе!»

Глава VIII

Прошло немало времени с получения письма от Хлопова в Нижнем. Марьюшка тоскливо переживала время изо дня в день. Прежде, когда не блестел еще ей в будущем ни один луч надежды, она проводила жизнь однообразно, ни о чем не думая, ни о чем не смея мечтать. Теперь же по получении письма от отца в ее молодой хорошенькой головке взбудоражились все мысли. Всплыла перед ней царская жизнь со всеми прелестями, которые испытала, которые пережила; омрачалась, правда, иногда она при воспоминании о женитьбе Салтыкова, но это туманное облачко на будущем ясном горизонте ее жизни еще более заставляло ее желать поскорее выбраться из этого душного терема опять туда, на верх, в царский дворец. Знала она хорошо, что любит ее боярин, что и способствовал ее гибели из-за любви к ней. Чувала она все это своим девичьим сердцем, чувала и страстно желала воротиться поскорее в Москву, чтобы люто отомстить боярину. Не станет она гнать его, не станет и перед царем оговаривать, нет, она будет с ним ласкова, ласковее даже прежнего, и как огонь загорится боярин, еще пуще потеряет он голову, а она, уж как она тогда посмеется над ним, как зло оплатит ему за все перенесенное, перечувствованное ею!

И думает, думает Марьюшка о том, что будет, как она снова заживет. Думы эти упорно, настойчиво поддерживает и

дядя, знать, и вправду крепко надеется он на что-нибудь, а то из-за чего бы ему обманывать. А дни идут, идут, все так же серо, тяжело, никакой перемены, никакой весточки из Москвы, словно пропасть какая появилась между нею и Нижним, через которую не только не перейти человеку, а и птице не перелететь. И сидит Марьюшка в своем тереме, словно пташка в запертой клетке, только и развлечения ей, что подойдет к окну да поглядит на безлюдную улицу.

Так и теперь сидит и глядит она бесцельно вдаль. Там сливается с синевой неба ровная, правая луговая сторона реки, сама красавица Ока широкой синей лентой обвивает город, по песчаному ее берегу тянут вечные труженики лямку. Чуть слышно доносятся звуки заунывной их песни до слуха Марьюшки.

И хочется вырваться девушке из этого душного терема и понестись вольной пташечкой если не туда, в златоглавую Москву, в терем царский, то хоть вслед за этими несчастными тружениками, тянущими лямку, туда, где солнышко и светит светлее, и тепла дает больше, где дышится легче, свободнее, где люди приветливее, где козней не строят, не губят из зависти друг друга.

Поглядела Марьюшка через улицу. За забором соседнего дома виднелся сад, деревья стояли с пожелтевшими листьями, некоторые, сорванные ветром, немного покружившись в воздухе, медленно падали на землю.

Грустно поникла головой девушка.

«И лето прошло, – думалось ей, – приехала сюда, когда еще не распускались деревья, а теперь отцвести успели, вон и лист падает, так и мне, знать, придется отжить всю свою жизнь, сначала приснился сон, да такой хороший, чудный сон, а там и пошло все словно под горку, и вся-то жизнь, пожалуй, так пройдет, без радости, без счастья!»

И слезинка, мелкая, чистая, прозрачная, повисла на ресницах Марьюшки, она досадливо сморгнула ее.

В покой, несмотря на свою старость, вихрем влетела Петровна.

– Марьюшка, дитячко! – завопила она с сияющим лицом.

Марьюшка вздрогнула, вскочила на ноги и с испугом взглянула на старуху, сердце ее сильно забилося, но при виде радостной Петровны она успокоилась.

– Что ты, что ты, Петровна? Господь с тобой, что приключилось?

– Голубушка, боярин приехал, приехал, пташечка ты моя!

Марьюшка схватилась обеими руками за сердце.

– Какой боярин? – со страхом, бледнея, спросила она.

– Какому больше и быть, как не нашему, как не твоему батюшке.

Марьюшка схватилась за голову и онемела на мгновение, потом вскрикнула и бросилась вон из терема.

– Батюшка, родимый мой! – радостно говорила Марьюшка, обхватывая шею отца и замирая на ней.

– Здравствуй, мое дитячко, здравствуй, моя Настюшка,

царевна моя золотая, – также радостно приветствовал свою дочь Хлопов.

При его словах Марьюшка слегка застонала. Хоть и мечтала она о царском тереме, но об этой мечте знала только она одна, и слышать слово «царевна» от кого бы то ни было другого, даже от отца, ей было неприятно; болью отзывалось в ней это слово.

– Опять, опять за старое! – тихо промолвила она.

– Опять и опять, голубка моя! Теперь уж будешь царевной, попрочней, чем прежде, теперь уж Салтыковым не столкнута тебя!

Марьюшка провела рукой по лбу, как бы стараясь прогнать от себя какую-то неотвязную мысль.

«Опять, опять начнется эта светлая жизнь, опять!» – думала Марьюшка, и голова ее кружилась от счастья.

Как в тумане видела она теперь перед собой отца, дядю, бабу, словно сквозь сон слышала она их речи. Между тем как только все успокоились, посыпались расспросы.

– Знал я, – говорил Хлопов, – что всплывет правда, что недругам нашим несдобровать. По-моему и вышло. Не знаю уж, как это приключилось, только сначала пошел по Москве слух, что Салтыковы извели Настю, да ведь как пошел, чуть не на улицах вслух говорили, я тогда отписывал вам об этом. Потом прослышал я, что Салтыкова к царю вызывали, лекаря тоже, сводили, вишь, их там с глазу на глаз; лекарь-то Балсырь и уличил его. Только прошел этот слух, гляжу, батюш-

ка наш идет из Никитского, так и так, говорит, патриарх вызывал во дворец, про царевну допрашивали. О чем же, спрашиваю. А не хворала ль прежде чем, ну что ж я скажу? Сказал, что всегда здорова была, никакой хворости я за ней не знавал. Поговорил я, значит, с батюшкой, а на другой день, глядь, и меня ведут во дворец. Ну уж я и порассказал, все как есть выложил, то есть ни словечка не утаил. Царь так весело слушал меня, потом отпустил меня милостиво. «Не тужи, – говорит, – Иван, следствие будет, и недруги наказание понесут, и дело мы свое поправим». Вышел это я от него, земли под собой от радости не чую, зашел в соборы, помолился святым угодникам. Проходит несколько недель, что за чудо, никакой весточки, ни про следствие, ни про что. Начало меня сумнение брать, не раздумал ли царь, не подстроили ль опять чего-нибудь вороги, признаться, закручинился я, не раз и на милость Божию возроптал, каюсь, согрешил, окаянный. А тут вдруг приказ – вместе с другими ехать в Нижний, и лекарей прислали вместе, крепко-накрепко приказано все доведать, и коль все благополучно, в Москву отписать, а там веселым пирком и за свадебку! Так-тось, моя царевна! – закончил свою речь Хлопов, обращаясь к Марьюшке.

Та вспыхнула.

– Завтра же небось придут, так ты не пужайся, – продолжал Хлопов, – будь посмелей. Пужаться нечего, что спросят – смело говори, а пуще всего напирай на то, что Салтыковы в ту пору тебя опоили.

– Да ведь я не знаю... – начала было Марьюшка.

– Чего тут знать, опоили, и конец, от этого, мол, и болезнь приключилась.

Глава IX

Беспокойно спалось Марьюшке в эту ночь. То жаром палило ее, ей делалось душно, она сбрасывала с себя одеяло и металась, огнем пылало ее личико, губы сохли от горячего дыхания; то холод охватывал ее, дрожь пробирала, и она плотнее и плотнее закутывалась в одеяло.

Завтра, думалось ей, завтра придут бояре... о чем они будут говорить, о чем расспрашивать ее? О здоровье? Что ж она скажет им? Она и больна-то никогда не была, тогда только, так тогда от сердца, от злости на Салтыкова расхворалась она, да и прошло все и не возвращалось больше. Отец вон приказывает валить все на Салтыкова, его оговорить. Да за что его оговаривать-то? Мало ль что люди болтают, она за всю болезнь и не видала его, а что от лекарства в ту пору похудшало ей, так не он давал ей его, а дядя, чуть не силком заставил ее выпить зелье. Что ж, значит, дядя хотел ее опоить? Легко сказать: оговорить боярина, ей совсем не того хочется, зла ему она не хочет, посмеяться, потомить она не прочь, царской же опалы и немилости она никогда не пожелает ему. Нет, пусть он всегда будет при дворе, пусть каждый день видит ее цветущею, пусть смотрит на нее и горит, горит медленно, изнывает в тоске по любушке, что не его она, несмотря на то что так близка. А домой потом придет, нелюбимая жена встретит, и обовьет его сердце злая тоска... А то

что проку будет, если она оговорит его, ну и поверят, попадет он в опалу, сошлют его куда-нибудь воеводой, заживет он там припеваючи и про нее забудет. Нешто ей этого хочется? Нет, пусть родные сердятся на нее, пусть бранят, а по их она не сделает, да и то сказать, сердиться-то долго не будут, как станет только снова царевной, так опять по-старому почет да уважение начнут выказывать.

На дворе забрезжил рассвет, в комнате начали обрисовываться чуть заметно предметы, потом рельефнее и явственнее стали выдвигаться они из темноты; Марюшка лежала с открытыми глазами, яркий румянец играл на ее щеках, горели уши, шея, она пристально вглядывалась в окно, стараясь как будто подметить рост рассвета; на дворе между тем делалось светлее и светлее, загорелось наконец багровым светом небо, утренняя звезда блеснула еще раз-два своими разноцветными цветами и померкла, исчезла.

Марюшке надоело лежать, она вскочила с постели и поспешно начала одеваться.

– Сегодня придут! – прошептала она, и глаза ее загорелись.

Если бы ее увидел в эту минуту царь, забыл бы он и про следствие, и про нелюбовь к ней матери, забыл бы все-все, только глядел бы на нее любовно, ласково, глядел бы, не спуская с нее глаз. Хороша была в эту минуту Марюшка, куда краше, чем на царском смотре.

Взошло солнышко и залило своим светом Нижний; ярко

загорелось оно и в теремке Марьюшки. Как-то весело, легко стало на душе девушки, радостно встретила она день. С нетерпением ждала она прихода московских гостей, поскорее хотелось узнать результат свидания, а время тянулось так медленно, так долго, Марьюшкой начинала овладевать досада.

– Что же не идут, что не идут, скорей бы уж какой-нибудь конец, – шептала она, выглядывая в окно, выходящее на двор, из которого была видна калитка.

Время шло к полудню, Марьюшка сердилась; то светлое чувство, которое овладело ею утром, исчезло, оставило ее.

Наконец калитка хлопнула, Марьюшка поспешно подбежала к окну и увидела какие-то три черные фигуры.

«Кто же это? Ведь это не бояре», – подумала Марьюшка, вглядываясь в них.

Один из пришедших показался ей как будто знакомым, она начала припоминать, где она его видела. И привиделся ей царский терем, вот она лежит в постели, эта самая черная фигура, изогнувшись, стоит над ней, берет ее за руку.

– Вспомнила! Лекарь! – встревоженно проговорила Марьюшка. – Только зачем же он здесь, зачем его прислали?..

Через несколько минут к девушке вошел отец.

– Там лекари пришли, – проговорил Хлопов, – осмотреть тебя приказано.

Марьюшка вспыхнула.

– Как осмотреть, зачем? – чуть проговорила она.

– Так приказано, хотят узнать, не осталось ли у тебя какой болезни.

– Не хочу я, не хочу! – едва не плача, говорила Марьюшка.

Она все еще не могла забыть осмотра во дворце, перед царскими смотринами; при одном воспоминании об этом ее бросало в краску, но ведь тогда смотрели ее женщины-повитухи, а тут накомь, мужчины будут, да еще немцы-нехристи.

– Нельзя, голубушка, как же послушаться царского приказа.

– Срам-то, срам какой! – шептала девушка, закрывая лицо руками.

– Никакого тут сраму, дочка, нет, – успокаивал ее Хлопов, – при нас будут ведь тебя смотреть.

Еще пуще зарделась Марьюшка.

– Не хочу, батюшка, делайте со мной что знаете, только осматривать себя не дам ни за что, срамиться не стану.

– Да чем срамиться? – не понимал отец.

– Раздевать... нагишом! – сквозь слезы проговорила Марьюшка.

Хлопов засмеялся:

– Да кто ж это тебя раздевать, голубушка моя, станет?

– Кто? Известно кто, лекари... вон тогда во дворце, – плакала навзрыд Марьюшка.

– Да что ты, дитяtko, что ты, господь с тобой, тогда совсем другое, теперь нешто тебя так будут осматривать?

– А то как же... известно!

– Теперь тебя опросят только... больше ничего и не будет.
Марьюшка немного успокоилась.

– Утри глазоньки, я их приведу сейчас.

Марьюшка, конфузливо улыбаясь, отерла глаза. Отец вышел и немного спустя возвратился в сопровождении трех немцев.

Лекари, вошедши в покой, отвесили почтительные поклоны. Марьюшка, сконфуженная, отвечала неловким поклоном, она не знала, куда смотреть, куда девать руки, глаза снова заволочло слезами, краска залила щеки, шею, уши, она перебирала в смущении пальцами.

– Ты бы, боярышня, села, – обратился к ней Балсырь, – тебе так удобнее будет, да и успокойся немного.

Марьюшка поскорее села.

– Что, боярышня, после той болезни никогда не хворала? – спросил ее Балсырь немного спустя, заметив, что Марьюшка оправилась от смущения.

– Нет! – отвечала та, взглядывая на него исподлобья и быстро опуская вниз глаза.

– Никакой боли не чувствовала?

– Нет, голова иной раз болела, когда там... в Сибири жила. – При слове «Сибирь» голосок ее дрогнул. – От угара больше, – продолжала она.

Балсырь с грустью поглядел на нее. Потом взял за руку и начал щупать пульс. За ним другой, третий немец.

«Что это они щупают все руку, зачем им это нужно?» –

подумалось Марьюшке, и она вопросительно поглядела на родных.

Лица тех были веселы; они любовались своею Марьюшкой.

Немцы, оставив руку Марьюшки, заговорили по-своему, девушка, слыша звуки незнакомого языка, совсем растерялась.

Поговорив немного, лекари собрались уходить.

– Больше ничего?.. – как-то невольно вырвалось у Марьюшки.

Немцы улынулись.

– Нет, боярышня, больше ничего, мы осмотрели тебя, – отвечали они, откланиваясь.

– Что же нашли? – спросил Хлопов.

Балсырь пожал плечами.

– Что ж мы могли найти в ней, когда она совершенно здорова, – отвечал тот.

Хлопов вздохнул легко, свободно, словно гора с плеч свалилась, он весело, торжествуя улынулся.

– Она и больна-то никогда не была, а что тогда поприitchилось, так пустяки только, со всяким бывает, – произнес он.

– Я и тогда говорил то же, – заметил лекарь, – а так только смуту завели, царевну обидели, – продолжал он, откланиваясь.

– Ну, дочка, что теперь скажешь? – обратился Хлопов к Марьюшке. – И теперь все не будешь верить?

– Ох, батюшка, не знаю, что думать, что говорить, здесь у меня невесь что творится, – проговорила девушка, хватаясь рукой за сердце.

Глава X

Прошло три дня, от присланных в Нижний бояр не было ничего слышно, словно осмотр докторов должен был закончиться ничем. Неизвестность эта сильно томила семью Хлоповых; призадумалась и Марьюшка; не поддерживай ее отец, она пришла бы в отчаяние.

А бояре между тем, согласно царскому приказу, тотчас же послали в Москву донесение о результате докторского осмотра; оставалось только самим убедиться в здоровье Марьюшки, выведать, не скрывают ли какой тайной немочи, и тогда уже послать кого-нибудь к царю с подробным донесением.

Сначала они обратились, по примеру того как было сделано и в Москве, к духовнику Марьюшки, но от него они узнали, что она ничем никогда не хворала и никакой хворости в ней не замечал он.

Прошла еще неделя, Марьюшка от неведения и неизвестности готова была расхвораться, нервы ее были напряжены, она пугалась каждого шороха, громко сказанное слово выводило ее из себя, думы одна нерадостнее другой не давали ей покоя ни днем ни ночью.

«Знать, не судьба, – думалось ей, – вот и лекари смотрели, десять дней прошло, а все ни слуху ни духу, бояре-то слова не вымолвят, знать, и вправду думают, что непригодна

я царю. Ох, кабы он сам поглядел бы на меня да ласку мою увидел, не то бы было, полюбил бы он меня пуще прежнего, с почетом да с честью ввел бы снова меня на верх, а уж как бы любила я его за это, друга милого Мишеньку!»

При последнем слове покраснелась Марьюшка, ведь и лиходея ее боярина зовут тоже Мишенькой, только не она называет его так теперь, а какая-то чужая, пришлая, навязанная ему в жены.

И грустно и тяжело становится Марьюшке, тяжелее еще чем прежде, когда она находилась в опале, в ссылке, там, по крайности, никакой надежды не было, не о чем было мечтать, а тут вот подразнили только, поманили да ни с чем и оставили.

Сам Хлопов загрустил тоже, и у него явилось подозрение, что что-то неладно, что бояре недаром сидят, ничего не делая; заходил он к ним как-то, но добиться ничего не добился, те все как-то отмалчивались и вместо определенных ответов, которые могли бы успокоить Хлопова, вели неясные, сбивчивые речи.

Да и как было им говорить иначе, они сами не знали, чем кончится все это дело; теперь они наводили втихомолку справки, расспрашивали и стояли на стороне Марьюшки; понятно, и в Москву отписывали также, но как взглянут на дело в Москве, как повернут его, им было неизвестно, следовательно, что же определенное могли сказать они Хлопову.

Был sereneкий октябрьский день, тяжелыми массами на-

висли тучи, моросил мелкий, чуть заметный дождь, вдали ничего не было видно, густым туманом покрывался город. В покое было темно, несмотря на то что время было только около полудня, впору было зажигать свет, гнетущая тоска овладела Марьюшкой, сама не своя сидела она, и плакать-то ей хотелось и совестно как-то делалось – о чем плакать-то? Что мечты не сбываются, так против судьбы не пойдешь, спасибо, что вот она сидит теперь здесь в тепле да покое, не то что там, где и солнышко не так светит, где большую часть года глубокой снежной пеленой покрыта земля, где ей самой, бывшей царевне, приходилось с топором в руках отправляться в лес за хворостом да тащить в трескучие морозы целые связки этого хвороста на своей непривычной к тяжелой работе спине.

А теперь вон и руки стали похожими на прежние, а то совсем было загубели и потрескались, нередко и кровь выступала на них. О чем же плакать-то да горевать?

Марьюшка силилась улыбнуться, но явилась какая-то тяжелая, грустная улыбка. Она склонила голову и задумалась; в покое делалось темнее и темнее, все ниже и ниже склонялась головка Марьюшки.

В комнату вошла Петровна и, подойдя к девушке, обняла ее.

Марьюшка вздрогнула и быстро подняла голову.

– Ты что, Петровна, о чем плачешь? – тревожно спросила девушка, заметив катившиеся по лицу старухи слезы.

– Ох, дитяtko, возьмут, опять отнимут тебя у меня, – всхлипывала Петровна.

Марьюшка грустно улыбнулась и покачала головой.

– Небось, мамушка, не возьмут, никому не нужна я!

– Ох, возьмут, дитяtko, возьмут, уж пришли за тобой, лиходеи мои!

Марьюшка вскочила на ноги и мгновенно побледнела.

– Пришли... за мной?.. Кто пришел-то... кто?.. Да говори же, говори, Петровна.

– От царя... бояре за тобой!

У Марьюшки упали руки, она глубоко вздохнула, все пережитое, передуманное, пережитое за последние дни ушло далеко-далеко.

– Наконец-то, – прошептала она, проводя рукой по лбу, как бы желая прогнать с глаз навсегда все это недоброе прошлое.

– К нашим пошли, потом, говорят, сюда к тебе придут, – продолжала Петровна.

– Ко мне? – как-то бессознательно проговорила покрасневшая от волнения Марьюшка, начиная оправляться.

Екнуло тревожно сердце и у братьев Хлоповых, и у Желябужской после всех тревог и сомнений.

«Хотя бы так или иначе кончилось!» – было их единственной мыслью, единственным желанием.

Бояре вошли, приветливо поздоровались с хозяевами и уселись.

– Мы к вам пришли, боярыня, по приказу царскому! – обратился архимандрит к Желябужской. – Ведомо тебе, что по наветам и облыганию Салтыковых царевна была сослана с верха, царь теперь желает знать правду, была ли когда допрежь больна царевна?

– Я и тогда и теперь говорю, что нет, – отвечала Желябужская, – лгать мне нечего.

– Да лгать и не приходится; ты должна говорить как на исповеди, утаишь что, правды не скажешь, весь род погубишь, немилость царская нелегка, не всякий ее вынесет, а царь в случае неправды обещал не щадить вас.

– Бояр в случае обмана, царь прямо сказал, казнить смертию, – вмешался Шереметев, обращаясь к Хлоповым.

– Смерть не страшна, боярин, – отвечал Хлопов, – страшны гнев да немилость царская.

– Истину говоришь, боярин, поэтому по душе расскажите, ничего не тая, не вводите ни нас, ни царя в обман; обманете – и себя и царевну сгубите.

– Кто гибели себе хочет, а правда и без нас, чай, известна вам. Спросите всех добрых людей, они вам скажут. На глазах у всех росла Марьюшка, не прочили мы ее в царские невесты, никогда и в помыслах этого не держали, от добрых людей ее не таили, на глазах у всех росла, все ее видели, все знают, спросите их, что они скажут вам. А мы – крест готовы целовать – говорим только одну правду. Никогда не хворала она, девка была здоровая, кровь с молоком, а что во дворце

захворала, так, полагать надо, от сластей, дома-то она мало их ела, а во дворце ей вволю давали, ну и объелась, да и эта хворость прошла на другой же день, Марьюшка совсем здорова сделалась, а как брат, – Хлопов указал глазами на Глеба, – дал ей выпить зелья, что ему Михайло Салтыков подал, так и свернулась она, надо полагать, опоили, да и то, милость Божия, отошла, водой святой отпоили, с тех пор хоть бы какая хворость была у нее! Вот и тогда говорил это и теперь говорю, пусть государь прикажет казнить меня смертью, я и на плахе под топором скажу то же самое. А что по наветам да облыганию Салтыковых девку сгубили, так и это правда, накось, опозорили как, с верха как обманщицу бесчестную свели, ни за что опозорили да после дворцовского довольства в Сибирь угнали на холод да голод! – При последних словах голос Хлопова дрогнул, на глазах показались слезы, но он с досадой смахнул их.

Бояре сидели молча, в душе они были вполне согласны с Хлоповым, понятна им была и вся тяжесть положения Марьюшки.

– Нам бы нужно боярышню повидать, поговорить с нею, – заметил наконец Шереметев, прерывая молчание.

– Что ж, милости просим, может, ее сюда позвать? – спросил Хлопов.

– Нет, мы уж лучше к ней пройдем, нам ее одну нужно, – неловко сказал Шереметев.

– Как лучше, бояре, так и делайте, – отвечал Хлопов.

Те поднялись, Хлопов проводил их к Марьюшке и возвратился назад.

– Здравствуй, царевна! – приветствовали ее бояре.

Марьюшка, взволнованная таким торжественным приветом бояр, трепещущая, радостная, встретила их поклоном.

– Не царевна я, бояре, – промолвила она, – была ею прежде, когда на верху жила, а из Сибири царевны не приходят.

– Судьбы Божии неисповедимы, Настасья Ивановна, – заметил архимандрит.

– Бог милостив, царевна, будешь опять на верху, – заговорил Шереметев, – коли нам правды не утаишь и царя в обман не введешь.

– Я никогда не лгала, боярин, и не учили меня этому.

– Скажи, царевна, по совести, чем хворала ты, живши на верху.

Царевна улыбнулась, но вместе с тем этот вопрос обидел ее, она вспомнила старое.

– Чуден вопрос твой, боярин, ведь вам, чай, лучше известно, чем я хворала, когда сами судили меня за эту хворость, да еще в Сибирь услали; знать, хворость нехорошая была, – проговорила Марьюшка.

– Тебя оболгали нам тогда, да я и не про то спрашиваю. Что болело у тебя?

– Болело что? Да сначала ничего не болело, так, слабость какая-то была, тошнило меня, а как выпила я лекарство, так

живот схватило, больше ничего и не было.

– А допрежь этого никогда этой болезни не было?

– Ни прежде, ни после никогда не бывало, только один раз и приключилось это со мной.

– Не знаешь отчего?

– А бог его знает, одни говорят – от сластей; другие – что опоили меня зельем.

– А сама ты как думаешь?

– Сама?.. Никак не думаю.

– А если опоена зельем была, на кого думаешь?

– Да ни на кого, а если опоили, так мало ли недобрых людей на свете, знать, кому-нибудь нужно было опоить.

– Царь хочет взять тебя опять на верх, только, Настасья Ивановна, говори правду: если есть в тебе какая болезнь, не таи ее, лучше открой нам, а обманешь, тебе же хуже, хоть и царицей ты будешь, все равно царь любить тебя не станет, а великий патриарх запрещение церковное наложит на тебя, да и родня вся в опале будет.

– Не боюсь я ничего, я раз сказала уже, что говорю только правду и не лгу никогда! – отвечала твердо Марьюшка.

– Нам больше ничего и не нужно от тебя, обманешь – себя сгубишь, правду скажешь – будешь счастлива. Ну, Настасья Ивановна, прости, дай бог нам встретиться с тобой в Москве, у царя на верху.

– Спасибо вам, бояре, за доброе пожелание, – отвечала Марьюшка, – только где уж мне! Не для меня, знать, цар-

ский верх, побывала там раз, не удержалась, а опять попасть туда нечего и думать.

– Не говори этого, царевна, недругам твоим несдобровать, а приехали мы сюда, чтобы и ты вслед за нами отправилась на царский верх, уж больно ты любя царю.

Бояре откланялись, а Марьюшка, пылающая, вся в огне, прислонилась своим жарким лбом к холодному стеклу и закрыла глаза. Сердце ее сильно-сильно билось.

– Люба царю, любя, – шептала она, – да неужто же он, кроме меня, не мог найти, неужто свет клином сошелся? И впрямь, знать, хороша я, ох как, должно быть, хороша!

Глава XI

Со дня отъезда бояр с архимандритом в Нижний царь, подобно Марьюшке, не находил ни минуты покоя. Что-то узнает он, что отпишут ему из Нижнего? Положим, как он, так и патриарх вполне были убеждены в интриге, благодаря которой была сослана царевна, положим, и до посылки бояр между отцом и сыном было порешено возвратить царевну и жениться на ней царю; если же и назначено было формальное следствие, то только для того, чтобы торжественно снять клевету с царевны, чтобы все знали, что будущая царица по праву и с честью носит свое звание. Но, отославши бояр, после твердого решения жениться на Марьюшке, царь все-таки сильно беспокоился. Что, если и вправду боярам удастся открыть что-нибудь, изобличающее царевну, тогда волей-неволей придется расстаться с мыслью вновь ввести к себе Марьюшку.

Велика была радость царя, когда было получено уведомление об осмотре царевны докторами, которые подтвердили свое прежнее показание относительно здоровья Марьюшки. Еще сильнее и сильнее рос гнев царя на Салтыкова.

Но после первого уведомления все замолкло, царь не мог понять причины боярского молчания, каждый день, просыпаясь, первой его мыслью была Марьюшка, душою переносился он в Нижний. Тяжело тянулись для него дни. Наконец

ему доложили о приезде чудовского архимандрита. Не получая никакой вести так долго, понятно, на него сильно подействовало известие о прибытии одного из посланных в Нижний. Что-то привез он, с какими вестями приехал.

Нетерпеливо ждал Михайло Феодорович его прихода, наконец ему доложили, что архимандрит во дворце. Поспешно вышел к нему царь. Архимандрит с низким поклоном вручил ему донесение бояр.

– Ну что? Как съездил? Благополучно ли все... там? – с тайной тревогой спросил царь.

– Все в добром здоровье, все благополучно, государь, – отвечал архимандрит.

– Ну а как там?.. – продолжал спрашивать царь, ему хотелось узнать, как нашли Марьюшку, но имя ее он почему-то боялся произнести.

– Тут в донесении все прописано, государь!

Царь взломал сургуч и начал читать донесение. Сначала описывался ход того, как производилось следствие, что выяснилось, несомненно было только то, что Марья Хлопова во всем здорова. Что же касается речей самой царевны, то она показала, что «как она была у отца и у бабки, у нее болезни никакой не бывало; да и на государеве дворе будучи, была здорова шесть недель, и после того появилась болезнь, рвало и ломало нутрь, и была та болезнь у нее дважды, а после того давали ей пить святую воду, с мощей, и оттого исцелела она вскоре; и с тех пор та болезнь у ней не возвращалась и

ныне во всем здорова». Затем следовали речи отца Марьюшки, который объяснил, что дочь его заболела на государеве дворе, и, как болезнь учинилась, того он не ведает, и все то от Михайлы да Бориса Салтыковых, меж себя они шептали. Далее следовало снова заключение врачей, которые заявили, что Марья Хлопова во всем здорова и чадородию «помешки в ней не чают, перед прежним она здорова».

Легко вздохнулось царю по прочтении донесения. Архимандрит на словах подтвердил то же самое, что было сказано и в донесении. Царь осыпал его вопросами, он входил в мельчайшие подробности о состоянии Марьюшки.

В это время ему доложили о приезде патриарха; царь отпустил архимандрита и поспешил с донесением в руках к отцу.

– Батюшка! Все, что ты говорил, правда, я слеп был, когда вверился Салтыковым, они обошли, обманули меня, – проговорил царь, подходя к патриарху под благословение.

– Ты о чем это толкуешь-то? – спросил патриарх. Царь вместо ответа подал ему боярское донесение.

Филарет быстро начал читать бумагу; по мере того как читал он, лицо его делалось суровее, брови сдвигались все больше и больше.

– Что же теперь ты думаешь делать? – спросил патриарх, прочитав донесение.

– Что же, батюшка, сам видишь, Настя не виновата, ее оболгали, теперь потому надо с почетом воротить ее на ста-

рое место, а там и свадьбу сыграть.

– Это само собой, а как с матерью сладишь? – не без улыбки спросил Филарет.

Царь вздрогнул, он как будто забыл про это обстоятельство.

– Батюшка! При тебе, может быть, она ласковее будет, – взмолился он.

– Эх ты, голова, голова, все бы тебе на веревочке ходить; что же ты станешь без меня-то делать, когда меня не станет?

Царь потупился; он не знал, что сказать.

– Ну да ладно, с бабой-то как-нибудь справимся, уходится, будет по-нашему, а вот насчет этих советчиков как, что с ними сделаешь?

– Какие, батюшка, советчики?

– Какие, какие?! Твои приятели Салтыковы.

– Уж я не знаю, что и делать с этими злодеями.

– Что делать? Иван Васильевич знал бы, что делать, головы бы с них поснимал.

Царь испугался, хотелось ему жестоко отплатить Салтыковым за их козни, но мстить кровью было не в его правилах, не в его характере. Патриарх заметил его бледность.

– Испугался, жаль стало? – промолвил он. – А им не жаль было царевну опаивать да в Сибирь ссылать, подвергать двойной смерти: и от отравы могла умереть, да и от жизни сладкой сибирской.

– Батюшка! – взмолился царь.

В нем мешались и гнев и жалость, он не знал, на что решиться, к чему прибегнуть, никогда еще в жизни не приходилось ему сказать самостоятельного, решительного слова, а тут ведь шел вопрос о жизни и смерти любимых когда-то бояр, первых его советчиков, людей, стоявших в государстве чуть не наравне с ним.

В нем происходила жестокая борьба – это ярко выражалось на его лице. Патриарх исподлобья глядел на него.

– То-то, царь! – заговорил он. – Я сказал только, чего заслуживают они, а там... как знаешь, так и делай, в твоей воле и власти, хоть снова приблизь их к себе, пусть опять опоят твою Настю, с них это станется, раз не удалось, зато в другой уж не увернуться ей.

– Батюшка, какое знаешь наказание назначь им: опалу, ссылку в ту же Сибирь, на край света, куда хочешь, – молил царь, – только не смерть, страшна кровь, батюшка, страшна, а ведь это родная кровь, не могу я! – чуть не со стоном проговорил царь.

– Да разве я смерти их требую, – отвечал патриарх, – я только говорю тебе, что коли ты задумал жениться, так не место им быть здесь в Москве при тебе, в отместку зла наделают.

– Услать их, батюшка, подальше услать, чтобы и вести об них не было никакой, чтоб и память о них умерла.

– Говорю, все в твоей власти, услать хочешь – ушли, твое дело, чтобы их здесь не было.

– Не будет, батюшка, я сам их не могу видеть.

Глава XII

Неделю спустя после приезда из Нижнего архимандрита по приказу царскому в Посольской палате собрался думский собор для суждения о воровских делах Салтыковых и о том, какому наказанию подлежат они за эти дела. Положим, наказание было уже назначено царем и была подготовлена грамота, но формальность должна была быть соблюдена.

Та же палата, те же лица, которые судили и рядили царскую невесту, собрались опять, для того чтобы произнести приговор, совершенно противоположный первому, произнести приговор над теми самыми личностями, в угоду которым они прежде покривили душой и приговорили Хлопову к изгнанию.

Все было то же, только настроение бояр было совершенно иное. Тогда они чувствовали себя свободнее, теперь же они понимали, что над ними тяготеет сильная, крепкая власть, понимали они также и то, что настоящий собор чуть ли не служит им наказанием за прошлый грех. Неловко чувствовалось им теперь при воспоминании о том, как опрометчиво, не разобрав дела, порешили дело царевны. Понимали они и то, что, обсуждая дело Салтыковых и произнося над ними приговор, они произносили его вместе с тем и над собой; открыто, публично выставляли себя на смех. Конечно, всякому было не по себе, каждый из присутствующих радехонек был

бы уйти, чтобы не присутствовать при собственном осмеянии.

В палату вошли царь с патриархом и сели, вслед за ними все заняли свои места, только Салтыковы, как подсудимые, остались стоять.

Наступило тягостное молчание...

Борис Салтыков искоса злобно поводил глазами; руки его были сжаты; видимо, немало усилий стоило ему сдерживать себя, тяжело ему было глядеть на этих судей, так недавно еще пресмыкавшихся перед ним. Михайло, напротив, бледный, с крепко стиснутыми зубами, стоял, опустив голову; ему не хотелось глядеть на свет Божий.

Архимандрит по приказу патриарха прочел сначала привезенное им боярское донесение, потом рассказал, что они нашли в Нижнем, указал прямо на Салтыковых как на главных виновников, оповестил, как Михайло передал Хлопову под видом лекарства зелье, которым и была опоена царевна.

По мере того как говорил архимандрит, Михайло все ниже и ниже склонял голову; правда давила его, спроси его теперь, и он бы покаялся во всем откровенно, ничего не скрывая, никого не щадя, но его не спрашивали, и он молчал, и только ниже и ниже опускалась его голова.

Царю тоже было, по-видимому, тяжело, легкая бледность покрывала его лицо, глаза то глядели вниз, то бегали по сторонам, он избегал смотреть на Салтыковых, ему самому неприятно было видеть их в таком положении.

Архимандрит закончил свою речь, и опять никто не промолвил слова, все молчали.

– Прочти! – обратился патриарх к дьяку Грамматину.

Тот взял грамоту и встал.

– «Борис да Михайло Салтыковы! – начал чтение дьяк.

– Государь царь и великий князь Михайло Феодорович всея Руси и отец его, святейший патриарх Филарет Московский и всея Руси велели вам сказать измену вашу. Ведомо всем людям государства Московского, какая вам была государская милость и жалованья и учинены есть по государской милости в чести и приближении не по вашему достоинству, паче всех братии своей, и поместья и вотчинами пожалованы многими, чего ни за кем нет; и в прошлом во 124 году взята была к государю на двор, для сочетания государского законного брака, Марья Иванова, дочь Хлопова, и жила на верху некоторое время, и нарекли ее царицею, и молитвы наречению ее были, и чины у ней были по государскому чину, и дворовые люди крест ей целовали и на Москве и во всех епископиях Бога за нее молили, а отец ее и родство Хлоповы и Желябужские были при государе близко. И вы, побраняся с Гаврилом Хлоповым с товарищи, для своей недружбы любить их всех не начали для того, чтоб вам одним быти при государе, и вашею смутою начала быти Марья Хлопова больна; и ты, Михайло, сказал государю, что сказывал тебе лекарь Балсырь, что будто Марья больна великою болезнию и излечить ее не можно... и ты то солгал для своей недруж-

бы, того тебе лекарь не говаривал и лечить Марью Хлопову дохтуры хотели... И ты, Михайло, государю сказывал не то, что тебе дохтуры говорили, и лечити Марью не велел, и с верха она сослана не по правде, по вашему, Борисову и Михайлову, наносу без праведного сыску, и письма тому, как то делалось, нет ничего; и государевой радости и женитьбе учинили посмешку. И то все делали изменою, забыв государево крестное целование и государскую великую милость. А государская милость была к вам и к вашей матери не по вашей мере, и пожалованы были честью и приближеньем паче всех братья своей и вы-то все поставили ни во что и ходили не за государевым здоровьем, только и делали, что лишь себя богатели, и дома свои и племя свое полнили, и землю крали, и по всяких делах делали неправду, и промышляли тем, чтоб вам при государской милости, кроме себя, никого не видети, а доброхотства и службы к государю не показали. А как нынче сыскивали и спрашивали и смотрели Марьино здоровье и болезни и по сыску и по дохтурскому рассмотру, Марья Иванова, дочь Хлопова, здорова во всем, и болезни в ней нет, наперед сего в ней болезни большой не бывало, и за то ваше воровство годни были есте казни. И государь царь и великий князь Михаил Феодорович всея Руси и отец его, святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея Руси, большого наказания учинити над вами не велели, а велели вас послать по деревням с приставы и с женами вашими, а мать вашу велели послать в Суздаль, в Покровский мо-

настырь, а при государе вам быти и государевых очей видеть непригоже, а поместья ваши и вотчины велел государь отписать и взять на себя, государя!»

Грамматин закончил и сел.

Ни слова не вымолвили подсудимые по прочтении приговора, только Михайло пристально уставился глазами на царя; он словно хотел своим взглядом проникнуть ему в душу и прочесть, что там творится в ней.

Царь, казалось, почувствовал на себе этот взгляд; он быстро, порывисто поднялся и вместе с патриархом направился к двери.

– Государь! – начал было Михайло, когда царь поравнялся с ним. Но тот, отвернувшись, прошел мимо.

Бог весть что хотел сказать боярин: хотел ли он принести повинную и чистосердечно раскаяться во всем, рассказать все то, до чего и не довелись еще, или хотелось ему вымолить себе пощаду; опущенные вниз глаза не выдали его тайны.

– Нишкни! – со злостью проговорил Борис, услышав слова брата и хватая его за руку. – Ненадолго мы уйдем отсюда, скоро воротимся и уж отплатим своим врагам!

Царь с отцом вошли в свои покои.

– Ну, Михайло, – весело заговорил патриарх, – теперь дело покончено, шли скорей гонца в Нижний, вези свою любушку, да назло лиходеям с колокольным звоном, с торжеством веди ее к себе на верх в ее золоченую клеточку.

Царь не выдержал, бросился на шею к отцу и зарыдал.

– Завтра же... завтра же, родимый, пошлю! – воскликнул

он.

Глава XIII

Приговор царской Думы, вопреки обыкновению, приведен был в исполнение быстро. На другой же день рано утром из ворот домов Салтыковых выехали подводы с кладями и самими боярами под охраной стрельцов, чтобы увезти всемогущих еще недавно правителей и самых приближенных к царю лиц на самые северные окраины России.

Спокойно, тихо совершился боярский выезд из Москвы.

Ни слова не промолвили они, когда ночью перед рассветом явились к ним дьяки и объявили о царском приказе немедленно выехать. Быстры их были сборы, ни слова ропота или жалобы не пришлось никому услышать от них, только глаза выдавали затаенную злобу.

В самый угол кибиток забились они, когда повезли их по московским улицам; стыдно было им встретиться взглядом с последним москвичом; кто не знал их в Москве?

Гораздо легче вздохнулось им, когда они оставили за собою Москву, и как красива, как хороша показалась она им при первых утренних лучах солнца, когда они оглянулись назад, чтобы бросить последний прощальный взгляд на нее.

Не то было в Вознесенском монастыре.

Евникия спала спокойно, ничего не подозревая. Она ничего еще не знала о приказе царском. Накануне почему-то ей было так легко, она была спокойна, мысли, ее тревожив-

шие, как будто ушли, оставили ее в покое. Знала она, правда, о последних тревогах, назначении следствия, призыве сына к царю и его очной ставке с Балсырем. Сильно подействовали на нее все эти новости, сильно состарили ее в последние дни, но вчера она как-то совершенно успокоилась, перестала придавать какое бы то ни было значение последним передрыгам; она почему-то особенно уверовала в силу и значение при дворе великой старицы, и как скоро явилась у нее эта уверенность, она успокоилась, твердо веруя в то, что великая старица вступится за ее род... Давно уже она не спала так спокойно, как нынче; дыхание ее было ровное, тихое.

Раздался удар колокола, звонили к заутрене; Евникия на мгновение открыла глаза, вздохнула и заснула снова.

Не прошло получаса после первого удара, как в дверь домика, занимаемого Евникией, послышался стук. Феодосия вскочила и бросилась спросонья в одной сорочке к двери.

– Кто там? – спросила она со страхом.

Никто и никогда не осмеливался так рано стучаться к Евникии.

– Отоприте! – послышался мужской голос.

– Да кто такой будешь? – повторила вопрос девушка.

– Дьяк из приказа! – раздался ответ.

– Нельзя отпереть, матушка спит еще.

– Разбуди, я по царскому приказу пришел.

– погоди, матушку спрошу.

Евникия сквозь сон слышала голоса, она проснулась толь-

ко в то время, когда к ней в опочивальню вбежала перепуганная Феодосия.

– Ты что, разве я звала тебя? – рассердившись, спросила Евникия.

– Матушка, дьяк приказный пришел, по царскому, говорит, приказу.

– Скажи, что сплю, какие ночью царские приказы!

– Я говорила уж ему, разбудить тебя велел.

– Скажи, что не встану, коли нужно что, завтра бы днем пришел! – проговорила, поворачиваясь к стене, Евникия.

Феодосия снова отправилась для переговоров.

– Приходи завтра, – обратилась она к дьяку, – днем матушка приказала прийти, а теперь не встанет.

– Встанет, коли поднимут, скажи ей, коли не отопрет, все равно силком войдем, дверь ломаем, так приказано, дожидаться не станем.

Феодосия снова отправилась к Евникии.

– Матушка, говорят, дверь выломают, вишь, им так приказано.

«Господи! Не лихо ли какое, не беда ли?» – пронеслось у Евникии в голове.

– Не отпирай, – вдруг решила она, – ломать не посмеют, а сама ложись спать.

Феодосия снова завалилась в постель, но не прошло и пяти минут, как опять послышался стук, но гораздо сильнее прежнего.

– Отоприте же, не то сломаем! – кричали со двора.

– Не велела матушка, и ломать не смеее! – огрызнулась

Феодосия.

Кто-то налег на дверь, та затрещала.

Испуганная Евникия вскочила с постели и быстро начала одеваться.

– Феодосия, Феодосия! – закричала она.

Та вскочила и прибежала на зов.

– Да оденься ты, что ты нагишом-то летаешь! – зашумела на нее Евникия.

– Сейчас, матушка!

– Да погоди, скажи этим разбойникам, что отопрем, только оденемся.

– Слушаю, матушка! – проговорила Феодосия, выскакивая из комнаты.

Дверь между тем трещала под напором снаружи.

– Сейчас, сейчас отопру, погодите! – кричала им Феодосия. Через несколько минут она отперла дверь, в покой вошли дьяк и два стрельца; перед глазами Феодосии у крыльца мелькнула закрытая кибитка, окруженная ничего не понимающими сестрами. Феодосия при виде всего этого сильно перепугалась; она незаметно проскользнула за дверь и бросилась прямо к великой старице.

Сурово встретила Евникия дьяка.

– Царь и святейший патриарх приказали тебя немедля взять и свезти в Суздаль в Покровский монастырь, – по-

спешно проговорил дьяк, не давая сказать слова Евникии, – потому ты одевайся, сейчас же и поедем, подвода готова, тут стоит.

Евникия задрожала. Она никак не ожидала, что так неожиданно-негаданно грянет над ней гром.

– Я... не поеду... не хочу! – как-то безотчетно произнесла она.

– Как же ты ослушаешься царского приказа?

– Не поеду, не поеду, не поеду! – твердила побледневшая Евникия, тихо опускаясь в кресло; силы изменили ей, и она не могла стоять на ногах.

– Матушка, – почтительно проговорил дьяк, – коли волей не поедешь, нам приказано силой увезти тебя, сама знаешь, что я не волен ослушаться царского приказа.

В ответ Евникия покачала головой.

Дьяк стоял и ждал.

– Что же, матушка, время не ждет, одевайся, – заговорил он снова немного спустя.

– Одеваться мне нечего, я и так одета, а все-таки я не поеду.

– Что ж с тобой поделаешь, коли одета, тем лучше, – сказал дьяк. – Эй, братцы, – обратился он к стоящим в прихожей стрельцам, – проводите матушку к повозке.

Вошли стрельцы и направились к Евникии; та в испуге отмахивалась только руками. Стрельцы приподняли ее под руки.

– Стойте! – вдруг раздался голос.

Дьяк обернулся назад, в дверях стояла великая старица, она была бледна, глаза ее гневно сверкали.

– Стойте, что вы здесь делаете? – сурово спросила великая старица.

– Государыня, – обратился к ней с поклоном дьяк, – не обессудь, так приказали царь с патриархом.

– Царь с патриархом? А я приказываю сейчас же оставить ее и убраться вам самим отсюда.

– Воля твоя, государыня, не волен я так сделать.

– Да кто же я-то тебе, что ты смеешь еще разговаривать со мной? Уходи сейчас же!

– Уйду, великая государыня, сейчас уйду, только вместе с матушкой.

Дьяк мигнул стрельцам, те двинулись вперед.

– Стойте, стойте, не смейте ее уводить, я приказываю, слышите ли, я приказываю! – кричала Марфа.

Но в ответ ей дьяк отвесил только низкий поклон; стрельцы усадили Евникию в кибитку, дьяк вскочил туда же вслед за ней, и кибитка быстро выехала за монастырские ворота.

Марфа из-за такого явного неповиновения со стороны дьяка пришла в ярость. Она не могла понять, объяснить себе того, что произошло сейчас у нее перед глазами. Разве она более не государыня, слову которой все беспрекословно повиновались, желание которой предугадывалось, а теперь что же это, кто же возымел смелость отнимать у нее из рук

власть? Не оперился ли сын и почувствовал себя настолько крепким и сильным, что сам без ее участия стал правителем? Или все дело в ее бывшем муже Филарете? Это вернее. И если это так, то тогда действительно борьба немислима, она сознавала хорошо, что у нее не хватит сил на борьбу с патриархом.

В злобе бросилась она в кресло, и слезы бессильной ярости градом брызнули у нее из глаз.

– Так нет же, нет, пусть что хотят делают, а по-ихнему не будет! – решительно проговорила она, поднимаясь и направляясь к выходу.

Через час к царскому дворцу подъехала карета; из нее вышла Марфа.

Царь между тем, радостный, веселый, сияющий, вместе с патриархом писали грамоту о возвращении царевны в Москву; один гонец полетел уже в Нижний с подарками царевне; теперь оставалось только вызвать ее и приготовиться к ее приезду.

– За полтора дня гонец туда доберется, – говорил царь, – ну дня два промешкается, два дня на дорогу, уже самое большее через неделю будет здесь...

– А ты не загадывай, не спеши, раньше ли, позже ли приедет, все равно приедет, дело уж сделано.

– Батюшка, виноват я перед ней, вину-то поскорей хочется искупить, вырвать ее из тюрьмы.

– Бог милостив, вырвется, наживетесь еще.

Дверь отворилась, в нее вошла Марфа.

Отец и сын смутились от такого неожиданного посещения. Царь встал и пошел навстречу матери, патриарх остался на месте в ожидании, что произойдет дальше.

Царь подошел к матери, но та движением руки остановила его.

– Не подходи, – проговорила она, – не подходи, пока не дашь ответа мне в своих беззакониях!

При этих словах патриарх вскочил и сделал несколько шагов вперед; царь смутился.

– Ты, мать, лучше бы знала свою келью и не мешалась в дела мирские! – заговорил Филарет; его голос немного дрожал.

Марфа исподлобья взглянула на патриарха.

– Если бы я следовала твоему примеру, святейший патриарх, то тогда твоя правда, я бы мешалась в дела мирские, но я пришла по своим монастырским делам.

– О каких же ты, простая монахиня, беззакониях осмеливаешься говорить царю?

– Я пришла говорить с царем, а не с тобой, владыко, ему все поведаю; а какие беззакония, если есть охота, прислушай, узнаешь.

Патриарх замолчал.

– Давно ли, государь, – последнее слово не без иронии произнесла Марфа, – давно ли, государь, по царскому приказу стрельцы стали по ночам врывать в монастыри и уво-

зить из них инокинь? Кто дал тебе на это право? Царствуй, владей всем, но монастырь – обитель Божия, она неподвластна тебе, там твоей власти нет. За что нынче увезли мать Евникию?

Царь взглянул на отца.

– Молчи, Михайло, – заметил тот. – Царская власть, – обратился патриарх к Марфе, – как для мирян, так и для вас, черноризок, одинакова, одинаково волен царь изводить и карать крамолу, где бы ни завелась она. Поняла? А за что Евникию увезли, так знай, что твоя Евникия не монахиня была, а крамольница-ворожилка; пусть Бога благодарит, что увезли целой, а то ей следовало бы на плахе голову сложить! Она только зелье варила да людей травила им.

Марфа встрепенулась.

– Лжешь! – закричала она.

Патриарх не выдержал; он двинулся к монахине.

Царь бросился между ними.

– Батюшка!.. Матушка! – взмолился он.

– Ты мне... патриарху! – кричал Филарет. – Иль плетку забыла, которой я тебя постегивал!

– Было, да прошло! – со злобой проговорила Марфа. – А будь ты не то что патриарх, а кем хочешь, правду все-таки скажу!

– Правду? А не она со своими выводками опоила зельем царевну Настасью Ивановну?

– Чай, за это и увезли?

– За это! Да не ее одну, и сынков ее угнали, коли тебе хочется знать.

– Так вот оно что?! Теперь я понимаю, откуда сыр-бор загорелся. Значит, первостатейных бояр угнали из-за этой ненавистной девки Машки Хлоповой.

– Опомнись, Марфа, она не девка Машка Хлопова, а бо-годанная царевна Настасья Ивановна!

– Вот как, уж не задумали ли вы ее опять на царский верх взять.

– А если бы и так, у тебя, что ли, не спросились? Так будет, помудрила довольно, намутила немало со своими чернохвостыми монахинями, сына чуть не сделала несчастным.

– То-то ты вот сделаешь его счастливым, женив на порче-ной девке.

– Молчи, Марфа!

– Хорошо, я замолчу, только вот перед образом клятву на себя кладу: в тот день, когда она въедет в Москву, я выеду из нее, уеду в Литву, в Польшу, но при мне она на Руси царицей не будет. Вот вам мое последнее слово! – проговорила великая старица, уходя.

Долго молчали царь и патриарх.

– Что ж теперь делать, батюшка? – бледный, трепещущий, спросил сын.

– Что делать, Михайло, волей-неволей придется отказаться от Насти. Если она уедет, тогда на всю Русь соблазн пойдет, а царь должен служить примером для всех, не Гришкой

же Отрепьевым быть тебе!

Царь схватился только за голову.

Патриарх поглядел на сына, с грустью покачал головой и тихо, неслышно вышел из покоя.

Глава XIV

Прошло девять дней после последнего посещения боярами Марьюшки. После потерянного счастья, испытав горе, нужду, несчастье, перетерпев невыносимые душевные муки, прочувствовав всю горечь незаслуженной обиды, теперь при одной мысли о возвращении прошлого счастья, о котором она не смела даже и думать, ей делалось так легко, свободно на душе, так сладко дышалось, так хорошо жилось.

Шереметев сказал, что нужно ждать гонца царского, этого вестника свободы, вестника счастья... Марьюшку не тревожили более сомнения, беспокойные мысли о несбыточных надеждах; она, услышав боярские речи, была совершенно успокоена, знала, что ее ждет, знала, что в самом скором времени приедут за ней гонцы царские, повезут ее к царю...

И как хорошо жилось Марьюшке все эти дни! Как ей было весело, как она была счастлива!

На десятый день еле успела Марьюшка подняться с постели, едва успела одеться, как встающая с пением петухов Петровна вошла к ней.

Марьюшка, привыкшая просыпаться благодаря только Петровне, была немало удивлена ее отсутствием и при появлении ее не без удивления посмотрела на мамушку.

– Петровна, где ты пропадала, отчего не разбудила меня? – обратилась к ней, улыбаясь, Марьюшка.

– Не разбудила? Чего мне будить, коли с постели тебя поднимать стали приходиться бояре? – ворчливо проговорила Петровна.

– Какие бояре, что ты, мамушка, бредишь? – вспыхнула вдруг Марьюшка.

– Известно какие, послы царские, – продолжала брюзжать Петровна.

– Послы?.. Да разве?.. – начала было Марьюшка.

– Чего разве? Вон пришел боярин; тебя, говорит, хочет видеть.

– Меня? Боярин? Зачем?

«Зачем?» А между тем сердце-то подсказывало Марьюшке, зачем явился боярин. Знала она, что несет он ей радостную весть... Голова закружилась у нее, лицо побледнело.

– Матушка, голубушка, Марьюшка! – всполошилась Петровна. – Что с тобой, дитяtko мое родимое, чего испугалась, чего переполошилась?

– Ничего, мамушка, ничего, голубушка! – говорила Марьюшка, потирая ладонью лоб. – Нечего пугаться мне, от радости, от счастья сердце зашло, замерло! – прибавила она.

– Чему, дитяtko, радоваться-то тебе? – с укоризною произнесла Петровна. – Чему радоваться-то, несчастью, что ль? Раз попробовала – будет, аль желательно тебе, чтоб уморили тебя?

Марьюшка не могла удержаться от улыбки.

– Некому изводить-то меня, Петровна! – проговорила она.

– Ох ты, глупая, ох, неразумная, ничего ты не знаешь, ничего не ведаешь, не разумеешь ты козней людских, не на земле бы жить тебе, а в райских селениях, – с грустью произнесла Петровна.

Марьюшка обняла ее и поцеловала.

– Совсем бы меня в Царство Небесное? – проговорила она, улыбаясь.

– Известно, дитяtko, – подтвердила Петровна.

– Заболталась моя старая! – засмеялась Марьюшка. – А что же ты мне про бояр толковала? – спросила она.

– Ах, батюшки, ах, родимые, и впрямь заболталась я, старая дура, ведь батюшка-то твой послал меня поглядеть на тебя, встала ли ты? А я вот заболталась с тобой и позабыла все! Ах, победная моя головушка, я тут лясы точу, а там послы царские дожидаются, поди ж ты, разговаривай тут со старой дурой! – встревожилась старуха.

Марьюшка не выдержала и расхохоталась. Ей было так весело, так хорошо в эту минуту! Услышав ее смех, Петровна обиделась.

– Ты чего ж это! Иль обрадовалась послам царским, рада, что со мной, старухой, скоро распрощаешься! – захныкала мамушка.

– Ах ты, моя старая, старая! – промолвила весело Марьюшка. – Чего же ты разобиделась?

– Чего, чего? Чему смеешься-то? – обидчиво проговорила Петровна.

– Да как же не смеяться-то? Пришла, заговорила о боярах, о послах царских, потом заболталась и забыла про них, меня нынче не будила; что с тобой подеялось, никак не пойму я, – произнесла Марьюшка.

– И впрямь, бог знает, что делаю, – улыбнулась Петровна, – ведь меня послали узнать, можно ль войти к тебе?

– Да кому войти-то? – нетерпеливо спросила Марьюшка.

– Кому? Известно кому, боярину!

– Да какому боярину-то?

– Самому настаршему, что от царя присланы!

– Шереметеву, что ль?

– А я откуда буду знать, как его кличут, боярин и есть боярин.

– Так чего же ты торчишь-то здесь, что ж не скажешь, что я встала, что одета! – с сердцем проговорила Марьюшка.

– Эка важность какая! Расходилась-то как! Пойду, пойду, матушка, доложу сейчас, что к царевне, мол, доступ вхож, изволит, дескать, гневаться, что долго не изволили жаловать к ней! – ворчливо произнесла Петровна, поворачиваясь и выходя из покоя.

Вскоре послышались шаги на лестнице, к Марьюшке вошли отец, дядя, Шереметев.

– Ну вот, Настасья Ивановна, знать, в добрый час я приветствовал тебя царевной, – начал Шереметев.

– Как так? – спросила Марьюшка.

– Да так, послали мы царю донесение, а оно, знать, по ду-

ше пришлось ему, прислал гонца, жалует тебе триста рублей и запасы хлебные и медвяные, чтоб тебе ни в чем скудости пока не было. Теперь можешь и в путь собираться, того и гляди, жди другого гонца.

Марьюшка ни слова не отвечала, она потупилась и смущенно перебирала пальцами свое платье.

Глава XV

Прошло еще несколько дней, Марьюшка, слушая совета боярского, поспешно собиралась в дорогу; эти дни пролетели для нее незаметно.

Снова появился в доме Хлоповых Шереметев, но не веселый, как в прошлый раз: лицо его было угрюмо, глаза смотрели вниз; словно неловко, совестно было ему глядеть на Марьюшку.

Царевна, узнав о приходе Шереметева, застыла на месте.

«Вот конец, конец теперь всему, долой отсюда, из этой тюрьмы, на волюшку, на свободушку», – думалось ей.

Она с нетерпением ожидала встречи с боярином, но чем-то холодным, суровым пахнуло от этой встречи, что-то тяжелое словно налегло на сердце Марьюшки при виде угрюмого лица Шереметева. Бледность мгновенно покрыла ее лицо, предчувствие чего-то недоброго закралось в душу, она замерла.

– Великий государь Михаил Феодорович, – начал чуть слышно Шереметев, – приказал сказать, что Марью Хлопову за себя взять не изволит.

Раздался слабый стон, Марьюшка взмахнула руками, словно стараясь ухватиться за что-либо, и как подстреленная грохнула на землю. Никто не двинулся на помощь девушке, все застыли на месте.

– И приказал, – продолжал боярин, будто не замечая, что она не слышит его, – тебе, Марье, с бабкою и дядею жить по-прежнему в Нижнем; корм даваться тебе будет вдвое; а Ивану Хлопову указал государь ехать в свою вотчину в Коломну, – закончил боярин и, вздохнув глубоко, словно свалив с себя тяжесть, вышел.

Не скоро пришла в себя Марьюшка, немало хлопот выпало на долю опомнившихся и пришедших в себя родных, чтобы привести в чувство вновь жестоко обиженную девушку.

Тяжело было ее пробуждение, дико повела она вокруг себя глазами, поглядела на грустные, мрачные лица окружавших ее родных и снова закрыла их.

Боль, жгучая, невыносимая боль давила, мучила ее.

Оскорбление было слишком сильно, за что – она не могла понять, знала только, что не царь был виною этому; но кому она мешала, у кого стояла на дороге?

Невесело потянулись дни за днями, ни слова не произнесла Марьюшка, глаза ее потускнели, исчез румянец, желтизна явилась на лице, она заметно хирела.

Не прошло и года, как по Нижнему раздался не в урочный час гул колоколов. Марьюшка услышала этот торжественный звон; с испугом вскочила она на ноги, последняя краска сбегала с ее лица.

– Петровна, Петровна! Мамушка! – в ужасе закричала девушка.

На ее крик вбежала Петровна.

– Что это звонят, зачем звонят так страшно, так громко? – в страхе шептала Марьюшка.

– Господь с тобой, дитяtko, что ты, чего испугалась? – всполошилась Петровна.

– Звонят, зачем звонят? – продолжала Марьюшка.

– Да господь с ними, пускай их звонят, может, владыко приказал, – проговорила старуха.

– Узнай... родимая... узнай! – молила плачущая девушка.

– Светы мои, что с ней попритчилось! – крестясь, пробормотала старуха.

– О Господи, Господи! – рыдала Марьюшка.

А гул все сильнее и сильнее раздавался по городу, колебал воздух и разносил далеко-далеко по сторонам весть о каком-то радостном событии. Марьюшка словно почувствовала, что этот звон тесно связан с ее судьбой; ей казалось, что это похоронный звон по ней, ее смертный приговор. С ужасом прислушивалась она к нему, закрывала уши, но колокола гудели и гудели и пытали и мучили Марьюшку.

– Царь женился, потому и звонят, празднуют! – с сердцем проговорила возвратившаяся Петровна.

При этой вести Марьюшка подняла голову, глаза ее блеснули, и из них ручьями брызнули слезы.

Поняла она теперь, отчего испугалось, отчего замерло у нее сердце при первом же ударе колокола; поняла она, что это действительно был ее похоронный звон. Поняла и примирилась, подчинилась своей незавидной доле.

В Москве между тем скромно, без обычного торжества праздновалась царская свадьба. Царь неохотно, против своей воли, благодаря только упорным настояниям своей матери, согласился на женитьбу на Марье Долгорукой.

Все обряды кончены, молодых отвели в опочивальню. Царица вспыхнула, яркий румянец загорелся у нее на щеках. Оставшись первый раз в жизни с женщиной, она не знала, куда глядеть, на глазах навернулись слезы, смущенная, она стояла перед царем, и было ей страшно и жутко, стыдно и вместе с тем так сладко, так хорошо.

Стыдливо, слегка улыбаясь, взглядывала она на царя, и сколько ласки, неги было в этом взгляде! А царь между тем был холоден, не по душе ему была молодая, красивая жена. Перед глазами его стояла другая Марьюшка, которая далеко теперь от него, которая страдает, мучится и к которой так рвется царская душа...

Прошла ночь... Страшный крик разбудил царя. Он быстро вскочил с постели, перед ним в корчах билась его молодая жена.

– Порченная! – с ужасом закричал царь.

Прошло еще восемь лет; немало произошло перемен за это время, состариться успели многие, пробился не один седой волос и у Марьюшки, прорезались преждевременные морщинки на ее когда-то полном, хорошеньком личике. Успела она за это время намолиться и отслужить панихиду

по своей невольной сопернице, первой царской жене; пришлось еще раз услышать торжественный звон колоколов по случаю второй женитьбы царя.

...В ясный февральский морозный день вынесли гроб бывшей царевны. Сопровождала свое несчастное, ненаглядное дитяtko, Марьюшку, едва передвигая ноги, лишь пережившая ее Петровна.

Нерадостна была жизнь царевны, да и по смерти пришлось лечь в холодную промерзшую могилу.

Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский

Часть I

Глава первая. На Волге

Широко раскинулась Волга. Громадным зеркалом блестит ее поверхность, окаймленная по обеим сторонам крупными, обрывистыми берегами, покрытыми вековыми, чуть ли не непроходимыми лесами. Много родимая Волга принесла на своих водах добра, богатства Руси, но много и отняла она у нее. Широкая, глубокая, лучшей дорогой служила она купцам именитым, возившим свои драгоценные товары в матушку-Москву; немало и царской казны доставила она на своей могучей крепкой груди. Но немало она носила на этой же груди и атаманов-разбойников с их шайками, немало слышала она их удалых, вольных песен, немало видела крови и слез. И что ей до всего этого? Течет она спокойно, не шелохнувшись, разве и разоидется, заходит волнами могучими, высокими, да и то этот грех случается только тогда, когда озлобит ее буря, непогода. И бурна же и сердита бывает она в

эту пору, никому нет пощады от нее; немало похоронила она всякого люда, во гневе, на своем глубоком дне. Но прошла невзгода, утих и гнев кормилицы-реки; снова спокойно катит она свои светлые, быстрые волны, снова безучастно относится она ко всему, что происходит на изредка покрывающейся рябью поверхности, словно и дела ей ни до чего нет. А много бы могла рассказать кормилица как обо всех удалых делах, так и разбойных.

Так и теперь спокойна она, будто спит после утомительного, бурного дня, не дававшего ей покоя. На дворе темная, глубокая ночь, на южном темно-голубом небе блистают миллионы звезд, отражаясь на поверхности Волги; только изредка набежит черное пятно – это остатки, оторванные клочки страшной громовой тучи, весь день не дававшие покоя реке.

Тихо в воздухе, ничто не нарушает ночной, могильной тишины, только ветер изредка заставляя шелестеть листья вековых могучих дубов. Казалось, все замерло, но вдруг небо на мгновение озарилось заревом и затем снова приняло свой темно-голубой цвет. В это же время на высоком левом берегу в чаще деревьев заблестал костер; он то, казалось, потухал, то пламя его вспыхивало чуть не до верхушек деревьев, то целый сноп искр взлетал на воздух.

Тем временем на правом берегу Волги, недалеко от Астрахани, у подножия крутых, отвесных скал, гуськом пробирались, затаив дыхание, боясь неосторожно ступить ногою, стрельцы. Их было около двух сотен, впереди шел астрахан-

ский воевода Мурашкин. Как кот, подстерегающий мышь, крался он, предводительствуя стрельцами, по берегу. Чуть не ежеминутно останавливался, желая уловить малейший шорох, но, кроме шелеста листьев да плеска волн, он ничего не слышал. Неловко чувствовал себя Мурашкин: неизвестность места, темнота ночи, наконец, самое дело, за которое взялся он, немало смущали его.

Шутка ли, взять Ермака живым или мертвым, перебить его дружину! Не один воевода и не раз пытался побороться с этим отчаянным головорезом, но всегда вынужден был уходить назад, разбитым, без всякого успеха. Не таков был Ермак, чтобы отдаться в руки живым или мертвым. В одном только случае можно было одолеть разбойника: захватить его врасплох, ночью, когда он и его удалая шайка предавались сну. С этой-то целью и брел, забрав с собой человек двести стрельцов, Мурашкин. Он и не пошел бы, не зная наверное, где находится Ермак; благо, в шайке последнего нашелся добрый человек, который взялся выдать своего атамана, положим, не даром, да это не беда, только он исполнил бы свое слово, а там вместо обещанных денег можно припугнуть его и виселицей.

Долго идет Мурашкин со своим отрядом, но не встречает ничего похожего на то, о чем говорил ему Федька Живодер. Воеводу начинает брать сомнение, в голову западает мысль: не убраться ли подобра-поздорову назад?

«Утес, говорил, недалечко, – раздумывал воевода, – а вот

сколько времени идем, и ничего не видно; оно, пожалуй, темно, и не увидишь совсем, так только ночь прошляешься за даром. А ну как, – продолжал раздумывать он, – Федька да надул меня? Что, если мы вместо того чтобы поймать Ермака, да сами к нему попадем в лапы?»

При одной этой мысли дрожь проняла воеводу, по спине пробежали мурашки.

– И впрямь, не воротиться ли? – вслух проговорил Мурашкин. – Провались он совсем, Ермак-то, пускай его кто хочет, тот и ловит.

В это время вдалеке блеснул огонек, другой, третий. Воевода начал пристально всматриваться и вскоре заметил несколько костров, горевших на вершине противоположного берега.

При свете костров ясно вырисовывался утес, к которому и нужно было пробираться и ждать там Живодера. По мере приближения путь становился светлее, но зато увеличивалась и опасность быть открытыми: с противоположного берега легко могли увидеть их...

Мурашкин остановился и отдал приказание двигаться вперед как можно тише, не разговаривая, чтобы малейшего шороха не было слышно.

Прошло еще около получаса, пока весь стрелецкий отряд не прибыл на место.

– Теперь нишкни! – шепотом отдал приказание Мурашкин. – Не чихать, не кашлять, не разговаривать, не то рас-

правлюсь по-свойски, – прибавил он, показывая кулак.

Стрельцы молча выслушали приказание, воевода приблизился к самому выступу утеса и осторожно начал рассматривать местность, освещенную кострами.

– Вот он где, голубчик! – все так же шептал Мурашкин.
– Благо, добрались до тебя, теперь усни только, не миновать тебе наших рук! – весело заключил он.

Не шуми ты, мати зелена дубравушка,
Не мешай мне, молодцу, думу думати... —

разнеслись вдруг в ночном воздухе слова любимой разбойничьей песни. Далеко по реке понеслись эти звуки, и где-то далеко-далеко замерли они.

«Бражничают, – подумал воевода, – им веселье да радость, а из-за них сиди вот тут, как волк какой; то ли дело было бы теперь дома: выпил бы я меда да вина заморского...»

При этих мыслях воевода облизнулся даже.

Завтра мне, молодцу, на допрос идти... —

прозвучало в воздухе.

– Пойдешь, друг милый! Пойдешь, только усни покрепче! – злобствовал воевода.

Ему сильно надоело сидеть на месте.

«Ведь, пожалуй, прображничают, черти, до утра, – думал он, – а днем спать лягут, поди тогда подступи к ним! И что

это Федька глаз не кажет, пожалуй, дело выйдет неладное!»

Прошло еще около часа, у воеводы начали слипаться глаза, его клонило ко сну. Он с трудом поднимал веки, наконец они сомкнулись. Послышался сначала легкий храп, который чем далее, тем более усиливался.

– Вишь, нам чихнуть даже не велел, а сам словно труба трубит! – прошептал один из стрельцов.

– Хорошо бы его теперь, братцы, в воду столкнуть! – заметил другой. – Уж и лих же он!

– Поди-ка толкани, после не расхлебаешь!

– Что вы, дьяволы, забыли, что ль, приказ воеводин! – зыкнул на них сидевший поблизости есаул.

Стрельцы смолкли. Снова наступила тишина, нарушаемая только храпом воеводы да разносившейся с противоположного берега песней.

Наконец слышались еще какие-то странные звуки: словно кто шлепал по воде. Есаул стал прислушиваться, плесканье делалось все явственнее и явственнее.

– Никак, плывет кто-то? – прошептал есаул. – Нужно воеводу оповестить, – порешил он, осторожно подходя к Мурашкину. – Боярин, а боярин! – начал он тихо звать воеводу, наклоняясь к самому его уху.

Но боярин на его призыв ответил только свистом, вылетевшим из его носа.

– Боярин! – снова позвал его есаул, слегка дотрагиваясь до руки Мурашкина.

Тот вздрогнул и вскочил на ноги.

– А? Что? Тебе что? – спросонья зачастил он.

– Да вот, боярин, слышишь, как в воде кто-то плещается, словно плывет в нашу сторону.

Мурашкин стал прислушиваться и действительно уловил легкий плеск воды, как будто кто-то осторожно работал веслом. При свете костров на реке мелькнуло черное пятнышко.

«Должно, Федька!» – подумал Мурашкин.

– Прикажи-ка ребятам готовыми быть, – проговорил он вслух, обращаясь к есаулу. – Черт его знает, может быть, и не он, а кто другой леший...

Пятно между тем приближалось, хоть и с трудом, но можно было рассмотреть лодку и сидевшего в ней человека.

Воевода, всматриваясь вперед, счел все-таки за лучшее скрыться за утес.

Наконец саженьях в трех от берега лодка остановилась, и из нее долетел до Мурашкина крик совы.

– Раз! – прошептал воевода.

Раздался второй крик.

– Два! – продолжал считать Мурашкин.

Прошло несколько минут, лодка вперед не двигалась, только ее снесло несколько в сторону, но крика больше не последовало.

– Он, так и есть! – проговорил Мурашкин. – Федор, ты? – окликнул он сидевшего в лодке.

Лодка не двигалась и медленно, чуть заметно сносилась вниз по течению.

– Что за дьявольщина? – пробормотал воевода. – Ты, что ль, Федор? – крикнул он погромче.

Вместо ответа лодка быстро двинулась к берегу.

– Кто едет? – не совсем спокойным голосом спросил воевода, когда лодка была на расстоянии не более сажени от берега.

– Тише, боярин, я! – послышался из лодки голос.

Мурашкин успокоился. Живодер причалил, одним прыжком выскочил из лодки и вытащил ее наполовину на берег.

– Что так долго не приезжал? – спросил его воевода.

– Никак невозможно было, боярин, – отвечал Живодер.

– Опрежь всего, атамана нет, запропал с вечера самого, а уж известно, без него не улягутся, а потом, нельзя было челна взять!

– Что так?

– Да ведь у нас завсегда караульный у челнов, ну и ноне стоял. Взять при нем – не даст, а то и тревогу поднимет.

– Как же ты вырвался?

Живодер усмехнулся:

– Как? Известно как! Пришел к нему, по-приятельски разговорился, отвернулся он маленько в сторону, а я его в шею ножом и пырнул, – дело знакомое, – и не охнул! Ну, я сейчас в челн, да и был таков к вам. Теперича, боярин, поспешить надо, часа через два на смену к челнам придут, так до

тех пор челны-то нужно перетащить к вам. Ты уж дай мне человек пяток, я с ними в один момент дело это оборудую!

Мурашкин задумался.

– Как же это? – спросил после небольшого молчания воевода. – Мы хотели на сонных напасть, а тут у вас караульные стоят, тревогу поднимут, пожалуй?

– Уж об этом, боярин, не думай, все оборудую, только ты сдержи свое слово!

– Об этом что толковать, чай, сам знаешь, боярское слово свято, – отвечал воевода. – Только улягутся ли ваши головорезы, теперь, того и гляди, рассветать начнет.

В это время донеслось несколько голосов.

Воевода и Живодер замолкли, прислушиваясь. Воевода снова сделался неспокоен; он подозрительно взглянул на Федьку, но выражения лица последнего, за темнотою, разобрать не мог.

«Уж коли товарищей продает, то меня и подавно продаст!» – мелькнуло у него в голове.

– Это что же за шум? – спросил он Федьку.

– Атаман, знать, пришел; спешить надо, боярин, мне пока на место нужно попасть, – отвечал Живодер.

– А сколько у Ермака молодцов? – поинтересовался воевода.

– Ста три наберется, да ты об этом не думай: все больше с кистенями да ножами, а пищалей, дай бог, чтоб с полсотни было! – успокаивал воеводу Живодер.

– Слушай, Федька, – заговорил строго Мурашкин, – сделай свое дело, царь тебя помилует, от виселицы избавит, да и денег в награду пожалует, в этом тебе мое боярское слово, а обманешь – завтра солнышка не увидишь!

– Что ты, господь с тобой, боярин, ворог я себе, что ли ча? Сам знаю, что с Ермаком, окромя петли, ничего не дождешься.

– То-то, вперед говорю, выбирай, что лучше, молодцов я тебе дам, только держи ухо востро. Сколько у вас челнов? Хватит ли на моих стрельцов?

– Об этом ты не беспокойся, десятка три, а то и побольше будет!

Мурашкин подозвал есаула.

– Я тебе дам десять человек, дело скорее сделается, – сказал воевода Живодеру. – А ты гляди за ним в оба, – обратился он к есаулу, указывая на Федьку, – ежели что нескладное затеет, сейчас же ему и конец, а сами назад.

– Уж охулки на руку не положим! – самоуверенно произнес есаул.

– Я сказал, боярин, что опаски никакой не может быть, только десятирех со мной не посылай, – заметил Живодер.

– Что так? – недоверчиво спросил воевода.

– Много больно, в челне больше семерых не поместится.

– Ну, быть по-твоему, только гляди, помни свое слово!

– Зачем забывать, боярин, в памяти топором зарублено, только ты помни уговор: как головня полетит в матуш-

ку-кормилицу, так сейчас же и двигайся, все, значит, будет готово!

– Ладно, с богом! – проговорил воевода.

Федька двинулся к лодке, за ним последовали есаул и пять стрельцов.

С замиранием сердца следил за лодкой воевода.

Прошло около часу, послышался плеск воды, и около тридцати челнов пристало к берегу.

– Все ли благополучно? – спросил есаула воевода.

– Как ни на есть лучше! – отвечал тот.

– А Федька где?

– Пошел к своим; велел напомнить насчет головни.

– Ладно! Только вот что, когда нападём, то первому же Федьке пустите в лоб! – отдал приказание воевода и стал следить за противоположным берегом: костры там начали гаснуть.

Вдруг на левом берегу послышался шум по крайней мере сотен голосов. Воевода весь обратился во внимание. Прошло несколько минут, и Мурашкин увидел, как кто-то, отчаянно размахивая головней, направляется к берегу. Наконец головня, сделав дугу, испуская из себе тысячи искр, полетела в Волгу и с шипением исчезла в ней.

– Ребята, живо в челны! – скомандовал он.

Стрельцы быстро бросились к берегу. На востоке загоралась заря.

– Эх, плохо! – пробормотал воевода. – Пожалуй, запоз-

даем, не удастся, не выгорит дело!

Но стрельцы делали свое дело, они были уже на середине реки; становилось светлее; вдруг перед ними мелькнуло что-то большое, в виде мешка, шлепнулось в воду и исчезло в ней: только большие круги расходились на поверхности реки.

Все с тревогой посмотрели вверх, но там никого не было, только дымок струился от погасших костров.

– Что бы это такое было? – невольно вырвалось у воеводы.

– Уж и не знаю что! – отвечал есаул.

Мурашкин задумался, потом бросил взгляд на левый берег – там царствовала могильная тишина.

– Ну, ребята, вперед! – скомандовал он.

Весла пришли в движение, скоро челны пристали к берегу, и воевода со стрельцами начали взбираться вверх по крутому берегу Волги.

Глава вторая. У ведьмы

Верстах в двух от стана разбойничьего, в крутом узком овраге, выходящем к Волге, к одной из его сторон как бы прилепилась убогая, ветхая лачуга. Казалось, довольно было бы сильного ветра, чтобы разнести ее в щепы. Но глубина оврага, густые кусты, чуть не обвившие эту лачугу, защищали ее от непогоды и разрушения. Более тридцати лет уже живет в ней колдунья Власьевна. Многие и не ведают, ко-

гда она поселилась в ней. Но старики помнят Власьевну молодой, красивой, с черными, огневыми глазами, с ласковым взглядом, приветливой речью. Не один казак поздним вечером пробирался сюда тропинками и уходил на рассвете, дрожа от жгучих ласк обитательницы лачуги. Что заставило ее поселиться в этой лачуге – неизвестно. Говорили, что в ней прежде обитала колдунья, от которой никому не было житья; вдруг колдунья исчезла, куда и как – никто не знал. Вскоре на ее месте и поселилась Власьевна. Откуда она явилась – об этом она никому не говорила, только из этой проклятой лачуги, со времени ее поселения, вместо зла потекло добро. Поселившись в овраге, Власьевна принялась за знахарство. Порубят ли кого, лихоманка ли затрясет, или порча какая приключится, сейчас бегут к Власьевне, и та как рукой снимает всякую немочь.

Цены, бывало, не сложат окрестные жители Власьевне. Но года текут, лекарка стареет, и что-то чудное делается с нею. Пропали у нее и веселье и привет, взгляд сделался суровым, сердитым, чуть незлым, о лечении больше и помину не было, да никто бы и не решился идти теперь к ней. Прошло еще несколько лет, и стройная красавица превратилась в злую, горбатую старуху. Пронеслась весть, что Власьевна – колдунья; начали припоминать случаи из ее прошлой жизни и окончательно убедились в том, что она давно уже съякшалась с нечистой силой. Тропинка к лачуге быстро поросла травой, больше в нее никто не заглядывал, а Власьевна, ка-

залось, и рада была этому. Она по-прежнему варила разные травы, сливала их в склянки и уставляла на полку. Отрадой был у нее лишь жирный, откормленный кривой кот Васька. Это было единственное живое существо, которое любила Власьевна; для него она ничего не жалела и готова была всем пожертвовать. Ласковое слово только и вырывалось у нее для кота, остальное время проводилось в ворчании и проклятиях, которые посылались неизвестно на чью голову. Об этом знала только она одна.

Весть о Власьевне дошла и до Ермака, и Живодер правду сказал Мурашкину о том, что атамана нет в разбойничьем стане. Ермака давно давила тоска, какое-то недоброе предчувствие.

«Должно, будет неладное что, – думал он, – а колдунья, говорят, знает, что ждать впереди».

И он решил идти к ней, узнать свое будущее.

Свечерело, когда он, никому не сказавшись, даже не предупредив своего друга, Ивана Ивановича Кольцо, оставил стан и отправился в лес по направлению к оврагу. Дремуч, непроходим был лес, запутаться в нем было легко, но Ермаку как будто знакома была дорога, – он смело шел вперед, между тем как темнело все более и более, загорелись звезды, едва мелькавшие сквозь чашу дерев. Несмотря на близкое расстояние, шел он долго.

– Что за дьявольщина! – ворчал он. – Уж не колдовство ли это? Давно бы пора быть в овраге, а он словно убегает от

меня.

Наконец он наткнулся на кустарник.

– Ну, должно, это и есть овраг! – промолвил он, начиная осторожно продвигаться вперед, опасаясь слететь вниз.

Цепляясь за ветви, он быстро сошел на дно оврага, по которому протекал ручей, и стал озираться.

Вдали, в глубине оврага, мелькнул тусклый огонек.

«А, вон где приютилась ведьма!» – подумал Ермак, но двинуться с места не смог: ноги не повиновались ему, в сердце закрался невольный страх.

Ермак встревожился, может быть, впервые в жизни. Не раз приходилось ему работать ножом или кистенем, не один десяток свалил он людей с тем, чтобы они никогда более не вставали, и никогда в этих случаях не дрожала его рука, никогда усиленнее не билось сердце, – он был тверд, спокоен, и вдруг теперь что-то закралось к нему в душу, что-то необъяснимое, чего он от самого рождения не чувствовал и не испытывал. Неужели он испугался бабы-старухи, для которой достаточно одного щелчка, чтобы отправить ее туда, откуда никто не приходит? Нет, старухи он не боялся, а вот той чертовщины, с которой так тесно была связана Власьевна, опасался... Наконец он преодолел себя и двинулся по направлению мелькавшего огонька. Идти ему пришлось недолго; он взобрался к лачуге; в ней светился огонек, но отворить дверь он не решался: тревога вновь овладела им. Но его выручила сама Власьевна. Перед ним распахнулась дверь лачуги, и на

пороге показалась сторбленная, одетая в какие-то лохмотья старуха.

– Что ж, добрый молодец, остановился? – спросила она. – Добро пожаловать! – сторонясь и давая дорогу Ермаку, добавила Власьевна.

Тот решительно шагнул вперед и вошел в лачугу. Сняв шапку, он обвел глазами стены: кроме склянок да трав, на полке ничего не было, передний угол был пуст.

– Где ж у тебя, старуха, Божье благословенье? – спросил он Власьевну.

– На что мне оно, молодец, коли Бог отказался теперь от меня! – отвечала колдунья.

Ермак как-то странно взглянул на нее.

– Чего смотришь, аль ты не одного со мной поля ягода, аль в угодники метишь? – продолжала она.

Ермак бросил шапку на стол и, ни слова не говоря, сел на лавку.

– Зачем пожаловал, молодец? Хочешь гадания, что ль? Что ж, старуха разуважит тебя – погадает.

– Затем и пришел! – угрюмо отвечал Ермак.

– Изволь, родимый, изволь!

Пока она готовилась к гаданию, Ермак продолжал оглядывать лачугу. На печке сидел кривой кот и лукаво посматривал на него. Ермак хотел отвести глаза, но не мог, словно взгляд кота приковал его. И вот мерещится Ермаку, что Васька начинает ему подмигивать, строить рожи, наконец,

высунув язык, дразнит его. Казак не вытерпел, плюнул и отвернулся; Власьевна взглянула на казака, потом на кота и усмехнулась.

– Брысь, Васенька! – ласково обратилась она к коту.

Тот с мурлыканьем забился в угол печки.

– Ну вот, добрый молодец, и готово все, сейчас я расскажу тебе все, что хочешь! – проговорила Власьевна и начала пристально глядеть в ковш воды.

Ермак не спускал с нее глаз. Прошло несколько минут.

– Сразу, молодец, и не разберешь ничего, – заговорила наконец Власьевна, – все что-то путается.

Потом, обождав несколько времени, она снова заговорила вполголоса:

– Словно Волга-река... да... так, она... знаю ее хорошо. Вот и берега крутые, а вон струги плывут, золота, парчи сколько, а крови, крови... все покойники, а ты, молодец, так и кладешь вокруг себя покойников... Затуманилось... дом боярский... боярышня-то... боярышня красавица какая!.. Ночь... ты бежишь с нею... она тебя целует, обнимает... дочка у нее... и хороша же дочка... гроб... боярышня умерла!

Ермак сурово сдвинул брови, нижняя губа его тряслась.

– Девка ражая, красавица, – продолжала колдунья, – только, молодец, у тебя ворог есть, черный, бородастый, ох, не любит он тебя!.. – проговорила Власьевна и замолчала.

– Что же дальше-то? – угрюмо спросил Ермак.

– Погоди, что-то не разберу! Ну вот, вот, ворог-то твой

режет кого-то, в челн вскочил, опять на Волге, с боярином говорит, с боярином стреляется...

– Гляди дальше! – прогремел Ермак, уверенный в правде слов колдуньи.

Власьевна снова начала глядеть в ковш.

– Чудно, – заговорила она, – место совсем не наше, чудное какое: снег да снег, а деревья зеленые, таких деревьев и не видывала я, и народ не наш, все бегут от тебя... да что это? Ты в царском венце... ночь, на тебя нападают... Дальше не скажу! – закончила старуха.

– Говори все!

– Нехорошо, молодец, дальше-то!

– Все равно говори!

– Коли хочешь, твоя воля. Ты в царском венце, – продолжала она, – на тебя ночью напали, на одного, а кругом все мертвые, и ты сложил свою головушку, вот и все.

Ермак задумался; много правды сказала старуха, а последние слова и на вранье похожи.

– Все-то ты наврала! – проговорил Ермак, бросая несколько золотых на стол и берясь за шапку.

– Поживи, молодец, увидишь, тогда скажешь, что старуха Власьевна не врет. А ворога-то своего черного берегись, – закончила она.

Ермак не отвечал ей ни слова и молча вышел из лачуги.

Всю дорогу его занимала мысль, кто его ворог; в прошлом Власьевна ни в чем не ошиблась, рассказала все как по пи-

саному... Что же касается будущего, какая царская корона ждет его?

Ермак, подходя к пристани, где стояли его челны, издали услышал два совиных крика, но не обратил на них внимания; не найдя у пристани ни одного челна, он не на шутку встревожился. Невдалеке он услышал стон.

– Кто здесь? – спросил Ермак.

– Я, Степка!

– Чего стонешь?

– Живодер зарезал и челны со стрельцами угнал.

Ермак заскрежетал зубами, поднял Степку и потащил его наверх, в разбойничий стан.

Глава третья. Разбойничья шайка

На небольшой поляне, вокруг нескольких пылавших костров, в различных положениях разместилась шайка Ермака. Вся поляна была занята разбойниками, разбившимися на отдельные кучки; каждая из них вела свой разговор; особенно многолюдной казалась толпа, развалившаяся у крайнего костра – атаманского. Здесь сидел сподвижник, правая рука атамана, Иван Иванович Кольцо, и вел речь о давно прошедших удачных подвигах казачьей вольницы.

– Прежде, – говорил Кольцо, – Волга-матушка была река вольная, гуляй, бывало, от самого хоть Нижнего до Персии, и нет тебе запрета, никаких стрельцов не увидишь, о воево-

дах и не слышать у нас было, да и народу-то нашему, казакам, вольнее жилось. Если захочет кто пошалить, руки поразмять, так идет, бывало, для этого без всякой опаски, да и добывали же добра всякого в волюшку, особливо от персиян доставалось; струг заберут, и чего-чего только нет в этом струге: и парча, и камни самоцветные, а об казне уж и говорить нечего! Да, бывало времечко, не воротишь его. Сунься-ка теперь хоть к Нижнему или в Персию, ну и налетишь на Казань аль Астрахань, значит, и кланяйся родным, чтоб в поминанье записали...

Долго вел свою речь Кольцо, лицо его было невесело при воспоминании о прошлом.

У другого костра велись совершенно другие речи. Здесь председательствовал Живодер.

– Заколodило, как есть! – говорил один из казаков. – Вот уж неделя, как сидим, а хоть бы тебе один струг прошел, ведь эдак и с сумой пойдешь.

– И где это провалились они все? Бывало, что ни день, проходят они, а теперь словно перетонули!

– Мало, что ль, стругов-то ныне прошло? – вмешался Живодер.

– С хлебом-то? Спасибо! Что мы с ним будем делать?

– А ты смотрел, что ли?

– Сейчас видно!

– Так вот они тебе все и выставят напоказ, вестимо, из опаски добро хлебом засыпают. А вам напасть бы на этот

хлеб, может, и добро бы какое нашлось.

– Поди напади, атаман так те нападет.

Живодер улыбнулся.

– То-то и беда наша, что атаман у нас Ермак, – проговорил он.

– Тебя бы вот сделать атаманом – страсть, чего бы ты не наделал! – засмеялся казак.

– Страсть не страсть, а так вот, сложа руки, не сидели бы.

– Войной бы небось пошел на персидского султана? – подзадоривал казак.

– Может, и пошел бы, а здесь, как зверь, не прятался бы за кустами.

– То-то бы султан перепугался, сам бы навстречу с поклоном вышел, всякого добра возами бы отвалил.

– Зубоскал тут еще! – рассердился Живодер. – Не правду, что ль, говорю? Какого черта мы из оврага в овраг перебираемся, как зверье от охотника прячемся, на то ль мы собрались?

– Собрались, вестимо, для дела, только ведь и отдохнуть надоть, а то и казны бы некуда было прятать.

– Эх, дурья ты голова, как погляжу я, нешто мы отдыхаем?

– А то что же, работаем, что ли? Атаман, жалеючи нас, отдышку нам дал.

– Нас? Ну, уж это ты, брат, не ври. Не нас, а свою да Кольцову головы жалеючи, прячется он; чай, слышал, что царь деньги дает за их головы. Ну и прячутся, а тут из-за них жди!

А тоже за удаль да молодечество в атаманы-то выбрали. Хороша удаль, нечего сказать! – презрительно улыбнулся Живодер.

– Не ты ль его выбирал?

– Я не я, а другие.

– Что ж ты прежде-то не говорил?

– С вами нешто сговоришь, вам дело толкуют, а вы зубо-скалите.

– Ну-ну, говори, а мы послушаем, может, и впрямь дело какое скажешь?

– Пустословить не стану, а что ежели и скажу, так скажу правду.

– Ну, говори же, послушаем!

– По-моему, так, атаман наш – не атаман и Кольцо – не есаул.

– Кто ж они будут?

– Ни рыба ни мясо. Таких ли нам, казакам-удальцам, нужно?

– Тебя бы вот атаманом сделать!

– Не про то я говорю, – в сердцах отвечал Живодер.

– Не знаю, о чем ты говоришь, только обещал не пустословить, а сам как есть пустословишь.

– И не подумал! А я говорю, что Ермак нам не годится. Шутка ли, у нас чуть не три сотни; ведь каких бы можно было делов наделать, страсть, а мы прячемся. Кабы от Ермака избавились бы мы, лучше ничего и желать нельзя. Сейчас

лодки побросали бы, а забрали бы себе струги. Мало ли их здесь ходит, а там в море Хвалынское, ух и раздолье бы, и волюшка была бы.

– И впрямь дело! Сейчас бы мы это, – заговорил казак, – привалили к Астрахани, а там и гостинец нам уже готов. Хомут на шею – да на перекладину. Уж правду сказать, Федька дело говорит.

Сидевшие вокруг засмеялись. Живодер озлился.

– Видно, правда, что с вами, дураками, каши не сваришь, ну и черт с вами со всеми, погибайте, коли охота припала! – проговорил он, поднимаясь.

– Нам зачем погибать, а вот ежели атаман про твои речи узнает, так тебе плохо будет.

– Ну, уж это бабушка надвое ворожила, кому будет плоше! – загадочно проговорил Федька, отходя в сторону.

– И что леший нагородил! – начался разговор между казаками.

– Дурак, ну и дурацкие речи и ведет!

– Ну, не говори, а бобы эти он неспроста разводил: у него какой-нибудь черт да сидит в голове.

– Ну и шут с ним, умного он ничего не выдумает, вишь, персидского султана чуть не в плен хочет забрать.

– Так-то так, да про атамана он нескладные речи вел!

– А черт с ним со всем! Заведет в другой раз такой разговор, намнем ему бока, и конец, тогда авось и поумнеет! А теперь вот к Николке бы сходить – хлебово небось поспело,

есть что-то хочется. Погоди, братцы, сбегая!

Казак схватил котелок и направился к костру, над которым висел огромный котел с варившимся казацким ужином.

Через полчаса казаки усердно уписывали кашу с бараниной.

– А атамана чтой-то не видать! – слышались разговоры.

– С вечера самого ушел!

– Должно, дело какое задумал.

Мало-помалу разговор стихал, над лагерем начал господствовать сон. Несмотря на теплую летнюю ночь, казаки жалась ближе к огню. Наконец все смолкло. Спустя какое-то время на поляне показался Ермак; он был один, сурово было лицо его, глаза, казалось, метали молнии, но в чертах лица проглядывала грусть.

– Спят как убитые и не чувят над собой грозы! – проговорил он, подходя к тому месту, где лежал Кольцо.

– Иван Иваныч! – начал тихонько будить его Ермак.

Кольцо быстро открыл глаза и приподнялся.

– Что ты, атаман? – спросил он.

– Без меня ребята не гуляли?

– А я-то на что, нешто теперь можно гулять?

– Спасибо, а то нынче, пожалуй, поработать придется.

– Аль дело будет?

– Может быть, и будет, только дело-то непутевое, подневольное!

– Что такое? Скажи!

– Нечего говорить-то, сам все узнаешь скоро. А где Федька Живодер?

– Должно, здесь где-нибудь! – отвечал Кольцо.

– То-то и оно, что его здесь нет.

– Что ты, атаман, где же ему и быть-то, как не здесь!

– На той стороне, и челны наши туда к стрельцам угнал, того и гляди, нагрянут.

– Да откуда же здесь стрельцы возьмутся?

– Должно, Федька привел.

– Ах он, анафема, проклятый!

– Нужно побудить ребят, готовыми нужно быть, чтоб встретить с почетом гостей непрошенных.

– Да, дремать нечего! – проговорил Кольцо, поднимаясь.

Через несколько минут казаки поднялись и принялись за работу: кто осматривал пищаль, кто нож, исправляли кистени – работа кипела. Всякий готовился к делу, но к какому делу – никто не знал: ни Ермак, ни Кольцо не заикнулись о нем. Было еще темно, но Ермак приказал притушить костры для большей безопасности в случае нападения. Вмиг были разбросаны горевшие головни, наступила темнота, только по всей поляне поблескивали уголья. Ермак, глядя на приготовления, зорко озирался по сторонам. Наконец из-за деревьев отделилась какая-то тень и незаметно присоединилась к казакам. Глаза у Ермака загорелись: узнал он в тени предателя Федьку Живодера.

– Иван Иваныч, гляди – пришел! – тихо проговорил Ермак

Кольцу.

– Не ошибся ли ты, Ермак Тимофеевич? О двух головах он, что ли, коли затеял такое подлое дело!

– Говорю, он, а зачем пришел, прах его знает.

– Коли он, так надо с ним покончить, чтобы другим неповадно было!

– Вестимо, поучить нужно, а то как заведется в стаде паршивая овца, все стадо перепортит!

– Сем-ка, я пойду да пошлю его к дедушке.

– Нет, Иван, боже тебя избавь, так не годится, нужно по закону, круг созвать: как круг приговорит, так тому и быть.

– Твое дело, Ермак Тимофеевич. Что ж, скликать?

– Погоди, позовем сюда Живодера, а то улизнет, пожалуй, пусть он и созывает тогда на свою голову.

– Что же, позвать?

– Позови, будь друг, он вон к этой кучке пристал.

Кольцо отправился по направлению, которое указал ему атаман.

Ермак не ошибся. Живодер действительно сидел с казаками. Он чувствовал себя крайне неловко, сердце его тревожно билось... Еще более смутило его бодрствование казаков и приготовление к чему-то, но в расспросы пускаться он не решался, а принялся сам за осмотр пищали.

В это время подошел Кольцо.

– Тебя, Федор, атаман зовет! – проговорил он, обращаясь к Живодеру.

– Зачем? – спросил тот, вздрогнув.

– Мне откуда знать, зовет, значит, ступай.

– Сейчас приду! – беспокойно проговорил Живодер.

– Нечего сейчас, пойдем вместе со мной, чай, сам знаешь, атаман ослушников не любит и по головке не погладит.

Живодер неохотно поднялся и со страхом отправился с Кольцом к Ермаку.

– Меня звал, атаман? – спросил он.

– Тебя, Федор! – отвечал Ермак. – Возьми-ка било да созови круг.

– Круг! – задрожав, повторил Федька. – Зачем круг?

– Вот сейчас узнаешь, бей в било!

Живодер, словно предчувствуя беду, дрожащей рукой ударил сбор; достаточно было трех-четырёх ударов, чтобы казаки собрались на зов.

– Довольно, – сказал Ермак, обращаясь к Живодеру; тот остановился.

Толпа стояла в молчании; никто не шевелился, ожидая речи атамана. Круг созывался только в важных случаях.

Ермак снял шапку и поклонился на четыре стороны.

– Не потревожил бы я, братцы, – начал Ермак, – сна вашего. Все дела у нас решаются днем, ну а нынче уж больно дело важное, приходится ночью решать его. Где мы с вами ни гуляли, где ни давали волюшки руке удалой молодецкой, – продолжал атаман, – и везде-то было дружество, каждый из нас душу отдавал за других, а я, сами, братцы, знаете, все-

гда впереди всех, за всех вас отвечал я, да и то сказать, не я вас звал к себе, а сами же вы пришли ко мне с поклоном; неугоден я вам – уходите, силой держать никого не стану...

– Ермак Тимофеевич, что ты, господь с тобою, да нешто возможно уйти, ты не атаман, а отец!

– Спасибо, детушки! С вами, значит, всякий враг не страшен.

– Разнесем, на куски размечем! – крикнули сотни голосов.

– Еще раз спасибо! Только, детушки, у нас теперича неладно стало: нынче, того и гляди, придется драться со стрельцами.

– Как так? – невольно вырвался у многих вопрос.

– А так, челнов, братцы, у нас нет больше; кабы мы с вами вздумали уехать отсель, так нельзя.

Казаки переглянулись между собою, их встревожило последнее известие. Живодер побледнел: он понял теперь, зачем созван круг, к чему ведет речи Ермак. Спасения для него не было, но он начал озираться кругом, нельзя ли будет как-нибудь улизнуть. Он одного не мог понять, как могло открыться его дело, веденное так тайно, так осторожно.

– Где же быть-то челнам? Куда подеваться?

– Челны на той стороне, у стрельцов, того и гляди, они нагрянут на нас.

– Так это Степка виноват, он продал нас, он стоял на карауле, да его и нет здесь! – слышались грозные голоса.

– Нет, братцы, – перебил Ермак, – Степка за нас сложил

свою головушку удалую, он недалече здесь мертвый лежит, хотел дотащить я его сюда, да дорогою помер он...

Наступило гробовое молчание. Живодер сжался от страха, но крохотная надежда еще теплилась в его душе.

«Ну что ж, ежели и тащил, так ведь тот без памяти был, сказать не мог, кто зарезал-то его; только как он узнал, что лодки у стрельцов», – думалось Живодеру.

– А зарезал Степку, – грозно повысил голос Ермак, – не кто иной, как наш же удалец, Федька Живодер, зарезал, чтобы он помехой не был бы, не сказал бы нам, что Федька нас продал и челны отдал стрельцам.

– То-то он нынче и несурзные речи вел! – слышались голоса.

– Так как же, братцы, поступить нам с ним?

Наступило молчание, оно продолжалось только несколько мгновений.

– Как? Известно как, в воду окаянного! – раздались голоса.

– В воду! В воду! – оглушил воздух круг.

Живодер обвел всех помутившимся взглядом. Лица все враждебные, недоброжелательные. Вот и мешок тащат, в котором он должен умереть. Еще раз оглянулся он, казаки находились от него в нескольких шагах, а тут, у ног его, валяется горящая еще головня...

– Не подступай! – отчаянно закричал он, схватив головню и размахивая ею.

Некоторые отступили, но другие бросились на него. За- свистели в воздухе кистени, но Живоде- ру повезло: ни один не попал в него, и он быстро бросился к берегу.

Но его скоро настигли и повалили на землю. Застонал, злобно выругался Федька, когда его связывали веревками.

Безжалостно поволокли его в стан, руки, лицо его цара- пались о сучья, но больше ни одного сто- на не вырвалось у Федьки: сильно был он ожесточен, озлоблен.

Вот он и в стане, его засовывают в мешок, предварительно нагруженный каменьями...

«Смерть, неминуемая смерть», – проносится в голове Жи- водера, приговор круга неизменен.

Затем его куда-то потащили, он сильно обо что-то ударил- ся, наступил холод, смертельный холод, Федька хотел закри- чать, раскрыл рот, но вода хлынула ему в горло и захватила дыхание.

«Конец!» – пронеслось у него в голове.

Было почти светло, когда исполнившие приговор казаки увидели на своих челнах плывших стрельцов. Бросив Живо- дера, они легли на землю и ползком до первых кустов напра- вились в стан.

– Пищальники, вперед! – скомандовал Ермак, выслушав донесение палачей. – А там что бог даст, можно принять и в кистени, – добавил он.

Пищальники пробрались к самому краю обрыва. Стрель- цы были уже на половине пути. Зорко следил за наступающи-

ми Ермак, залегший вместе с пищальниками. Вот уже близко стрельцы.

– Ребята, вали залпом! – скомандовал он, и первый выстрел грянул его.

Как горох посыпались стрельцы в Волгу.

– Скорее заряжай и пали! – продолжал команду Ермак.

Грянул второй залп, и снова поредели ряды стрельцов.

«Продад, подлец Федька, продад!» – подумалось Мурашкину.

– Ребята, вперед!

Но ребята, испуганные неожиданной встречей, пустились врассыпную.

– Дьяволы, что вы делаете?! – начал было Мурашкин, но наброшенный аркан спеленал его, и воеводу потащили вверх.

– Что, боярин, хотел награду получить за мою голову? – насмешливо спросил Мурашкина Ермак. – Ошибся в расчете. Что же мне теперь с тобой-то делать?

– Известно, вслед за Живодером в воду, одного поля ягоды! – слышались казацкие голоса.

– Вот что, боярин, – заговорил Ермак, словно не слыша казаков, – как царского слугу, я тебя пальцем не трону, ступай на все четыре стороны, только в другой раз не льстись на деньги и не ищи ты Ермаковой головы. Попадешься в другой раз, несдобровать тебе: как раз будешь там, где готовил место Ермаку!

Глава четвертая. После битвы

Схватка продолжалась; стрельцы упорно лезли на берег, казаки ушаченными залпами сдерживали их.

– Прикажи же, атаман, бросить им стрельбу, ведь без воеводы они ничего не поделают, – заговорил подошедший Кольцо.

– А ты, Иваныч, уйми их! – отвечал Ермак.

Кольцо отправился к берегу. Перестрелка замолкла. Стрельцы, увидев наконец, что воеводы нет с ними, бросились врассыпную, забыв и про челны, думая только о том, как бы скрыться в лесу от казацких выстрелов.

Ермак отпустил Мурашкина честь честью. Он дал ему в провожатые нескольких казаков, которые должны были перевезти воеводу на другую сторону, предоставив ему отправляться домой той же дорогою, какою тот пришел. Зол был воевода; виной всему он считал Федьку Живодера. В нем он видел предателя, продавшего его Ермаку.

«На самом деле, как мог я поверить человеку, бродяге, занимавшемуся разбоем и нисколько мне не известного. Теперь вместо благодарности царской того и жди опалы, да за что и благодарить-то меня? – думал он. – За то разве, что я по своей оплошности потерял человек двести царского войска. Положим, не всех перебили, но где их теперь искать, разбежались небось остальные. Теперь вот иди один, а ид-

ти-то жутко: разбойников в этом краю великое множество, того и гляди, что нападут да голову снимут».

Вздыхнул воевода и с камнем на сердце отправился в путь, ежеминутно оглядываясь и дрожа всем телом при малейшем шорохе.

В казацком же стане шло ликование. Легко досталась им эта победа, не было потеряно ни одного казака, враги же бежали прочь, да еще и сам воевода попал в полон. По несколько чарок зелья прошло по рукам, сам атаман приказал выдать – он был весел.

Вино сильно оживило казаков, подбодрило их, и развязались языки; над лагерем стоял гул. Запылали снова костры, закипели котлы, с нетерпением поглядывали на них проголодавшиеся после дела казаки.

– Спасибо воеводе, – говорили некоторые, – кабы не он, сидели бы мы сложа руки, а теперь, по крайности, кости размяли...

Ничто так не оживляет человека, как удача. Так и теперь: на всех лицах написано было довольство; все были веселы, начиная с атамана и кончая последним кашеваром.

Вскоре варево было готово, и казаки, расположившись кругами, с аппетитом принялись уничтожать свой завтрак.

– Гляди, Митька, – заговорил вдруг один из казаков, – гляди, лешие!

Митька вздрогнул.

– Эк тебя, нашел кого вспоминать! – с досадой проговорил

Митька.

– Вот те раз дыхнуть, лешие.

– Да где?

– Да вон, эвон, на опушке из-за деревьев выглядывают.

Митька посмотрел туда и увидел трех человек, которых из-за темных панцирей, надетых на них, легко можно было принять издалека за кого угодно.

– Тьфу, провались ты, сам-то ты леший! – сказал он наконец.

– Кому же им быть, как не лешим?

– Заладила сорока Якова, это – стрельцы!

– И впрямь, Митька, стрельцы, ах, прах их возьми, зачем их занесло сюда, уж не нападать ли опять хотят, высматривают, может, надо атаману сказать?

– Чего тут атаману сказывать, пойдем да спросим: зачем припожаловали? – вмешался третий казак.

– Поди-ка, они тебе бока-то начешут.

– Начесали, поди, ты погляди, – их всего трое!

– Трое, а сзади небось остальные притаились.

– Ну, не ходи. Братцы, кто со мной?

Поднялось еще четыре человека, все осмотрели свои кистени и направились к стрельцам.

Те сначала смешались и смотрели на приближавшихся к ним казаков, потом бросились в бегство; казаки пустились вдогонку. Тяжелое вооружение, чаща леса не давали стрельцам возможности быстро бежать; они с трудом продирались

вперед.

– Заманивают, анафемы! – заметил один из казаков.

– Ну, да поди ты, заманивают! – огрызнулся Митька. – Эй, вы, мишки лесные, лешие, погодите, сдавайтесь лучше в полон! – крикнул он стрельцам.

– Эй, сдавайтесь, – прибавил другой казак, – сдавайтесь живыми, не то наши свинцовые яблочки все равно нагонят вас.

Стрельцы нерешительно переглянулись и остановились.

– Вот так бы давно, – говорили казаки, окружая их, – зачем вас принесло сюда?

– К вам хотели, – отвечали стрельцы.

– Ой ли? – засмеялся Митька. – Что ж это за дело такое у вас к нам? Коли бы вы к нам шли, так не прятались бы, как лешие за деревьями, да и не бежали бы от нас.

– Прямо-то боязно было идти!

– Да что за дела у вас?

– Мы к атаману.

– Вот как! А зачем это вам атаман наш нужен!

– К нему в вольницу хотим!

Казаки рассмеялись:

– Такими-то вороньими пугалами? Ну делать с вами, видно, нечего, пойдем к атаману, и там уж как он скажет; принять вас его воля, а коли на сук велит вздернуть, так это мы с нашим великим удовольствием.

Казаки повели стрельцов к Ермаку. Тот издали завидел

их.

– Погляди, Иваныч, – обратился он к Кольцу. – Наши молодцы ворон поймали.

– Сюда ведут, – отвечал Кольцо, – да мало ли их теперь по лесу бродят, воевода-то один домой отправился.

– Ну что, молодцы, где вы этих ворон спугнули? – спросил Ермак казаков, когда те подвели к нему стрельцов.

– Да вот тут, атаман, на опушке словно лешие какие бродили. Поспросить бы их надо было, зачем они пожаловали сюда.

– Мы, атаман, к тебе шли, – проговорил один из стрельцов.

– Ко мне! Зачем?

– Возьми ты нас к себе.

– А на кой вы мне прах нужны?

– Что прикажешь, все будем исполнять. Уж больно надоело нам в стрельцах жить. А у тебя, мы слышали, вольность, раздолье... всего в избытке!

– А что буду делать с вами? Ведь коли мы в поход двинемся, так вас на подводах надо будет везти, а этого у нас не водится. Да избалованы вы небось страх как, привыкли там у себя на печке сидеть, а у меня, поглядите, все молодец к молодцу!

– И мы не отстанем от них, атаман, дай только нам с себя эту оборону снять.

– А зачем они утекли от нас? – вмешался Митька. – Ка-

бы они к нам шли по доброй воле, так и бежать бы незачем было!

– Говорю, испугались, – огрызнулся стрелец. – Нас-то только трое, а вас эво сколько!

Ермак тихо переговорил с Кольцом.

– Ну, делать с вами нечего, оставайтесь, только глядите в оба, у нас строго! – обратился к ним атаман.

– Уж это вестимо!

– Вовек будем стараться! – говорили стрельцы, отвешивая по поклону Ермаку.

– Поглядим – увидим, – отвечал атаман. – А теперь небось проголодались, есть хотите? – спросил он.

Стрельцы осклабились. Они были рады исходу дела, а тут еще и накормят.

Они отправились с приведшими их казаками.

– Ну, братцы, делать нечего, – заговорил дорогой Митька, – приходится, знать, побрататься с вами, а уж, признаться, хотелось мне вас вздернуть, ну, да ваше счастье, что в добрый час к атаману попали.

– Спасибо тебе на добром слове! – усмехнулся стрелец.

– Толковать теперь нечего, – пробурчал Митька. – А теперь стаскивайте свои вороньи перья да и за еду.

Стрельцы не заставили себе долго ждать.

В это время в самой гуще леса притаились еще двое стрельцов. Они видели всю предыдущую сцену и с любопытством следили за ней. Когда повели их товарищей к атаману,

они с замиранием сердца ожидали, как решится исход дела.

– Сейчас с ними расправу учинят! – проговорил один вполголоса.

– Повесят, дело известное, нешто кто из разбойничьих рук уходил целым.

– Повели, повели! – воскликнул один стрелец, когда товарищи его с казаками возвращались от атамана. – Ну, братцы, прощайте, дай вам, господи, царство небесное! – прибавил он, набожно крестясь.

– Гляди, раздевают!

– Ух, злодеи проклятые!

– Кашей, никак, кормят?

– Уж какая тут еда перед смертью!

– Что ж это их не вешают? – удивлялись стрельцы, следя за происходящим. – Гляди-ка, как разгуливают, словно дома!

– Сем-ка, пойдем и мы, авось и нас накормят!

– Что ж, я пошел бы да и остался там: вишь, у них раздолье какое.

– Остаться бы ничего, да дома-то...

– Что ж дома?

– Женка молодая!

– Эх, что нашел жалеть, да этого добра сколько хошь найдешь, да еще покраше, помоложе.

Стрелец задумался, но недолго его брало раздумье.

– И впрямь пойдем! – порешил он.

Они были также приведены к атаману и приняты в шайку.

Солнце высоко поднялось, а казаки, не спав всю ночь, не думали о сне: кто пел песни, кто вел разговор; стрельцам очень понравилось новое житье – все было для них так ново. Они никак не ожидали, что для них скоро настанет работа, работа для них непривычная, незнакомая, страшная.

– В челны, молодцы! – пронесся по лагерю сильный голос Ермака.

Клич этот словно вскинул всех на ноги.

– В челны скорее! – командовал Ермак.

Все бросились к берегу, скатываясь кубарем вниз; не отставали от казаков и стрельцы. Никто не знал, зачем, с какой целью произведена тревога.

Через несколько минут все челны были переполнены казаками. Вдали по Волге мерно плыл громадный струг; против течения он двигался медленно. Казаки быстро достигли его и окружили. На струге тоже все пришло в движение, человек до пятидесяти, вооруженных пищалями, засуетились на палубе.

– Откуда бог несет вас, добры молодцы? – зычным голосом спросил Ермак, обращаясь к находящимся на струге.

– Из Астрахани, молодец! – отвечал насмешливо, судя по виду, командир струга.

– Что везете и далече ли? – спрашивал Ермак.

– Везем далече, в Пермскую область, а что везем, так, чай, это вас не касается.

– Отчего же, коли любопытство есть!

– Ну, ин и быть по-твоему, и это скажем. Везем мы казну золотую Дементию Григорьевичу Строганову.

– Слыхивал не раз про этого купца именитого, – говорил Ермак. – А вы, знать, его служивые люди?

– Угадал, верно! – смеялся командир судна.

– Ну и ладно, нужно спознаться нам один с другим. А слыхивали вы про Ермака Тимофеевича?

– Как не слыхать про этого удальца-разбойничка, слыхивали!

– Ну, так вот он и есть перед вами!

– Ну и привет тебе, Ермак Тимофеевич!

– Ладно! А знаешь ли, чем я промышляю?

– Как не знать голубчика!

– Так вот что, отдавай-ка нам казну золотую строгановскую без дальних речей и разговоров, а сам иди с богом на своем струге.

– Не жирно ли будет, молодец? Казна хозяйская, я за нее ответчик!

– Слушай, не отдашь добром, возьму силою!

– А ты, удалец, не нахваливайся, сначала возьми, тогда и говори!

– Аль миром не отдашь?

– Не отдам.

А челны казацкие тем временем тесным кольцом окружили струг.

– Ребята, *сарынь на кичку!* – грянул голос Ермака, и гром-

ким эхом пронеслись эти слова по широкой Волге.

Вмиг заработали весла, челны стрелой помчались к стругу, но в то же мгновение грянул пушечный выстрел, и один из челнов пошел с сидевшими в нем казаками ко дну. Залп, раздавшийся со струга, погубил немало казаков.

Ермак заскрипел от досады зубами.

– Дружно, молодцы! – снова загредел его голос.

Но команда эта была излишня. Как пиявки, впились челны в струг, и не успела его команда зарядить ружья и пушку, как заработали багры и казаки были на палубе.

Многие из защитников струга пали под беспощадными ударами, некоторые бросились в воду и потонули в матушке-Волге. Остальные побросали пищали и сдались. Началась дележка добычи. Все получили поровну, даже Ермак не взял лишнего червонца.

Наступил вечер. Снова запылали костры, снова пошли речи. Жалели о погибших казаках, но радовались и об успехе дела.

Недалеко от Ермака расположилась кучка казаков; между ними сидел полоненный строгановский служилый и вел свою речь.

– У нас, братцы, – говорил он, – дно золотое. Эти самые вогулы да остяки страсть богаты соболями, а уж что до Строганова, так у него казны куры не клюют. Только добраться до него трудно: этих самых пушек страсть сколько!

Ермак не пропустил ни слова из рассказа, казалось, он о

чем-то глубоко задумался. Долго наблюдал за ним Кольцо, наконец не вытерпел.

– Что затуманился, атаман? – спросил он его.

– Да так, Иваныч! – отвечал он, но своей глубокой думы не выдал даже и другу.

Глава пятая. Прошлое Ермака

Закручинился не на шутку атаман Ермак Тимофеевич. Несколько слов полоненного строгановского служилого глубоко запали в его душу и не дают ему покоя. Сам не свой ходит он; дума, глубокая дума не выходит у него из головы. Ничто не радует его, ничто не веселит. Велика была последняя добыча, все довольны ею, только Ермаку, кажется, все едино.

Ночи целые напролет не спит он, все ему мерещится старое прошлое. Вспоминается детство бедное, голодное, вспоминается отец – мужик дюжий, здоровый, хворая мать. Всем взял отец, только счастья не выпало на его долю. Возьмется ли за плуг – не везет; у соседей хлеб что твой лес, а у него – хоть шаром покати, пусто.

Принимался он и за торговлю – тоже последние, добытые правдой и неправдой, денежки ухнул, и осталась семья голодная да холодная. Призадумался тогда Тимофей. Куда ни кинь, все клин выходил. И забралась в его душу злоба на все и на всех; проклял он свою жизнь, проклял людей и взялся за

нож булатный. Повеселела с тех пор Тимофеева семья, потдохнула: и в избушке стало потеплей, и говядинка явилась за столом, да и хворая мать повеселела, стала ходить такая нарядная...

Только сам Тимофей стал не тот. Ходит он как в воду опущенный. Куда девались веселые речи, ласковый взгляд, привет и ласка? Угрюмый, с сердитым взглядом, молчаливый стал он. Да и жизнь повел не ту, совсем не по-людски стал жить. День спит, разве только встанет пообедать, а там опять завалится, зато как наступит ночь, пойдет Тимофей ворчать да ругаться, а там и след его простыл, до самого утра пропадет, а явится на рассвете, бросит в угол жене узел иль кошелек с деньгами, обругает да и в постель. Подрастая, Ермак стал понимать отцовское дело – и страшно ему тогда сделалось. С ужасом стал он смотреть на отца, кровью обливалось его детское сердце.

Вспоминается одно утро: мать плачет, отец лежит и еле дышит, а Ермак стоит тут же, и тоска, скорбь сжимают его сердце. До сих пор не знал он никакой заботы, ничего не делал, жил словно на подножном корму. Теперь вот отец лежит, чуть дышит, того и гляди, помрет, – вся забота ляжет на его голову, а что он станет делать, ничего не зная, ничего не умея. Беда, страшная беда грозит!

Вот заворочался отец, застонал и взглянул на него.

Чуден был этот взгляд: и жалость, и скорбь, и ужас виделись в нем. Потом он слабо поднял руку и словно поманил

к себе.

Ермак подошел.

– Много грехов на моей душе... – начал, едва переводя дыхание, умирающий, – много, сынок, ох как много, да не я виноват в них. Не замолить их ни мне, ни вам, да авось сам Бог простит их. Он, Батюшка, видел... все видел... Я ль не работник был... я ль... дурной человек был?.. Да люди... люди проклятые... сделали меня... разбойником... Чуть не плачешь, бывало, сам... а как вспомнишь тебя да мать... холодные... голодные... и жалость пропала... и всадишь нож в бок... или перехватишь горло... ох, страшно, сынок, страшно! Вот тебе мое последнее слово, к Богу иду... значит, святое слово... Опрежь всего... не женись... бобылем будь... жены не будет... не будет и детей... один не беден: лег, свернулся... встал, встряхнулся, и не беда... Только не поднимай ножа... не поднимай на человека... страшно... ах, страшно...

Старик умолк, забормотал что-то бессвязное, а через полчаса его не стало.

И начал Ермак жить, помня отцовское предсмертное слово. Не получилось. Люди заели. И кем только он не был! Как вспомнится, тяжело на душе делается. Не знал он ни женских утех и ласк, не ласкал, не голубил детей.

– Эх, да что вспоминать-то? – чуть ли не скрипя зубами, бормотал еле слышно Ермак. – Правду говорил отец, правду! Проклятые люди.

Пошел он также по отцовской дорожке. Не страшно ему было резать и душить людей. А вот полоненный говорил про вотяков да остяков, и еще колдунья наговорила, царская корона какая-то у него на голове... а тут? Тут петля, тут царский гнев, да чего же больше, – уж цена объявлена за его голову.

– Нет, туда, туда, – решает Ермак, – если зарежешь, так поганого ведь, не христианина – оно не грешно. Только пойдут ли за мной мои? Да, конечно, пойдут.

Глава шестая. Замысел Ермака

Казачи пришли в крайнее недоумение, когда Ермак приказал им строить себе шалаши.

– Что же это мы, на зимовку, что ль, здесь останемся? – спрашивали некоторые.

– Да нешто в шалашах зимовать можно? – говорили другие. – Атамана вы не знаете, – продолжали они, – коли на зимовку, так он повел бы нас в какую ни на есть труппу да велел бы землянки копать, а это он чтой-то другое задумал!

Работа закипела, и к вечеру временная казацкая стоянка превратилась в военный лагерь. Теперь караульные были расставлены уже в два ряда: одних разместили в самом лесу на расстоянии ста шагов от лагеря, других у самого лагеря.

Для Ермака казаки постарались с особым усердием; его шалаш отличался как размерами, так и удобством. разгово-

ры смолкли, догадки прекратились, все пришли к одному, что если атаман так приказал, то так тому и быть, худого он не придумает. Один только Иван Иванович Кольцо целый день молчал, не догадываясь о намерениях и целях своего друга Ермака Тимофеевича; он с нетерпением ожидал вечера, когда в лагере все успокоится, уляжется и он отправится к атаману потолковать по душе и узнать о его дальнейших планах. Он знал, что Ермак не скроет от него ничего: жизнь их тесно связана. Оба они были молоды сравнительно с большей половиной шайки, если же и попали они в нее начальниками, один атаманом, а другой есаулом, то благодаря своему молодечеству да удалству. Обоих их заставили броситься в эту жизнь лишения да людская неправда, оба они прославились чуть не по всей Руси своими отчаянными подвигами. Но недешево стоит им эта слава! Они сделались отверженцами, их теперь никто и за людей не считает, всякий, кому только вздумается, может убить их, как бешеных собак, и в ответе не будет, потому что Грозный дорого оценил их головы, да, признаться, и было за что.

Долго ворочался Иван Иванович в своем шалаше на незатейливой дерновой постели, много дум пронеслось в его голове, как светлых, так и темных.

– Э, да что старое ворочать, себя только мучить! – не то с досадой, не то с какою-то болью проговорил Кольцо, вставая с постели.

Он осмотрел свое ружье, оно было в исправности, писто-

лет тоже; последний он заткнул, по обыкновению, за пояс и вышел из шалаша.

Ночь была темная, только звезды ярко блестели да узким серпом скрывалась за верхушки деревьев молодая луна. В воздухе парило что-то опьяняющее, до неги.

– Ох, хорошо-то как! – проговорил Кольцо, жадно вдыхая грудью теплый ароматный воздух и потягиваясь, расправляя свои онемевшие от лежания члены. – А ведь, того и гляди, гроза будет, вишь, как парит! – прибавил он, оглядывая лагерь.

В лагере все спало; кое-где тлели догоравшие от костров угли. Кольцо направился к шалашу Ермака.

– Не спит ли? – бормотал он. – Досадно будет, поговорить хотелось, и поговорить есть о чем...

Он приблизился к шалашу, через грубо сотканную дерюгу, завешивавшую вход, пробивался свет.

– Нет, должно, не спит, – подумал вслух он. – Ермак Тимофеевич, спишь аль нет? – произнес он тихо.

– Кто там? Ты, Иван Иванович? – послышался голос Ермака.

– Я!

– Так что же ты, входи, экий чудной какой, – радушно проговорил Ермак.

Кольцо вошел.

– Чего спрашиваешь-то? – встретил его атаман.

– Да трудить тебя не хотелось, думал, започивал.

– Где тут спать, бессонница напала, да думы разные одо-
дели совсем!

– По-моему, знать! – промолвил Кольцо.

– Аль и тебе что на душу запало?

– Западать не запало, а так не спится, да лезет в голову
невесь что.

– Ну, Иван Иваныч, ты счастливее меня, тебе невесь что
лезет в голову, а я ведаю, что творится в ней: тяжко, так
вот тяжко, что и не выговоришь! Сам хотел с тобой погово-
рить...

– Ай злодейка-кручина забралась в ретивое?

– Нет, Иваныч, не то, совсем не то! – как-то раздумчиво
проговорил Ермак. – И сам тебе сказать не умею, что стало
твориться со мной. Сам знаешь, – заговорил оживленно он,
– не с охоты размять руки, показать свое удальство, не с жиру
мы с тобой пошли на эту жизнь!

– Вестимо, нет, я от плетей убежал, да и плетями-то на-
градить хотели за невесь что, обидно уж очень было!

– А я от неправды людской бежал! За человека меня не
признали, думали, что я такая же скотина, что вот стоит в
конюшнях аль в загонах. Тяжко вспоминать, ох куда тяжко,
да лучше, если ты будешь все знать. Начал я жить после отца
помаленьку, небогато, да и бедности мы с матушкой не види-
вали. Мне и в голову-то никогда не приходило работать но-
жом да кистенем. Отец мой разбоем занимался: так веришь
ли, когда он приходил с работы, мне страшно делалось, я гля-

деть на него боялся. Стал он помирать, – страшно помирал он, – так, помирая, заклятье на меня наложил: не разбойничать. Да где тут разбойничать, коли я кровь боялся видеть. Ладно, зажили мы с матушкой после отца ни шатко ни валко. А тут возьми матушка да и умри. Остался я один на свете, бобыль не бобыль, а бог знает что! Избенка была у меня хорошая, завести бы хозяйку да жить припеваючи, так нет, тоска заела. Продал я свою избу и пошел в бурлаки на Волгу-матушку. Уж и красавицей же показалась она мне! Широкая, раздольная да ласковая... Первым делом меня в кашевары на струге определили, чуть не год я кашу варил, с тех пор меня Ермаком и прозвали, а прежде Василием величали. Прошел год, увидали, что я, кроме кашеварства, могу и другое делать, работу дали. Проработал я два годка. Ехали мы с товаром из Астрахани, на струге тут же и боярин один старый, с дочкой Настей был, челяди человек двадцать с ними. Ну, дочка уж боярышня была, трудно и вымолвить, как хороша, вряд ли ангелы небесные бывают такими! Ехали мы до Черного камня ничего, благополучно. А у самого камня и напади на нас удалыцы, и всего-то их была горсточка, ну, половину уложили, а другие все-таки на струг пробрались и давай всех крошить. Челядь боярская поразбежалась да попряталась, а боярин с боярышней стоят у руля ни живы ни мертвы; один и бросься к ним, света я не взвидел, в один прыжок очутился я возле нее, а удалец-то уж и руку протянул к ней, не помню, как и нож-то я ему всадил в бок, ахнул

только он и повалился; а тут другой подоспел, но этот и прибавки не попросил, как сноп повалился, не вздохнул. Скоро мы отделались от удалцов-разбойников, вздохнули свободнее да и в путь. Боярин с боярышней давай благодарить меня, да что их благодарность! – за один ее ласковый взгляд жизнь бы отдал. Так-то мы проплыли еще две недели; боярин дорогой-то все ублажал меня к себе на службу идти. Известно: не пошел бы я, кабы не красота боярышни, жить без нее не мог, день провести без нее было страшно. Согласился я – и не житье мне настало, а царство небесное. Боярин часто уезжал, с боярышней мы то и дело встречались; полюбился и я ей... Долго ли, коротко ли, а не одну ночь скоротал я с ней... затем доведалься боярин и набросился было на меня, да я на него так зыкнул, что у него и охота пропала пугать меня.

«Ну, Василий, теперь ты мне, – говорит, – не нужен, иди на все четыре стороны».

Злость, горе взяли меня, не отказ обиден был, не стал бы я и сам старому черту служить, кабы не боярышня, без нее и свет мне не мил стал, да что поделаешь, коли из дому гонят, насильно не станешь в нем жить. Ушел я да и слоняюсь возле боярской вотчины, про нее, голубушку, про Настюшку, все хочется узнать. Ну и узнал на свою голову. Боярин, вишь, в злобе за тиранство принялся, и чего только не делал он с ней, вымолвить страшно. Долго я думал, что бы с ним, окаянным, сделать, да что ж тут придумаешь...

А тут немного спустя и того горшая весть дошла до меня: Настюшка моя померла, убил ли ее отец, замучил ли, только неладное что-то говорили про него. Обезумел я с горя, не знаю, что со мною и сотворилось: хожу, ничего не вижу, только круги какие-то красные в глазах расходятся. Наступила ночь, вот такая же темная, как и ноне, долго бродил я кругом, а там и решил. Все уже во дворе спали, я перебрался через забор, собаки бросились было на меня, да скоро узнали и замолчали. Подошел я к хоромам, отпер ставни, гляжу и глазам не верю. Горят свечи, а на столе лежит она, моя голубушка, только черная такая. У меня словно замерло сердце.

«Погоди же, старый коршун, найду же и я на тебя управу, раз избавил тебя от смерти, – промолвил я, – а теперь сам ее поднесу тебе, только не такую, а пострашней маленько!»

Пошел я, набрал кольев, подпер все двери в хоромаш да хоромы-то и подпалил – в миг один все во огне были!

Ермак на мгновение замолчал.

– Что же, сгорел старый? – спросил Кольцо.

– Все сгорели, – проговорил Ермак, – все, кто в доме был, сгорела и она, моя голубка! Старый-то спал, когда я поджег, а как охватило хоромы огнем, вскочил он да хотел в окно выпрыгнуть, ну, тут я его и встретил... ножом! – прибавил он. – Ну и взяла меня тоска тогда, весь свет стал постыл, на людей такая злоба взяла, что не глядел бы на них, разом всех покончил... а там, там пошел на Волгу да и пристал к Шустрому, а дальше что было, сам, чай, знаешь, – закончил

Ермак.

– Так в этом и кручина твоя вся? – спросил Кольцо.

– Не кручина, говорю, а раздумье берет, да и не об этом, это что – все старое, ну, значит, и быльем поросло, о другом я думаю!

– О чем такое?

– А вот видишь, хороша наша жизнь, свободна, привольна, никого над нами нет, только самих себе знаем. А как она досталась нам, чем мы добываем ее – грабежом да разбоем!

– Чтой-то ты, Ермак Тимофеевич, словно на исповеди во грехах каешься!

– Да и разбоем-то каким! – не слушая, продолжал Ермак.

– Прежде персиян душили, ну и черт с ними, с нехристями, туда им и дорога, а теперь-то мы душим свои христианские души: грех ведь тяжкий. И до чего дожили мы с тобой? Царской опалы дождались, того и гляди, свои же руками на виселицу выдадут.

– Что ты, господь с тобой, атаман!

– Чего господь со мной, Живодера забыл, что ли?

– Ну, Ермак Тимофеевич, в семье не без уроды.

– А коли в нашей семье да много их найдется? Чужая душа, сам знаешь, потемки.

– Так-то оно так, только Живодер всегда был ненадежен, а теперь, кажись, все слава богу.

– Кабы то так, кабы твоими устами да мед бы пить.

Наступило молчание.

– Долго я думал, Иваныч, и вот что придумал, слушай. Давно уже я слышал про Пермскую землю, и вот строгановский служилый то ж про нее рассказывал; богатства там – страсть, сторона далекая. Нет там ни воевод, ни стрельцов, жить можно свободно, вольготно, без всякой опаски; нас немало, остяков так запугаем, что они сами будут нам ясак нести. А поживиться там есть чем – одних зверей пушных не оберешься.

– А что с ними делать-то, коли людей там нет, куда же мы сбывать их будем?

– Было бы что сбывать, а место найдется для них.

– Делай, атаман, как знаешь, как лучше. Только пойдут ли за нами молодцы-то наши?

– И об этом я думал. Очертя голову я не поведу их никуда, допрежь всего отправлюсь сам, один, на место, все разведу там, правду ли об этой стороне говорят. Коли правду, так ворочусь и клич кликну: кто хочет идти со мной – иди, а нет, пускай выбирают себе другого атамана и остаются жить здесь.

– Когда же ты думаешь отправляться?

– Да завтра бы пораньше, чуть зорька, так и пушусь в путь, все равно ночь-то не буду спать.

– Как же ты лагерь бросишь, что молодцы подумают?

– Лагерь я не брошу, ты здесь останешься, а ты все равно что и я. А чтобы молодцы ничего не подумали, завтра собери круг да и объяви, что я ушел на промысел, на разведки, что

ли, что вместо себя тебя оставил, вот и конец.

– А долго ли ты в отлучке будешь?

– Бог весть, сам знаешь – неблизко.

– Так тебя, значит, здесь и ждать?

– Хорошо бы было, кабы здесь дождались, а уж если и уйдете куда, так какую-нибудь записку оставьте, чтобы знать мне, где искать вас, или известите меня.

– А бог весть, где ты будешь?

– О себе-то я весть всегда подам.

Кольцо задумался, неизбывная тоска легла ему на душу; после встречи с Ермаком он ни разу еще не расставался с ним, и предстоящая разлука пугала, тревожила его.

– Что ж ты, Иваныч, призадумался? – спросил Ермак.

– Да так, что-то неладно, сердце словно беду чует!

– Полно, Иваныч, беду накликаешь, все хорошо будет, а теперь простимся – тебе и соснуть пора, а мне уж не до сна, да скоро и рассветать будет.

– Не до сна и мне, Ермак Тимофеевич, разогнал ты мне его. И что это тебе вздумалось?

– Говорю что!

– Так уж вместе бы нам с тобой идти!

– А товарищей на кого бросим? Ведь без нас с тобой они что стадо без пастуха будут. Коли не хочешь, чтоб я шел, ступай ты, разведай в строгановских деревнях – тебе все расскажут, а я уж здесь останусь.

– Нет, атаман, оставаться здесь, видно, моя судьба, ты там

лучше меня все разумеешь и сделаешь.

– Как хочешь: выбирай, что лучше!

– Пусть уж будет по-твоему!

– Ну, так тому и быть!

Начинало рассветать.

– Ну, пора и в путь! – первый заговорил Ермак, поднимаясь. – Прощай, товарищ!

– Я провожу тебя, чай, на челне отправишься?

– Само собой, скорей да и покойней.

Оба спустились к берегу. Ермак простился с Кольцом, вскочил в челн – и весла заработали. Долго Кольцо следил за ним, пока тот не скрылся на повороте. Понутив голову, отправился Кольцо в лагерь, не взглянув вниз по Волге, а если бы взглянул, то не шагом бы пошел он назад.

Версты три отъехал Ермак, как вдруг руки его выронили весла и он, казалось, застыл, к чему-то прислушиваясь.

Со стороны лагеря раздался выстрел, гулом пронесся он по Волге, за ним грянул другой, и вслед за этим выстрелы зачастили.

Ермак, быстро заработав веслами, повернул лодку, и та помчалась как стрела. Вот и последний поворот реки. Он взглянул вперед по реке – и сердце его тревожно забилося. Около сотни пустых челнов качались у берега; небо над лагерем покрылось сизым дымом, в воздухе пахло дымом.

– Напали, врасплох напали, скверное дело! – шептал он, причаливая к берегу и пробираясь быстро между деревьями

к месту побоища.

«Побьют, непременно побьют; сонный человек, спросонья, известно, на своего полезет, не разбирая», – думал он.

При этой мысли у него прибавилось силы; ветви и сучья царапали ему лицо и руки, рвали на нем платье, но он ничего не замечал. Наконец перед ним открылся лагерь. Достаточно было ему взглянуть, чтобы понять всю серьезность обстановки: стрельцы, превосходя казаков в силе, теснили их к опушке леса. Немало смущало казаков и отсутствие Ермака. Не чувствовалось той отваги, той решимости, которую испытывали они в его присутствии. Все это мгновенно понял Ермак. Стрельба прекратилась, началась рукопашная схватка. Ермак выхватил палаш и как молния бросился на стрельцов.

– Держись, братцы, крепче! – грянул его голос.

При звуке его голоса битва на мгновение замерла. Казаки встрепенулись, они почувствовали двойную силу и рванулись вперед. Стрельцы, думая, что на них бросились из засады, смешались и несколько отступили, и Ермак ударами расчистил себе дорогу и прорвался к своим.

– Вперед, молодцы, не выдавайте товарищей, вперед, рубите их, проклятых! – ревел Ермак, набрасываясь на стрельцов. – Дружнее, Иваныч, бей налево!

Уже половина лагеря благодаря Ермаку была в руках казаков. Но внезапный страх, обуявший стрельцов, прошел, они оправились и с новой силой бросились на казаков. Ничто не помогло, последних теснили все более и более. Много уж па-

ло казаков. С болью в сердце глядел на это Ермак; неожиданно он заметил воеводу, которого не так давно отпустил на волю.

– Знал бы, повесил бы на первом сучке! – пробормотал он. – Ну, да погоди – не уйдешь ты от меня! – И он бросился вперед; на него кинулись два стрельца, но он опрокинул их.

– За смертью снова пожаловал? – закричал Ермак воеводе. – Так получай же ее.

Воевода взмахнул палашом, но Ермак столкнулся с ним грудью, и в то же мгновение атаманский кинжал по рукоятку вонзился Мурашкину в горло. Тот взмахнул руками и, захрипев, упал. Стрельцы расстроились, но ненадолго, – с новым остервенением бросились они на казаков. Те не выдержали.

– Врассыпную! – послышалась команда Ермака.

И миг на поляне не осталось ни одного живого казака – все мгновенно рассеялись по лесу.

Глава седьмая. В Сибирь

Ободренные победой стрельцы бросились преследовать казаков; этого только и нужно было Ермаку: приказывая браться врассыпную, он видел, что на открытом поле не устоять ему; сила стрельцов в несколько раз превосходила его силу, давила ее своею массою. Битва в лесу обещала совершенно иной исход. Он и не желал продолжения этой битвы, но

досада и злость, разбиравшие его за потерю почти половины товарищей, разжигали в нем желание отомстить стрельцам. Будь у последних жив воевода, быть может, они и не бросились бы вдогонку, но сдержать их было некому.

В чаще леса раздавались частые выстрелы, но вскоре они прекратились, только и было слышно, что бряцание стали: схватка шла врукопашную. Казакам легче было один на один справиться со стрельцами, отягощенными своим вооружением и вследствие этого крайне неповоротливыми. Поздно догадались стрельцы, что попались в ловушку. Некоторые бросились назад на поляну, но немалых трудов стоило им добраться до нее. На поляне сидело уже несколько стрельцов, некоторые из них наскоро перевязывали раны. Вся поляна была усеяна казацкими и стрелецкими трупами.

– Вот те и клюква! – ожесточенно заметил один из стрельцов. – Вот-те и схватили разбойников, поди возьми их!

– Что ж, прогнали их с места, и того будет; чего же еще?

– Прогнали! Гляди, чтобы они нам сейчас по шее не дали отсюда!

– Ну, уж это проваливай! Много ли их осталось-то?

– Много ли, мало ли, а видел, что в лесу-то они творили? Оглянуться не успеешь, как уж он те пыряет, и что за народ проклятый такой.

– Народ? Известно, головорезы, разбойники!

– Теперь, поди, крошат наших-то, иной бы и рад удрать, да не скоро дорогу найдешь: вишь, в какую трущобу забрались,

проклятые.

– Да, тут самому лешему впору продраться, а они, дьяволы, как кошки, так и шмыгают, оглянуться не успеешь, как он на тебя верхом сядет.

– Помочь бы своим следовало, ведь в этой трущобе всех перережут!

– Да как помочь-то?

– Рогом дать известие, сбор протрубить, что ли ча?

– Да рог-от где?

– Известно, чай, сам знаешь, у воеводы.

– Поди сыщи его теперь, мало ли народу валяется!

– А вот сыщу же! – уверенно проговорил стрелец, осматривая по сторонам поляну.

Увидев как будто знакомое место, он направился к нему. Недолго пришлось ему отыскивать воеводу; помня место, где тот упал, он скоро между убитыми нашел и труп Мурашкина; с боку у пояса, на цепочке, висел у него и серебряный рог. Стрелец нагнулся, чтобы отцепить его, но в это время что-то скользнуло по его спине и обожгло, а затем раздался и выстрел. Стрелец вскочил на ноги – меж деревьев растянулся дымок.

– Так вот где ты, проклятый, погоди же! – проговорил он, бросаясь по направлению дыма, но, сделав несколько шагов, остановился. – Черт их знает, может, их там много, нешто с ними справишься?

И, воротившись назад, он отцепил рог и бегом пустился

к товарищам.

– Нашел! – заявил он. – Только спину, проклятые, поранили, знать: так вот огнем и жжет!

– После разберем, а ты затруби-ка!

– Не до трубы мне теперь! – проговорил раненый, бросая рог.

Один стрелец поднял его и начал дуть.

– Нет, ничего не выходит, заколдованный он, что ли?

– Дай-ка сюда! – вырвал у него сосед и начал трубить.

– Вишь ты, тоже умение нужно! – заметил кто-то.

На звук рога начали появляться на опушке стрельцы; многие из них были ранены.

– А что, братцы, ежели пошарить у разбойников по шалашам, добра-то у них разного небось страсть сколько!

Достаточно было этих слов, чтобы все бросились на грабеж. Звук трубы умолк, всякий хотел поживиться. На поляне оставались только раненые, которым было не до чего.

Вскоре меж деревьев замелькали и казацкие фигуры. Словно из-под земли вырос и Ермак, а за ним и Кольцо; достаточно было показаться им, чтобы казаки вмиг очутились на поляне.

– Руби их, окаянных! – закричал Ермак, весь в крови, которая сочилась у него из левого плеча.

Казаки бросились на раненых и вмиг изрубили их. Раздался выстрел, из шалашей начали показываться стрельцы. Увидев снова казаков, они бросились наутек, но кистени и

пули нагоняли их. Много полегло стрелецких голов, лишь единицам удалось добраться до лодок...

Бой, так неудачно начавшийся для казаков, кончился для них очень счастливо, только не веселил этот разгром Ермака, невесел был и Кольцо.

– Много легло наших, больше половины! – заметил мрачно Ермак.

– Я так думаю, что и это дело обошлось не без греха, – отвечал Кольцо.

– А что?

– Надо полагать, стрельцы навели – те, которых приняли мы к себе.

– Но ведь они с нами вместе дрались!

– Дрались, только не они; как только послышались выстрелы, так они к своим и махнули; одного-то я уложил. Повесить нужно было их! – заключил он.

Ермак задумался.

– Как ты, атаман, попал сюда? – спросил вдруг Кольцо. – Ведь, чай, далеко был?

Ермак рассказал.

– Ну и слава богу, что так вышло, а то быть бы беде. Да знаешь еще что, Ермак Тимофеевич, – заговорил Кольцо, – уж подлинно чудо: знаешь, кто дрался с стрельцами? Да как еще дрался-то – нам с тобой не уступит!

Ермак вопросительно взглянул на своего есаула.

– И не угадаешь!

– Да кто такой?

– А полонянин наш, строгановский служилый! Уж и молодчина же. Ни пищали у него не было, ничего; ну, как начали стрелять, он и давай жаться – известно, с пустыми руками ничего не поделаешь, а тут уложили одного стрельца, он выхватил у него бердыш да вперед, и не узнаешь парня, так и крошит стрельцов направо да налево... Кабы все так дрались, не пришлось бы нам в лес прятаться. Ну и ему, кажись, все-таки немало досталось.

– Где же он?

– Боюсь, не уходили ли его совсем, не видать что-то. Нешто поспрашивать да поискать его?

– Что ж, коли удалец, бросать жалко, за нас же терпит.

Кольцо отправился на поиски, но искать долго не пришлось: у одного из шалашей сидел полонянин, сняв с себя рубаху и рассматривая грудь и бока, на которых было несколько ран.

– Ай пощипали молодца? – спросил Кольцо.

– Да так, пустяки, поцарапали только! – отвечал полонянин. – Завтра небось и следов не останется.

– Ну не говори, гляди-ка, как тебя поцарапали!

– Говорю, плевое дело, бывало и похуже, да с рук сходило; заткнешь дыру-то, она в неделю и заживет.

– Разве дрался когда?

– А как же, у нас с вогуличами то и дело схватки. Облепят тебя, проклятые, стрелами, ну и ходишь как еж какой.

– Да ты, брат, видно, одного с нами поля ягода?

– Одного не одного, а в ратном деле маленько сродни будем.

– Как же тебя звать и величать?

– Добрые люди кличут Митюхой, а дразнят Мещеряком.

– Что это тебе вздумалось драться со стрельцами?

– А что же мне было делать, глядеть, что ли?

– Я думал – убежишь!

– Убежишь! – засмеялся Мещеряк, перевязывая раны оторванными от рубахи клочками полотна. – А зачем бы это мне бежать, есаул?

– Как зачем? Ведь мы – твои враги!

– Враги! Захотел бы, давно убежал, а мне житье ваше понравилось: вольное оно; положим, и дома хорошо, вольно, да зачем я туда пойду. Одному скучно, путь больно далек! А что дрался-то, так просто подраться хотелось, надоело сидеть сидья.

– Так ты бы и дрался со стрельцами против нас.

– Че-е-ево? Сам, чай, видел, что стрельцов было видимо-невидимо, а ваших что? Горсточка перед ними, так что лишний человек вам не помеха, а подспорье!

– Ведь тебя убить могли!

– Велика важность! Все равно когда-нибудь убьют, не стрельцы, так вогуляки или остяки, не все ли равно? Днем раньше, днем позже, на то и шел к Строгановым.

– Однако ты, видно, парень лихой!

– Каков есть, люди не хаяли, а Строгановы любят!

– Так что же ты не идешь к ним?

– Сказал – одному скучно идти, вот если бы нам всем туда отправиться, дело другое, и Строгановы были бы рады: им такие люди нужны!

– Ну, нам-то не обрадуются, вишь, их струг заполонили.

– А им больно нужно!словно их струг этот разорит. У них, есаул, денег куры не клюют.

– Так зачем мы им нужны?

– Говорю, дикий народ обижает людишек их, что по деревням сидят. А разоряют людишек – разоряют, значит, и их, а на струг с казной им наплевать!

Передал Кольцо Ермаку Тимофеевичу речи Мещеряка, и стали они вдвоем совет между собою держать.

– И впрямь, Ермак Тимофеевич, – говорит Кольцо, – может, и твоя правда, здесь уж не больно нам хорошо жить, вольное житье – только слава одна, а уж какая тут воля.

– Была она, Иваныч, была прежде да теперь сплыла. Так ли мы живали? Спишь, бывало, спокойно, никто тебя не потревожит, а теперь одним глазом спи, а другим гляди: не отсюда, так оттуда нагрянут. Да и царь, как видно, порешил покончить с нашей вольностью. Волга-матушка ему нужна, дорога широкая да бойкая, известно, мы помеха ему; а кабы не это, нешто он велел бы нас с тобой повесить, больно ему нужны мы, а то вон и рать стал высылать. Хорошо нынче лес спас, а коли нас да в поле прихватили бы, тогда – ау,

поминай как звали! А рати-то у него немало, сам видишь! Сколько их в первый раз приходило, а во второй раз вон и больше заявилось. А там, гляди, и сила несметная нагрянет. Царь ведь не простит за воеводу, сам, чай, слыхивал, как он грозен во гнев-то!

– Про это что и толковать, бывал в Москве, видывал, как царь со своими недругами расправляется, так и летят на плахе боярские да княжеские головы.

– Вот то-то и оно, а мы с тобой не бояре, для нас и секиры и пожалеют, а пожалуют веревкой.

– Это что, умирать-то не страшно, вот вольности жаль.

– А я разве смерти боюсь? Сам, чай, знаешь, что я не прячусь в бою за других, на нас с тобой и удары первые сыпятся. Не смерть страшна, страшно вспомнить, какова она будет. В бою убьют – на что лучше, а то выведут тебя на торг, на людское посмешище да и затянут глотку поганой веревкой, словно вору ночному, – вот что страшно: не казацкая это смерть! Теперь и то взять, много ли нас осталось-то? Сегодня больше чем переполовинили. Что мы с этой горстью будем делать? Передавят нас как кур каких; прежде мы и были тем только сильны, что много нас было.

– Ну, Ермак Тимофеевич, не говори этого, вспомни-ка, прежде и меньше нас бывало, да удаль атаманская выручала, все дело в твоей удали да молодечестве, вот и ноне...

– Ну, Иваныч, захвалил меня совсем; удаль тут, добрый молодец, ни при чем. Вон погляди наверх, видишь?

Кольцо поднял голову и долго смотрел на небо.

– Что ты, Ермак Тимофеевич, увидел там? – спросил наконец он.

– Гляди, эвон, точка на небе, еле глаз хватает до нее.

– Ну, что ж? Орел это! – недоумевая, проговорил Иван Иванович.

– Орел! – подтвердил Ермак. – Достанешь ты его или нет? Возьми любую пицаль и пали в него, он и не взглянет на тебя, а почему, как полагаешь?

– Чего тут полагать, не достанешь до него, да и только.

– Да он и выстрела-то твоего не услышит, и все оттого, что у него теперь мощь и сила; чувствует он ее и никого не боится, а напади на него враспloch, завладей им да обрежь ему крылья, – что будет? Тот же орел, да не тот! И жить тоже будет, и злобы в нем не меньше прежнего, да лиха беда – крыльев нет, подрезаны, лишен мощи да силы он. Так-то, друг любезный, Иван Иванович, и я. Что удаль моя, что с ней сделаю, коли у меня не будет силы, не будет моих молодцов? Ведь один против рати не пойдешь! – закончил Ермак.

– Ну, атаман, – возразил Кольцо, – ты этого не говори, оно не совсем так выходит. Видишь ли, проводил я тебя и только успел вернуться, как эти огородные пугалы и нагрязнули. Правда, наши молодцы лихо их встретили, только что ж? Сам, чай, видел, как помаленьку мы раком назад пятились, а как услышали твой голос, откуда и сила взялась.

– Эх, Иван Иваныч, а все-таки пришлось в лесу спрятать-

ся! А знаешь почему?

– Почему же?

– А потому: сила солому ломит!

– А коли у силы ума нет, так она и с соломой не справится.

Ведь их больше чуть не втрое против нас было, а все-таки в конце концов убежали! Я бы сам никогда не додумался в лес уйти, дрался бы, пока все не легли бы, а ты вот половину не половину, а сколько народу сберег! Опять ты говоришь: удаль ничего перед силой не значит! Нет, ты этого не говори. Не будь ты удаль, да нешто было бы у тебя столько народу? Ни в жизнь. За твою-то удаль да молодечество и идут к тебе все. Уж больно верят в тебя, верят, что с тобой не пропадут, что не дашь ты их в обиду! Ну и плетутся к тебе со всех сторон все, кому хочется воли да наживы.

– В речах твоих много правды! – раздумчиво проговорил Ермак, – только вот эта-то правда и заставляет меня призадумываться. Говоришь ты, что идут ко мне оттого, что верят мне, так зачем же мне веру эту нарушать? Верят, что со мной не сгинут, а я их под пулю стрелецкую буду подставлять? Царь теперь грозен и силен, забрал он Казань и Астрахань: Волга, известно, нужна ему, и ее заберет, это уж не наша кормилица, а его, стало быть, и делать здесь нам нечего, лучше убираться отсюда.

– Так и я думаю! – поддержал Кольцо.

– Завтра, а то и ноне созовем круг, поговорим – да и я в путь; вам тоже нужно будет тронуться, а то, того и гляди,

опять нагрянут.

– Нет, Ермак Тимофеевич, так негоже будет! – возразил Кольцо.

– А как же?

– Круг собирать не нужно, просто их вести за собою. небось пойдут, да идти-то нужно ноне же; гляди, как начинает пахивать.

– Закопать всех нужно.

– Зачем закапывать, а на что кормилица-то наша? Кормила их всю жизнь, так пусть и грешные тела их принимает.

– Правда твоя, Иван Иванович.

– Потом тебе самому вперед идти на разведку не след: без тебя молодцы как без головы будут все едино.

– Как же сделать-то?

– А так: отпусти ты меня с Мещеряком вперед, больно уж парень мне этот полюбился, с ним мы пойдем, разведем все, а ты с молодцами подвигайся помаленьку туда же. Увижу, ничего не утаю; хорошо будет – пойдем, а плохо – и назад воротиться можем.

Ермак немного подумал.

– Ну, Иван Иванович, быть по-твоему, а теперь надо товарищей спустить, да и стрельцов тоже: православные ведь они.

Вскоре закипела работа. Сотни трупов приняла в себя Волга и понесла в море Хвалынское. Для казака лучшей могилы незачем было и искать.

Собралась Ермакова шайка, перекрестились все и двину-

лись в путь; зачернели челны на кормилице, раздалась и далеко разнеслась удалая казацкая песня – то разбойнички, не зная, не ведая, прощались со своей родимой кормилицей Волгой.

Настала ночь, взошла луна, мертвая тишина стояла над только что оставленным казаками станом, только легкий пар поднимался над поляной от пролитой на ней крови.

Часть II

Глава восьмая. Братья Строгановы

Высоко поднимаются хоромы именитых купцов братьев Строгановых. Хоромы эти можно назвать деревянным замком. Стоят они посреди двора, трехэтажные; кругом рассыпаны мелкие избушки, предназначенные для прислуги и людей служилых. Весь двор обнесен острогом, заостренными бревнами; у ворот две пушки для гостей незваных, да пищалей навалено в амбаре, не перечеть сколько, и трудно ворогу подступить к этим хоромам. Живут Строгановы в царской милости, что твои бояре, да многим боярам и во сне не снилось такое житье. Казны у них угол непочатый; живут они вольно, свободно, головы их застрахованы от гнева царского и казни отдаленностью места; есть хоть и небольшая, но своя собственная вооруженная дружина для войны с соседними кочевниками. Ну, точно князья удельные!

Богато разубраны и палаты их, обиты золотой парчой, потолки писанные, лавки в хоромах мягкие, войдешь – глаза разбегаются, и лучше всего в этих хоромах сами хозяева. Добрые, ласковые да приветливые. Да и как не быть такими, живя на отлете; приедет кто, так рады лицу новому (к своим-то пригляделись больно), не знают, где усадить гостя, чем его

чувствовать, чем угощать. Иной раз вплоть до зари утренней просидят да пробеседуют, слушая новости московские, а эти новости дай бог в год раз прилетят к ним. Известно, занятно послушать.

Так и теперь: у Строгановых чуть не пир горой. Сидят они, правда, запросто, не в парадных своих комнатах, а в столовой, обитой темно-лиловой кожей; в углу образа, увешанные чуть не десятком лампад, освещаемые тусклым светом последних. Стол освещен несколькими восковыми свечами, уставлен серебряными кувшинами: здесь и мед, и брага, а больше всего фряжского вина. Угощают хозяева гостя московского, приехавшего к ним с царскою милостью, с грамотою, наделявшею их новыми землями. Сами Строгановы просили царя об этой милости, а как получили, так и закручинились немного.

– Что говорить, – произнес Дементий Григорьевич Строганов, – дай бог царю многие лета здравствовать – милостив он к нам, только и нам нелегко придется теперь, ох куда как тяжело!

– Чего же тяжело-то? – спросил брат его Григорий.

– Как же не тяжело: сам посуди, эвон сколько у нас земли, а тут еще новая!

– А кто же нам велел просить ее, коли мы и прежней-то тяготимся?

Московский гость засмеялся.

– Вот уж и впрямь, чем у человека добра больше, тем он

недовольнее! – проговорил он.

– Не то я хотел, брат, сказать, не так ты меня понял! – обратился Дементий к брату.

– Как не так понял?

– А так, что грамота по-старому написана.

– Ну, так что же?

– Словно не знаешь что. Земли, говорю, у нас глазом не окинешь, а защиты ей никакой нет. Что наши служилые люди? Мужичье, и больше ничего: увидит он вогуляка или остяка со стрелою – ну и наутек. Есть, правда, у нас и справные люди, да много ли их? А тут еще и тех приходится посылать в Астрахань; будь у нас Мещеряк, нешто ограбили бы нашу деревушку разбойники!

– Это-то правда!

– То-то и оно, правда! А где ты наберешь служилых? И пушки у нас есть, и пищали на целый бы приказ стрелецкий хватило бы, да наши и с пищалями-то управляться не умеют.

– Эко горе! – вмешался московский гость. – Да вы кликнете клич по Волге да Дону, не то что один приказ, явится целый десяток, голытьбы этой там не оберешься, а уж на что лучше: народ удалой, бравый!

– Я то и говорю! Коли бы можно было, давно бы это сами сделали, да вот беда – грамота.

– Что же грамота-то, в чем она помеха?

– То-то и дело, что помеха! Вишь, в грамоте-то царской не приказано принимать вольных людей, а не то опала будет

царская и земли назад отберут.

– А кто в Москве узнает?

– Слухом, дорогой гость, земля полнится. И боже избави, про то царь осведомится, что мы его царской воли послушались, – лучше нам тогда и земель этих не нужно.

На время разговор прекратился; по-видимому, каждый был занят своей думой. Первый встрепенулся Григорий Григорьевич.

– Что же это мы, брат, призадумались да про гостя забыли, не угощаем его!

– И впрямь! – засмеялся Дементий Григорьевич. – Неча сказать, хороши мы хозяева! – продолжал он, наполняя ковши фряжским вином. – Прикушай, дорогой гость, не побрезгуй! – угощал он, подавая ковш гостю.

– Зачем брезговать, коли хозяева потчуют, только вот не вижу я у вас обычая московского, забились вы чуть не в Сибирь да от обычаев наших и отстали, – говорил гость.

– Какой такой обычай? – разом спросили братья, с недоумением глядя на гостя.

– Да вот сколько уж времени я сию у вас, а еще не ударил челом вашей хозяйшке! – отвечал гость.

– Вот оно что! – заговорил Дементий Григорьевич. – Да видишь ли, милый человек, живем-то мы бобылями; были и у нас хозяйшки да померли, так мы и остались. А про обычай спасибо, что напомнил; обычай этот мы соблюдаем, есть у нас племянница от покойного брата, вот она у нас и пойдет

заместо хозяйки. Ты бы, брат, распорядился, – обратился он к Григорию Григорьевичу.

Тот молча вышел из комнаты.

– А я думал, про какой такой обычай ты говоришь, индо смутил меня! – смеялся Дементий Григорьевич.

– Обычай хороший, – говорил гость, – ведь из рук хозяйки и вино слаще!

– Что и говорить! А сам ты женатый будешь аль холостой?

– Я-то холост, никак не соберусь жениться, да и боюсь, признаться!

– Чего же бояться-то: жена ведь не укусит.

– Укусит не укусит, а жизнь измает. Сам ведь знаешь обычай наши. Промыслишь, где девки есть, и присватаешься, а там хороша ли, дурна ли, господь ее ведает; ведь не покажут, да и в церкви под венцом не увидишь, окутают ее фатой, поди разгляди; в опочивальне только образ свой она покажет. Хорошо, коли хороша, а коли урод, ну и прощай счастье, кому сладко с уродом жить? Измаешься да изведешься только.

Строганов весело засмеялся:

– А куда же, дорогой гость, уродам деваться: чай, тоже девка, замужем хочет пожить!

– В монастырь бы справляли, там им место найдется.

– В монастырь-то не всякая захочет!

– А отцовская воля на что, нешто отца посмеет кто слушаться?

– Ну, не говори этого, иной раз и с отцовской волей быва-

ет беда; да вот в Перми случай был, уморушка вышла. Живет там боярин, убогенький такой, Стрешнев прозывается, была у него дочка, Фаиной ее величали, все в монастырь собиралась. Отец ее и так и сяк, она твердит одно: хочу в монастырь. Диву давались люди: девка молодая, а лезет в монахини, а про ум ее говорить нечего – умная. Вот Стрешнев и давай подыскивать ей женихов. Подвернулся ему на этот раз пермский воевода, жениться захотел. Ударили они по рукам, только воевода осторожен был. Ты, говорит он, боярин, мою суженую до венца мне покажи, а то я без этого и в церковь не пойду.

Боярин спервоначалу смутился словно, только скоро оправился. Что ж, говорит, смотри, она у меня не какая-нибудь – красавица писаная.

Ладно, назначили день, приходит воевода, к нему и вывели невесту; как глянул на нее воевода, так и ахнул: по Руси, пожалуй, такой красавицы и впрямь не найти. Засуетился жених, скорее да скорей свадьбу, а боярину того только и нужно. Привели невесту в церковь, да так ее фатой окутали, что она сама идти к налою не могла, а уж вели ее. Поглядел на нее жених да и глаз не сводит, все время венчания озирался на нее, видно, ему под фату заглянуть хотелось, да не тут-то было. Ну, отпраздновали свадьбу, проводили молодых в сени опочивать и разошлись.

На другой день, само собой, по порядку приехали к молодым. Глядим, воевода наш злее черта, так и рвет, и мечет, и

словно ему не по себе. А обычай соблюсти все-таки нужно: закон требует, чтобы молодая хозяйка гостям челом ударила. Ждем, а воевода не знает, в какую сторону смотреть. Наконец вышла молодая; как взглянули на нее, так все и ахнули. Удружил боярин воеводе, нечего сказать. То есть такого страшилища никто в жизнь не видывал! Маленькая, морда круглая, на морде словно горох молотили: в рябинах вся, бровей нет, да еще что – на обоих глазах бельма, на левом еще туда-сюда, а на правом во весь глаз. Так вот, гость дорогой, выпей-ка из ее рук, слаще аль нет будет? Я, грешный человек, как пришлось с ней целоваться, так глаза закрыл, чтоб не так страшно было.

– Да как же это, Дементий Григорьевич, ведь воевода-то смотрел невесту: красавица, говорит, была.

– В том-то и дело, что он не невесту показывал, а холопку! – засмеялся Строганов.

– Что же воевода?

– Да ничего, на первой же день запер свою молодую в светлицу, чтоб шага оттуда не делала, а сам себе на татарский манер целых пятерых жен завел из холопок, одна другой краше, а в главные-то шестую, тут у одного худородного дворянина жену волоком уволок!

– Что же дворянин, смолчал?

– Чуден ты, погляжу я! Словно в Москве этого нет? Там, чай, бояре сплошь да рядом один у другого жен таскают.

– Это что: меняются даже иной раз.

– То-то и оно, а ты захотел, чтобы дворянин бедный за жену вступился: с воеводою ли тягаться ему?

– Воеводине-то, чай, житье незавидное!

– Вот выдумал еще что! То в монастырь, когда в девках была, хотела идти, а теперь во всю ширь зажила: сколько молодцов перебывало у нее в терему.

– Да как же в терем-то пробираются?

– А санные девки да мамки на что? Хоть кого проведут!

– Чудно, коли она так страшна, так кому она нужна?

– Ну, на вкус мастера нет!

– Так вот и женись тут!

– Что же делать-то, коли жизнь у нас стала такая беспутная, прежде не так бывало.

В покой отворилась дверь, и в ней показалась с подносом в руках, на котором стоял жбан и кружка, племянница Строганова.

– Ну, вот и хозяйка моя, – проговорил Строганов, вставая с места.

За ним поднялся и гость.

– Вот, Фрося, ударь челом гостю да угости его.

Фрося и гость раскланялись и, взглянув друг на друга, вспыхнули. Странное что-то сделалось с ними: у девушки задрожали руки, она потупилась, личико ее зарделось румянцем; не по себе было и гостю, дрожь пробежала у него по телу, сердце замирало, он глаз не спускал с Фроси.

Наконец он пришел в себя и отошел к порогу, девушка

подошла к божнице. Гость отвесил ей земной поклон; она отвечала поясным. Вслед за этим поклонился в землю гостю и Дементий Григорьевич.

– Сделай честь, гость дорогой, поцелуй хозяйку! – обратился он к гостю.

– Хозяину первая честь! – отвечал тот.

Дементий Григорьевич поцеловал Фросю. За ним подошел и гость; отвесив снова земной поклон, он потянулся к Фросе. У девушки сверкнули на ресницах слезинки. Гость поцеловал ее, она еле устояла на ногах.

– Прикушай, гость дорогой! – чуть слышно проговорила она, наливая в кружку вина.

– Нет уж, хозяйюшка, тебе почет, выкушай допрежь всего сама.

– Что ж, Фрося, пей, таков обычай, – проговорил Строганов.

Фрося выпила и снова налила кружку. Гость выпил и поклонился. Вслед за тем Фрося, отвесив поклон, пошла из покоя. Ноги ее дрожали, она сама не понимала, что делалось с нею. Долго московский гость глядел на дверь, за которой скрылась девушка. Строганов лукаво поглядывал на него.

– Что ж, теперь вино, должно быть, слаще! Выпьем! – обратился он к гостю.

– Ах и хороша же у тебя, Дементий Григорьевич, племянница, в Москве такой не сыскать!

– Какую бог послал, такая и есть! Давай-ка лучше выпьем.

Гость выпил и задумался. В палату вошел Григорий Строганов. Лицо его было пасмурно, видимо, он был сильно чем-то встревожен.

– Худые вести! – были его первые слова.

– Какие такие? – тревожно спросил Дементий Григорьевич.

– Сова прибежал!

– Как Сова! Да ведь он в Астрахань поплыл со стругом?

– Когда поплыл-то? Чай, и вернуться пора!

– Пора-то давно пора, я уж побаивался, не случилось ли беды какой!

– Беда и стряслась: разбойники недалеко еще от Астрахани напали на струг, людей перебили и струг с казной взяли; один только Сова и спасся.

Наступило молчание, все были расстроены.

– Да мне что обидно-то! – заговорил снова Григорий Григорьевич. – Обидно за Мещеряка, золото человек! Что мы без него будем делать-то, разорят теперь все деревушки.

– Как же это случилось?

– Спроси вон у Совы, он тебе все расскажет.

Позвали Сову; тот повел свой рассказ.

– Напало на нас видимо-невидимо, – говорил он, – так вся Волга и зачернела от их челнов. Уж мы и из пищалей, и из пушки палили, ничего не берет – как черти лезут; взобрались на палубу и давай всех кромсать саблями, а кого кистенем, всех перебили, такие черти, что и не приведи бог, одно

слово, – ермаковские.

– Разве шайка Ермака? – спросил Дементий Григорьевич.

– Его самого.

При этом имени сильно призадумались Строгановы.

Глава девятая. Кольцо и мещеряк

Затишье наступило в строгановских хоромы после отъезда московского гостя. Больше всех думала о нем, конечно, Фрося. Не выходил он у нее из головы, припоминалась ей всякая мелочь их встречи, и пуще всего жег поцелуй. Мало ли ей приходилось заменять собою хозяйку, угощать гостей да целоваться с ними, так нешто те поцелуи были таковы, как последний. Она и сама не знала, что поделалось с нею: и плакать хотелось, и сердце замирало, так бы вот и взглянула хоть еще разок украдкой, да никак нельзя – укатил он себе в Москву, а ее, может, и из головы выбросил: мало ли он видел пригожих девок, чай, и получше ее встречал, а она что за невидаль – степная девка. И тяжело делалось на душе у Фроси; поплакала бы она, да совестно, зазорно, ну, как кто увидит – пересудов не оберешься.

«Хотя бы узнать, как зовут его, как по отчеству величают, – думалось ей, – да как узнать-то, нешто можно у дядей спросить. Срамота одна!»

А у дядей своя забота. Шутка сказать, сколько земли привалило еще им с царской грамотой, знай заводи варницы да

соль вари. Только и сокрушало их одно место в грамоте: не держать у себя вольных людей, а как без этого справишься, на них и надежды только.

– Я так думаю, – говорил Дементий Григорьевич брату, – не послушаться ли нам гостя? И то сказать, кто в Москве узнает, что у нас вольница? Посадим ее по деревушкам, и конец; а то, сам посуди, нешто нам возможно обороняться? Нахлынет орда этих дьяволов-вогуличей, что с ними поделаешь. Заберут все, что им вздумается, и конец!

– Так-то оно так, я и сам об этом подумывал, только как и гостя-то послушать; Господь его ведает, что у него на уме, говорит одно, а думает, может, другое что, сам посоветовал, да сам же и шепнет кому следует, да окромя этого, сам знаешь, сколько у нас в Перми неприятелей, возьми хоть того же воеводу.

– Ну, уж этот зверь рад к чему-нибудь придраться, только бы донос в Москву послать.

– Про это я и говорю-то. По-моему, надо пока что оставить новую землю втуне. Придет время – возьмем ее, а теперь впору справиться и с тем, что есть.

– Да дело-то расширить бы хотелось!

– Придет время, и дело расширим.

На том и порешили братья.

Прошло еще недели две; во двор строгановский вошли два человека, у ворот их окружила челядь. Вдруг один из нее бегом бросился в хоромы; Дементия Григорьевича не было;

он отправился на варницы, оставался дома один Григорий.

Сам не свой влетел в хоромы челядинец. Строганов не без удивления взглянул на него.

– Ты что? Аль очумел? – спросил он челядинца.

– Батюшка, Григорий Григорьевич, покойник пришел.

– И впрямь ты, должно, белены объелся! Какой покойник?

– Да наш, убили-то которого! Мещеряк!

Строганов приподнялся.

– Что ты болтаешь-то! – закричал он.

– Вот лопни мои глаза, пришел, да еще с каким-то чужим.

– Что же он не идет сюда? Поди кликни его! – приказал

Строганов.

Челядинец бросился на двор; немного спустя в хоромы вошли Мещеряк с Кольцом. Строганов обнял и поцеловал Мещеряка.

– Ну, брат, а мы уж по тебе панихиды служили.

– Раненько начали, Григорий Григорьевич, я еще поживу да послужу вам.

– Да как же, прибежал тут один со струга да и говорит, что всех перебили, один он и остался-то!

– Оно точно, нашим куда плохо досталось, чай, всех перебили, а я-то в полон попал.

– Ты – в полон? – удивился Строганов.

– А что же было делать? Наши все в воду побросались, а я один нешто уберег бы твое добро?

– Что правда, то правда, хорошо, что жив-то остался, а мы

с братом, признаться, горевали по тебе.

– Ничего, Григорий Григорьевич, жив и цел остался.

– Как же ты из полону-то бежал?

– Зачем бежать? Я не бежал.

– Как же ты здесь очутился, коли не бежал?

– Да пришел с добрым молодцем, правой рукой Ермака Тимофеевича.

Строганов с удивлением взглянул на Кольцо.

– Ничего не пойму, что же, тебя не отпускают, за выкупом пришли, что ли?

– Да сразу тебе, Григорий Григорьевич, и не понять. О каком выкупе ты говоришь – я не знаю, держать меня никто не держит, а пристал я к удальцам по доброй воле: больно уж они по душе пришлись.

– Что ж ты, в разбой пошел?

– Зачем в разбой? Со стрельцами, правда, немного пришлось посчитаться, а больше я никого не губил, а пришли мы к тебе по делу.

– Коли ты по делу пришел, милости прошу; говорю тебе – люблю тебя, как родного, и жаль мне, что пристал ты к душегубцам; ну а коли твои новые приятели явились за делом, тоже милости прошу; только какое же у нас с ними дело может быть?

– А ты не спеши, Григорий Григорьевич, сначала выслушай, а там уж и душегубцами обзывай! А какое дело, так вот тебе поведает о нем есаул Иван Иванович.

– А Иван Иванович, – проговорил Строганов, – не знает нешто, куда он пришел? Чай, ему ведомо, что за его голову царь деньги обещал. Отсюда, пожалуй, он и дороги назад не найдет.

Кольцо нахмурился.

– Вот что я скажу на это, купец, – начал он, – пошел я сюда, наслышавшись хороших об вас речей, и никак не думал, чтобы Строгановы на подъячих походили, за деньги вольную казацкую голову продавали, да и то опять сказать, с Кольцом трудно будет справиться, а коли уж и одолеют, так тоже не на радость, потому что Ермак свет Тимофеевич неподалечку тут станом стал, а правой руки своей он не выдаст, все на щепки разнесет. Правда, виноваты мы перед тобой: твой стружок пощипали, так ведь не беда это – бирали мы и царские суденышки.

– За это и головы сложите!

– Пока еще на плечах! Да что нам с тобою препираться, – сказал Мещеряк, – за делом пришли мы к тебе, хочешь толковать – давай поготорим, не хочешь – прощай, и без тебя обойдемся.

– Говорю, не знаю, какое у нас с вами дело может быть.

– Коли есть охота слушать, так узнаешь, когда я скажу, – произнес Кольцо.

– Ну, говори, что за дело?

– Вишь, оно в чем: надоело нам с атаманом разбойным делом заниматься, прискучило. А Мещеряк нам порассказал

про твои земли, что житье у вас вольное, свободное, одна лиха беда – соседи дикие вас обижают, так атаман так и решил – ударить вам челом. Дайте нам земли, избушки, хозяйство, питаться было бы чем, жить у вас мы будем смиренно, тревожить никого не станем, а коли придется поразделаться с вогуличами там аль с остяками какими, так мы охулки на руку уж не положим, поразведемся как след. Одно слово, оберегать вас будем, словно бы войско какое, и нам и вам будет хорошо. Так вот и все дело.

– А много ли вас всех-то? – спросил Строганов.

– Маленько нас потрепали, уполовинили было, ну да дорогой народу прибавилось, сот пять есть наверняка!

Строганов задумался. Предложение Кольца совпадало с его собственным желанием, но грамота, опала царская сильно смущали его; быть может, он и согласился бы на предложение, но брат находился в отсутствии, а без него он не решился дать положительный ответ.

– Что же, купец, задумался? Коли согласен, так ударим по рукам, думать нечего, указывай землю, мы прямо и пойдем туда.

– Согласиться-то я бы согласился, добрый молодец, одна беда – согласиться-то нельзя: запрещено нам держать вольницу.

– А кто тебе сказал, что мы вольница? Были ею прежде, а как сядем на место, тогда как и все будем.

– Погоди маленько, вот к вечеру брат приедет, с ним по-

толкую, а пока будь гостем.

Поздно вечером воротился домой Дементий Григорьевич; не меньше брата обрадовался он известию о приходе Мещеряка, только и ему казалось непонятным, необъяснимым дружба с вожаком разбойничьей шайки. Как он ни старался разъяснить себе это, но никак не мог; хотелось ему увидеть Мещеряка, потолковать с ним, но было уже поздно.

Долго советовались между собой братья Строгановы о предложении Ермака, но ни до чего не договорились и, порешив, что утро вечера мудренее, перед самым рассветом легли спать.

Утро действительно оказалось мудренее. Несмотря на то что Строгановы очень долго раздумывали и колебались принимать у себя вольницу или нет, они все же решили согласиться на предложение Ермака.

– Что ж, – говорил Дементий Григорьевич, – государь опалился бы на нас, коли бы вольница разбойничала, а то ведь будут смирно сидеть, да еще его же людишек оберегать от нападений. А без них мы словно без рук будем: что наши вахлаки сделают? Увидят только остяка – врассыпную и бросятся и пищали побросают, а эти уж одно слово – удалцы!

– Так, значит, с богом? – спросил Григорий Григорьевич.

– Да что же раздумывать! А коли что до Москвы дойдет, так как-нибудь извернемся, отделаемся!

– Ну, так тому и быть!

Позвали Мещеряка с Кольцом и ударили с ними по рукам.

Недолго заставил ждать себя Ермак. Не прошло и трех дней, как полчище казаков появилось на строгановской земле.

Застучали топоры, живо закипела работа, и в какие-нибудь две недели появилось новое село, заселенное бывшими волжскими разбойниками.

Иная жизнь потекла у них: не было того разгула, что прежде, не было и опасности, какой в прежнее время подвергались они чуть не ежеминутно; жизнь потекла тихая, спокойная, многим показалась она в диковинку, но большинство оставалось вполне довольным ею.

Глава десятая. Ермак в Сибири

Не пришлось каяться Строгановым в том, что они приютили у себя казаков. Тишь да благодать на их землях. Проведали бродяги, что у Строгановых сила казацкая явилась, что силою этою заправляет не кто иной, как сам Ермак Тимофеевич, а слава о его удали и молодечестве разнеслась по всей Руси, оставили они в покое Строгановых, бросили грабежи и принялись за остяков. Ермак Тимофеевич же ошибся в своих расчетах: поселясь у Строгановых, он надеялся повести жизнь более деятельную, не такую сидячую, какую привелось вести теперь.

«Этак и обабиться недолго, молодцы-то мои словно сонные стали, ходят как мокрые курицы. Известно, засиделись,

заскучили, поразмяться бы им маленько нужно было, хотя бы бродяги какие явились... Опять, что за житье на подножном корму; покой, правда, да и только, а на кой он нам прах», – раздумывал Ермак.

Несмотря на ласку и привет Строгановых, нередко Ермак Тимофеевич ходил сам не свой, нестерпимая тоска начала одолевать его. Действительно, покойная, ничем не нарушаемая жизнь была в тяготу ему. Не было у него ни малейшей охоты возвращаться к прежней жизни, разгульной на Волге, но при воспоминании о ней лицо его прояснялось, он делался оживленнее, но проходили воспоминания, и снова тучи пробегали по лицу Ермака.

Не менее тосковал и Кольцо; давно уже он заметил грусть атамана, закручинился и сам. Кручина вожаков казацких не могла пройти не замеченной и Строгановыми.

«Не задумали ли они уйти от нас? – с тревогой спрашивали они себя. – Избави бог, уйдут, тогда беда, при них вот сколько времени никто к нам не показывается в гости, а без них, того и гляди, нагрянут!»

И еще приветливее стали именитые купцы к казакам, не знали, чем и ублажить их, забыли и про опалу царскую.

Только, видно, пословица правду говорит: «Сколько волка не корми, он все в лес глядит».

Тут и меж казаками разговор пошел, и им невтерпеж стало мирное житье. Некоторые надумали назад махнуть, на Волгу, снова приняться за прежнее житье – за разбой.

– Что ж тут делать! – говорили они. – От тоски околеешь, да и не совсем так вышло, как атаман обещал, насулил он нам золотых гор, соболей, казны и всякой всячины, а на деле-то ничего и не вышло, да и сам-то он день-деньской словно филин какой ходит.

– Махнуть бы назад, на Волгу!

– А коли атаман не пойдет?

– Одни дороги не найдем, что ли?

– Дорогу-то найти найдем, только что проку-то без него будет?

– Другого себе в атаманы изберем.

– Было бы из кого избирать! Ведь бывало, имя его только услышат, так бегут уже.

– А по-моему, кто хочет, тот оставайся тут да кисни, а кому надоело, тот и в путь.

– А знаешь, что у нас за такие речи бывало?

– Что бывало-то?

– А то, воткнут тебя в мешок с камнями да на дно быстрой реченьки и спустят, вот что!

– Ну, всех-то не спустят.

– Что ж, спрашиваться, что ли, будут? Таких-то, как ты, много ли найдется?

– Так что ж теперь делать, ведь не один я, а многие шли за делом. Кричали: «Ермак, Ермак», ну и мы пошли, а тут и делов-то, как вижу я, никаких нет. Ну, значит, нечего здесь сидеть.

– Нет, у нас это не водится, нужно сначала атаману сказать, а там как круг порешит, так тому и быть!

– Да, впору и атаману говорить, тошнехонько так-то сидеть сложа руки, да и невыгодно!

– Греха нечего таить, скучненько.

– Соберу несколько человек да и скажу атаману, не на то мы к нему приставали.

– Твое дело!

Разговор прекратился, и казаки разошлись в разные стороны...

Наступил вечер, темный, безлунный, только звезды мерцали в темном небе; казацкая слобода погрузилась в сон, ни в одной избе не было видно огонька. Только в большой избе Ермака Тимофеевича мерцала свеча. В избе одевался атаман; с ним вместе был и Кольцо.

Ермак надел пояс, заткнул за него нож и пистолет, предварительно осмотрев последний.

– Не пойму, зачем это мы понадобились им? – говорил атаман.

– Сам никак не могу смекнуть; тебя-то не было, прибежал холоп, задыхается: зовут, говорит, сейчас же, дело важное есть, минутки терять нельзя. Я его спрашивать, что за дело такое? Говорит, что хозяйских делов не знает.

– Из Москвы, может, какую весть получили об нас!

– Кто их ведает, только какие же об нас могут быть вести? Живем мы смирно, никого не трогаем, про нас уж, чай, и

забыли совсем!

– Ну, не говори, Иван Иванович. Царь делов наших не забудет, а тут, сам знаешь, сколько благоприятелей у Строгановых – найдутся охотники и на донос! – проговорил Ермак, выходя с Кольцом из избы.

Они отправились к строгановским хоромам; путь был неблизкий, но казаки привыкли ходить по этой дороге, знали ее хорошо.

– Экая ноченька-то, – произнес Кольцо, – хоть глаз выколи, в двух шагах ничего не видать.

– Да, в прежнее время нам такая ночь несподручна бы была, того и гляди, своих бы колотить начали.

– От пищалей все-таки свет бы был.

Ермак засмеялся:

– Уж свет нашел, а как свалка...

Вдруг голос его оборвался, он остановился, схватил за руку Кольцо и начал прислушиваться.

– Что ты, Ермак Тимофеевич? – спросил его тихо Кольцо.

– погоди! – шепотом отвечал Ермак. – Ты ничего не слышал?

– Ничего, все тихо...

– Ну, не совсем; погоди маленько, мне послышалось – лошадь заржала.

– Что ж мудреного, у Строгановых мало ли лошадей.

– Не в той, Иван Иванович, стороне ржала она, а позади, ты сам знаешь, что у нас в слободе ни одной лошади нет.

– Знать, тебе, Ермак Тимофеевич, почудилось, откуда тут лошадь заржет, вишь, на сколько верст степь.

– То-то и чудно! Только я хорошо слышал, да вот прислушайся.

Кольцо насторожил уши.

– И впрямь, словно топот, только больно тихо что-то.

– Погодим маленько, сдается мне, что неладное творится. Топот слышался все ближе и ближе, но какой-то странный, осторожный.

– Говорю – неладное, знаю теперь, что за штука, – шептал Ермак, – копыта-то у лошади обвязаны, чтобы не так слышно было.

Наконец послышалось фыркание лошади. Ермак быстро отскочил в сторону, потянув за собою Кольцо.

– Нишкни! – чуть слышно прошептал он. – Может, недруг – свой с хитростями не поедет!

Он впился глазами в дорогу, но на ней ничего не было видно, только топот слышался явственнее да фыркание лошади.

Вскоре на дороге, в нескольких шагах, показалась черная тень; не было сомнения, что едет всадник.

Ермак с Кольцом затаили дыхание и присели на корточки.

Лошадь была всего в двух шагах. Ермак в одно мгновение очутился около нее, и всадник не успел опомниться, как уже лежал на земле под Ермаком, Кольцо тем временем взял под уздцы лошадь.

– Кто такой будешь? – спросил незнакомца Ермак.

Тот молчал.

– Эге, видно, и правду недруг! Говори же – кто, не то тут и останешься, – продолжал Ермак, сдавливая ему горло.

Незнакомец что-то залепетал.

– Черт его разберет, он не по-нашенски что-то бормочет, – пробормотал Ермак.

– А копыта-то впрямь обмотаны, – заметил Кольцо.

– Что нам с ним делать-то, ведь не без умыслов явился! – раздумчиво проговорил Ермак.

– Воротиться в слободу – проку никакого не выйдет: наши ни один по-ихнему не разумеет.

– Это-то правда, так нужно в хоромы скорей, благо, есть лошадь! А там уж узнают, что за птица!

– Как же втроем-то на лошади? – спросил Кольцо.

– Ухитримся, а лошадь, черт не возьмет, околеет, туда и дорога!

– Не вернуться ли мне, атаман?

– Как вернуться, куда?

– Да в слободу, ведь там теперя все спят, а коли этот поганый явился, так небось не один. Не было бы беды какой, а я ворочусь да молодцов побужу.

– Дело, Иван Иванович, ступай с богом, а я мигом обернусь, мне бы только узнать, какое там дело, да вот от этого барана поразведать.

Кольцо повернулся назад и спешными шагами пустился к

слободе.

Ермак, сняв с себя пояс, скрутил руки незнакомцу, повалил его перед собою на лошадь, вскочил в седло и помчался к Строгановым.

Вот уже блеснули огоньки в окнах хором. Во дворе услышали топот и немало встревожились: верхового они не ждали.

– Кто там? – окликнули из-за ворот.

– Отпирайте скорей, некогда тут растабарывать.

– Да ты кто будешь-то?

– Ермак! Отпирайте скорей!

– Ермак Тимофеевич к нам пешком ходит! – послышался ответ.

– Да отпирайте же, дьяволы, коли вам говорят, не то скажу хозяевам, так шкуру со спины спустят.

– Погоди маленько, поспрошаем!

Наконец по двору замелькали огни, забегали холопы, опустили подъемный мост. Как вихрем влетел во двор Ермак, наградив по дороге нескольких холопов зуботычинами.

Свалив своего пленника наземь, он соскочил с лошади.

– Смотрите, дурня этого крепко держите! – обратился он к холопам и побежал в хоромы, где его встретил Дементий Григорьевич.

– Беда, голубчик Ермак Тимофеевич, беда грозит, – встретил тот Ермака.

– Что за беда, какая?

– Сегодня в степи видели нескольких татар, а они задаром не явятся, того и гляди, слободу, а то и несколько разнесут.

– Так вот оно что! Значит, я татарина изловил...

– Какого татарина, где? – перебил Строганов.

– А вот тут на полдороге к тебе, теперь у тебя на дворе валяется, поспросить бы его как следовало. Хотел я его к себе в слободу тащить, да у меня никто речей его не поймет!

– У меня есть толмачи!

– Так прикажи его сюда привести, здесь и допытаемся от него чего-нибудь.

Строганов приказал привести татарина.

– А ты, Дементий Григорьевич, все-таки неладно сделал, – начал Ермак.

– Что такое, Ермак Тимофеевич? – тревожно спросил его Строганов.

– Как что? Сам говоришь, неподалечку они разъезжали! Вместо того чтобы прямо мне сказать, ты к себе зовешь, а что я у тебя здесь сделаю? Теперь меня там нет, молодцы мои все спят, а ну-ка они нападут? Ведь сонный человек что мертвый; всех, пожалуй, перережут; а прислал бы сказать, может, мы и сами пошли бы к ним навстречу, благо, молодцы позасиделись, поразмяться им не мешало бы.

– Что делать, Ермак Тимофеевич, опростоволосился, – сознался Строганов.

Привели татарина; это был приземистый, мускулистый человек; глаза его тревожно бегали по сторонам: видимо было,

что он напуган.

Позвали толмача и начали допрос.

– Откуда ты явился? – спросил Ермак. – Да смотри, говори правду, не то на веревке вздернем!

Толмач перевел татарину речь Ермака; пленник еще более испугался и забормотал что-то.

– Что это он там бормочет?

– Говорит, что всю правду скажет, только бы худа ему не было!

– Ну и ладно, сказывай откуда?

– Из-за Каменного пояса, из Сибири.

– Вона откуда тебя принесло! А зачем пожаловал?

– Не по своей воле.

– А по чьей же?

– Епанча послал сюда.

– Кто это такой Епанча?

– Князь наш.

– Зачем же он послал тебя?

– Не одного меня, нас много.

– А сколько же вас будет?

– Много, ох много.

– Зачем же вы сюда явились?

– На разживу.

Строганов и Ермак переглянулись.

– Далеко вы остановились?

– Да на ночь, вот тут близко.

– Что же, нынче, что ли, хотели приниматься за разживу?

– Нынче, бачка, нынче.

– Ну, надо поспешить, – обратился Ермак к Строганову, – прикажи-ка, Дементий Григорьевич, коня мне дать какого получше, а то ведь пешком не поспеешь.

– Возьми, Ермак Тимофеевич, провожатых, а то одному опасно.

Ермак усмехнулся:

– Да уж и провожатые твои! Пускай уж лучше дома остаются, а то с ними грех только один.

– Как знаешь!

– Один-то я скорее доберусь.

Строганов приказал оседлать лошадь.

– А зачем, – обратился снова Ермак к татарину, – ты копыта лошади обмотал?

– Чтоб не слышать было, как проеду.

– Так! А зачем же это пробирался сюда?

– Хоромы мне велели поджечь, тогда бы и напали остальные.

– Так вот вы какие молодцы! А я тебе вот что скажу, Дементий Григорьевич, поджигатель наш благодаря нам позамешкался, а татарве ждать некогда, вишь, какая она храбрая – по ночам только нападает, а станет им невтерпез дожидаться, пожалуй, и другого пошлют. Велика ты кругом двора костры разложить да пушки выкатить, коли вздумают нападать, при свете-то удобнее их будет шарахнуть.

– Пушки заряжены, а за совет спасибо, Ермак Тимофеевич.

В это время багровый свет ворвался в окна хором. Ермак бросился к окну и остолбенел.

– Слободу нашу зажгли, дьяволы! – закричал он. – Гляди, не выпускай татарина! – прибавил он, выбегая на двор.

Как вихрь вскочил на коня и помчался Ермак по дороге в слободу. Дорога ярко была освещена, две или три казачьих избы были все в огне, дым высоко багровыми клубами поднимался вверх. Можно было различить мелькавшие тени; глухой шум стоял от треска огня и людских голосов.

Ермак, стиснув зубы, подгонял коня. Наконец перед ним мелькнул длинный ряд огней, и затем грянул ружейный залп. Атаман повеселел.

– Успел, Иван Иванович, спасибо! – крикнул он, мчась по слободской улице.

Избы горели на самом краю слободы, казаки, стоя в тени, стреляли в темневшую за околицей массу, из которой летели тучи стрел.

Ермак подлетел к своим.

– Спасибо, братцы, что вовремя встали. Теперь за мной вперед, на эту погань нечего тратить зарядов, примем их лучше в сабли, – проговорил Ермак, слезая с коня и бросаясь вперед. За ним, выхватив сабли, кинулись казаки.

Татары, смятые казаками, дрогнули, смешались. Они никак не ожидали такого отпора.

Прежде всего их поразил ружейный залп, которого они не слыхивали отроду; теперь сопротивляться им было не под силу, но, ожесточенные, они лезли на казаков, разбившись на части. Схватка продолжалась более часу; небо начало белеть, как вдруг грянул удар грома. Татары остолбенели, целый ряд их покатылся на землю.

Сначала и Ермак не понял, в чем дело, но громовой удар повторился снова, снова легло много татар, остальные попятились назад. Ермак взглянул в сторону – там стояла пушка.

– Ай да Григорьич, спасибо тебе за догадку, – крикнул Ермак.

Грянул третий залп, и татары, как стадо баранов, шархнули назад.

– Вдогонку, ребята! – скомандовал Ермак.

Казаки пустились в погоню, татары бросились врассыпную.

– Валяй их вдогонку пулями! – командовал Ермак. Снова защелкали меткие казацкие выстрелы, и снова повалились бежавшие татары. Блеснули первые лучи солнца, когда казаки прекратили преследование: в степи не оставалось ни одного живого татарина.

Приближаясь к слободе, Ермак заметил толпу людей. Впереди стоял Григорий Строганов с образом в руках, рядом с ним Дементий с хлебом и солью, сзади теснились холопы.

При появлении казаков Строгановы отвесили Ермаку поясной поклон; тем же отвечал и Ермак.

– Челом бьем тебе, Ермак Тимофеевич, не будь тебя, не миновать бы беды неминучей! – говорили Строгановы, обнимаясь с Ермаком.

– Ну, не совсем, Дементий Григорьевич, – отвечал Ермак, – не будь твоей пушки, немало бы еще возни было бы с ними, окаянными.

– Пушки-то мало бы помогли, кабы не ваша молодецкая удаля, а теперь откушай хлеба-соли, все приготовлено в твоей избе, и твоим молодцам тоже.

Направились к избе Ермака.

– Ну, теперь не скоро они явятся – проучены хорошо, – говорил Григорий Григорьевич.

– А все-таки могут явиться! – заметил Ермак. – Вот кабы... – начал было он и остановился.

– Что такое? – спросили в один голос Строгановы.

– Да что? Нашли они к нам дорогу, отчего же и нам не найти к ним?

– К ним-то дорога известна.

– Так тем и лучше! Пощупать этого самого Епанчу, выгнать его, а самим и засесть там.

– Да у нас и грамота есть на сибирские земли, царь пожаловал нам их.

Ермак усмехнулся:

– Что ваша грамота, я вот вам весь свет подарю, подите, возьмите его. Мало ли что царь подарил вам, нешто это его земля; а ее нужно завоевать сперва, тогда и называть своей!

– Да поди завоюй ее, народищу-то там сколько!

– Народ что, с народом справиться можно!

– Опять же царь за это по головке не погладит.

– А царю что ж... если завоюем, ему же лишние земли

достанутся.

– А ты бы пошел воевать?

– С радостью, только запасов давайте.

Строгановы задумались.

– Дело-то хорошее бы было, только без тебя-то трудненько нам будет.

– Жили ж и без меня, проживете и еще, а управлюсь с татарвой, ворочусь назад к вам, все, что и возьму-то, назад ворочу.

– Ох, справишься ли?

– Да уж это не ваша забота! Зато татары больше носа не покажут, подневольные наши будут, будем с них дань брать!

– А с них есть что взять, одних мехов сколько!

– То-то и оно! Так по рукам, что ль?

– Была не была!

Ударили по рукам, и закипела со следующего утра работа: челны, как блины, строились ежедневно.

Глава одиннадцатая. В глушь Сибирскую

Запестрела Чусовая-река челнами, словно Волга-матушка; никогда не видала эта река на себе столько челнов сразу,

как теперь, не видали ее воды и того, что творилось теперь на ее берегу.

А на берегу происходило что-то необыкновенное. Пятисот сорок человек стояли с открытой головой перед временно устроенным иконостасом, уставленным образами, три по па служили напутственный молебен. Усердно молился народ, кладя земные поклоны, но никто не молился усерднее четырех человек: двух братьев Строгановых, Ермака Тимофеевича да Ивана Ивановича Кольцо. Бог весть, какие у каждого из них были мысли в голове, только искренняя молитва рвалась из души каждого.

Молебен кончился, стали подходить к кресту. Первый подошел Ермак, затем Строгановы, Кольцо и наконец, один за другим, казаки.

– Иван Иванович, как приложатся все ко кресту, собери, голубчик, тогда круг! – обратился Ермак к Кольцу, отводя его в сторону.

– Ладно, атаман! – отвечал Кольцо, отходя к казакам.

Ермак направился к стоявшим в стороне Строгановым.

– Ну, вот сейчас и распрощаемся с вами! – сказал он, подходя к братьям.

– Так-то так, Ермак Тимофеевич, – отвечал Дементий Строганов, – только добрый ли час затеял ты для выезда?

– А что?

– Знаешь, какой нынче день? Ведь ноне первое сентября, Новый год.

– Ну, что ж? С Нового года и новое дело, на что лучше? – весело отвечал Ермак.

– А погляди-ка вон в ту сторону, ничего не заметишь? – заговорил Григорий, указывая рукою на север.

Ермак начал всматриваться в степь. Вдали едва виднелось несколько точек.

– Дичь какая-то, – проговорил он.

Строгановы невольно засмеялись.

– Дичь-то дичь, только какая?! – промолвил Григорий.

Ермак поглядел на него:

– Какая же?

– Соседняя! Это – вогуличи или остяки, отсюда не разберешь, давно уж мы их не видали, с тех пор как ты у нас.

– Что ж это они нынче расходились?

– А то, что остался бы ты на денек, на два у нас.

– Зачем же это?

– Заступился бы, а то, того и гляди, налетят эти соколы да разнесут все до ниточки.

– Ну, вот выдумал что! Сколько времени не нападали, а нынче нападут.

– Не нападали потому, что знали про тебя.

– А откуда они знают, что меня нет?

– А нешто они сборов не видали? Это ведь шельмовой народ!

– Поверьте, ничего не будет, а откладывать отъезд нехотити. Сами сказали, что ноне Новый год: отложим дело, так

весь год и придется откладывать.

– Право, Ермак Тимофеевич, остался бы! – просил Строганов.

– Нет, что хотите, только не это, не то мои молодцы закручинятся, а закручинились они – беда!

В это время круг уже собрался. Ермак пошел по рядам.

– С Новым годом вас, добры молодцы! – приветствовал он свою дружину, сняв шапку. – Дай бог, в добрый час дело зачать, а дело доброе. Много мы виноваты перед Богом, царем и людьми добрыми, загладим свою вину, искупим грех. Теперь в последний раз скажу вам: всякий волен идти со мной или здесь остаться, время еще не ушло, пока не двинулись в путь!

– Все за тобой, атаман, пойдем! – слышались голоса.

– Только, чур, не пенять потом. Жить мы будем не так, как жили на Волге, на святое дело идем, не на разбой, потому и исполнять строго, что мною приказано: безобразий и пьянства чтобы у нас не было! Коли согласны, так пойдемте, а нет, тогда и идти нечего!

– Согласны, пойдем, что толковать! – кричали казаки.

– А коли так, так с богом, валяй в челны и в путь. Батьки, – обратился он к попам, – вы с образами ступайте вперед!

Торжественно двинулись казаки, предшествуемые священниками с образами.

Весело шли казаки, лица их сияли, с любовью глядели они на реку, на челны, все это напоминало им прежнюю жизнь.

– Ну, молодцы, дружно в путь, с богом! – скомандовал Ермак. – Прощайте! – обратился он к Строгановым.

Те сняли шапки и поклонились.

– Дай бог час добрый! – напутствовали они отплывающих казаков.

Весла дружно поднялись на всех челнах и опустились в воду.

– Кланяйся кормилице матушке-Волге! – проговорили многие казаки, глядя на быстро катящиеся волны реки.

– А поздненько-таки мы собрались, Ермак Тимофеевич, в путь, – заговорил Кольцо. – Дорога дальняя, а сам знаешь, как рано здесь начинается зима, недалеко уедем мы по такой быстрине.

– Что ж, дело наше не к спеху, с татарами еще успеем подраться, а признаться, мне уж больно хотелось вырваться от Строгановых: грех слово молвить, люди они хорошие, только жить у них надоело, просто одурь какая-то взяла.

– Да, грех таить нечего, прискучило изрядно, а вот теперь словно другим человеком стал, как почувал под собой воду, словно переродился, так и пахнуло старым на меня!

– Что говорить! Казака, знать, в котле не вываришь: без воды да волюшки, как рыбе без воды, не жить ему.

А челны хоть и медленно, а двигались вперед, и издали была видна на берегу кучка людей, не трогавшихся с места. Это стояли Строгановы со своими холопами и пристально глядели вслед на исчезающие челны.

– А невесело им без нас-то будет! – промолвил Кольцо, указывая головой на стоявших. – Жалко небось нас, вишь, до сих пор стоят!

– Бог их знает, жалко или нет, только без нас им плохо придется, может, об этом и тужат. Вон и ноне, уехать мы не успели, как зверье уже показалось.

– Видел и я, да, вправду сказать, промолчал, тревожить никого не хотел.

– Чего тревожить, они и сами увидали их, просили остаться хоть на один денек.

– Ну, уж это зачем их баловать! – засмеялся Кольцо.

– Известно, я отказался, только по-настоящему остаться бы надо было. Сам знаешь, что за народец, показался он недаром, наверное, на грабеж явились.

– Известно, не без этого.

– То-то и оно; все равно мы по такой быстрине не больно далеко уедем, придется на ночевку к берегу причалить, мест здесь не знаем, а люди-то, как умаются, уснут как убитые.

– Дело известное! – подтвердил Кольцо.

– А зверье это прямо не нападает, выследит да и грянет на сонных; долго ли перерезать?

– Ну, этого им не удастся, это ведь не дома заснуть, чай, караульных поставим.

– А что караульные-то поделают? Усталого да сонного человека пушкой не поднимешь!

– Э, полно, атаман, нападут, так разделаемся не хуже, чем

с татарами.

Вечерело; оба берега покрыты были густым лесом.

– Точно Волга-матушка! – говорили казаки.

– Волга! Тех же щей, да пожиже влей. Вишь, Волгу нашел, нешто та такая? Да из нее, матушки, три Чусовых в ширину выйдет, а в длину и не перечесть сколько!

Между прибрежными кустами показалась какая-то фигура; она шла в том же направлении, что плыли и казаки. Последние начали всматриваться в нее.

– Гляди, какое чудище плетется!

– Какое чудище, поп словно!

– Откуда здесь попу взяться?

– Мало ли их где шатается!

Один из челнов с казаками начал приближаться к берегу. Вскоре он причалил, и казаки залегли в кустах. Недолго им пришлось поджидать заинтересовавшую их фигуру. Вблизи куста появился монах.

– Благослови, отче святой! – обратились к нему казаки.

Монах оторопел, отскочил назад и хотел пуститься наутек. Он давно уже заметил челны и старался незаметно пробраться кустами, предполагая в казаках разбойников, а те неожиданно выросли перед ним.

– Чур меня, наше место свято! – забормотал он.

– Да ты не бойся, мы не лешие, люди добрые, только чудно нам показалось, зачем это ты путаешься здесь?

– Ради спасения души! – отвечал, немного ободрившись,

монах.

– Какое тут спасение? Того и гляди, попадешься к какому-нибудь лешему в лапы, голову снимут.

– За что мне, убогому, снимать-то ее?

– А хочешь с нами ехать?

– А вы куда путь держите?

– А про то наш атаман знает!

– Коли вы люди добрые, худа со мной не сделаете, так что ж – мне все едино.

– Зачем нам худо с тобой творить!

– Ты почто это народ-то набираешь? Гляди, атаман, пожалуй, за это спасибо не скажет! – заметил один казак другому.

– А что атаман, ему нешто лишний человек помешает?

– Да ведь он монах, на кой он нам? У нас и так три попа!

– Зато монаха нет, атаман еще спасибо скажет!

– В реку спустит.

– Э, да что толковать, садись, отче, в челн, на привал приедем, атамана спросим.

Монах нерешительно направился к челну.

– А ты, отче, откуда будешь?

– Из Соловок, братия!

– Сам ушел аль прогнали?

– Бежал, братия, не по плоти работа!

– Так!

В это время в воздухе что-то просвистело и шлепнулось в воду.

– Вот оказия, что бы это было?

– Должно, рыба!

– Какая же это рыба свистит?

Послышался снова свист, и стрела впиалась в лодку.

– Вона, какая штука!

Один казак вдруг вскинул на руку ружье, грянул выстрел, и мертвый остяк скатился в воду.

Глава двенадцатая. Ночная стычка

Беспокойно провели ночь казаки. Несколько раз они вскакивали по сигналу часовых.

Для ночлега Ермак нарочно выбрал большую поляну. Лес всегда мог укрыть неприятеля. На открытой же местности подкрасться было несравненно труднее, и Ермак не ошибся в расчете.

Измученные с непривычки после долгой сидячей жизни казаки рады были привалу, и едва запылали костры, как большая половина их повалилась наземь и уснула; остальные тоже не заставили себя долго ждать – им было не до ужина.

Ярко освещали костры поляну и сидевших на некотором расстоянии от стана караульных. Все спало мертвым сном, только лес, окружавший поляну, глухо шумел, словно выражал свое неудовольствие за нарушенный покой.

Сначала караульные бодрились, прохаживаясь взад и вперед, но усталость начала брать свое, глаза невольно слипа-

лись, все члены отяжелели, некоторые из караульных не выдержали и присели; скоро дремота стала совершенно одолевать их.

– И чего здесь караулить? – рассуждал один чуть ли не вслух, стараясь разогнать сон. – Чего караулить? От кого? Тут небось и человека-то никогда не бывало, звери одни и есть тут, да нешто они пойдут на огонь, вишь, как светло, днем точно. Так только зря народ беспокоят. А хорошо бы было теперь уснуть, куда хорошо бы. – И он будто в доказательство клюнул носом, затем голова его свесилась на грудь, и послышался легкий храп.

Но тут же казак встрепенулся.

– Эх меня разобрало! – проворчал он с досадой, протирая глаза. – Хорош караульный тоже! Звери не звери, а черт его знает, что может быть. Нет, уж лучше поразмяться маленько, – порешил он, желая подняться; но вдруг замер на месте и уставился глазами на опушку леса. Там что-то ярко блеснуло.

Блеск показался в другом, третьем месте.

«Что бы это такое было? – невольно пронеслось у него в голове. – Уж не леший ли шутит надо мной!» – думал он, не без робости оглядываясь кругом.

Товарищи его по караулу чуть ли не все дремали.

– О, чтоб вам пусто было! – проворчал он.

На земле вдали показалась какая-то тень; казак впился в нее глазами, он теперь боялся пошевелиться и на всякий слу-

чай приготовил ружье.

Тень между тем хотя и медленно, но продвигалась вперед, по направлению к казацкому стану.

– Чур меня, чур! – шептал казак, но, нечаянно взглянув в сторону, заметил, что таких теней было несколько.

«Э, дело-то неладно, это не старые ли приятели татары посчитаться хотят?» – подумал он.

– Ну-кася попробую; коли леший, так с ним ничего не поделаешь, а коли ворог какой, так авось откликнется, – говорил он, прицеливаясь.

Грянул выстрел, остальные караульные встрепенулись и, не зная зачем, тоже выпустили по залпу.

Страшный гул пронесся от выстрелов по лесу, и поляна сразу оживилась. Разбуженные казаки повскакали на ноги и схватились за ружья; ползущие по земле тени, вскочив с земли, бросились без оглядки в лес.

– Вот она штука-то, – весело воскликнул казак, произведший тревогу, – давно бы пультнуть мне, все веселее бы было, теперь небось и смена сейчас будет.

Ермак между тем допытывался о причине тревоги и никак не мог добиться толку.

– Зачем ты стрелял? – спрашивал он, подходя поочередно к караульным.

– Да я выстрел услышал и сам выстрелил...

– Кто же первый выстрелил?

– Не знаю, надо полагать, там дальше кто!

Наконец он добрался до виновника тревоги.

– Ты, что ли, стрелял? – спросил его Ермак.

– Я, атаман.

– В кого же?

– Не знаю, тут их, кажись, не один был.

– Да кто был-то?

– А прах их знает! Может, леший, а может, и другой кто, а все поглядеть надо – я ловко прицелился; да вон он и темнеет, знать, угодил.

Ермак направился к темневшему на земле силуэту.

– Атаман, стой, погоди! – остановил его казак.

– Тебе что? – спросил тот его.

– Захвати и меня с собой, а то, не ровен час, черт его знает, кто там лежит.

– Пожалуй, пойдем, коли есть охота.

Они прошли шагов пятьдесят и наткнулись на труп, который лежал ничком; голова уперлась лицом в землю; в руках был натянутый со вложенной стрелой лук.

– Однако ты его угостил вовремя!

– И то, вишь, чем он хотел в меня пустить!

– Ты говоришь, их много было?

– Да спервоначала я вот этого одного увидал, гляжу, ползет что-то, я с него глаз и не спускал, а там глянул нечаянно в сторону, а они в разных местах, словно кочки какие, ну и я тарарахнул, да те-то, должно, убежали.

Ермак, выслушав, отправился в стан.

– Нужно, Иван Иванович, побольше костров развести, – обратился он к Кольцу, – да караул усилить, на нас хотели напасть.

– Кто?

– Да не знаю, лежит вот там один убитый, только я таких отродясь не видывал!

– Дай-кась, атаман, я схожу поглядеть, – вызвался под-вернувшийся Мещеряк, – я всех ведь знаю.

– Да что проку-то будет из этого?

– Вот погляжу, а там будет видно: спать нам ложиться аль за что другое приниматься.

– Сходи, пожалуй.

Мещеряк отправился и скоро возвратился назад.

– Остяк! Народ это скверный! – проговорил он, подходя к атаману.

– Чем?

– Самый скверный, ехидный!

– Так что же теперь делать с ними?

– Прежде всего, атаман, надо за лодками присмотреть.

– Да там двадцать человек моих!

– А их, может, двести, они всегда толпой таскаются.

– И по-моему, Ермак Тимофеевич, не мешало бы туда по-слать побольше народу, ведь без челнов нам шагу нельзя сде-лать, там ведь и запасы наши все, – вмешался Кольцо.

– Ну, будь по-вашему, – согласился Ермак.

– Только поскорей, а то остяки, может, уже рыщут, отыс-

кивая челны, – нетерпеливо говорил Мещеряк.

– Так возьми человек пятьдесят да и ступай с ними.

– Нет, уж туда пускай идет кто другой, а я здесь нужен буду.

– Что же тебе здесь-то делать?

– Говорю, они народ ехидный: услышали выстрелы и спрятались здесь же где-нибудь, а как тревога-то поутихнет, они пожалуют, только уж похитрей.

– А нешто мы перехитрить не сумеем? Чай, не глупее их! – засмеялся Ермак. – И вот что, Иван Иванович, я раздумал костры разводить, да и эти-то притушить не мешает, разве только один оставить.

Кольцо и Мещеряк взглянули на атамана с недоумением.

– Да ведь без огня-то мы и не увидим, как они подкрадутся к нам.

– Без огня-то мы их лучше подстережем.

Кольцо, ничего не понимая, отправился передать казакам приказание Ермака. Мещеряк стоял и почесывал затылок.

– Ступай-ка с богом к лодкам, возьми с собой молодцов! – обратился к нему атаман.

– Твоя воля, – отвечал тот.

Костры были потушены, оставался только один, слабо освещавший стоянку казаков.

Ермак пошел по лагерю, отыскивая Кольцо.

– А, вот ты где, Иван Иванович! – окликнул он его, подходя к группе казаков, с которыми стоял Кольцо. – Дело к

тебе есть, – прибавил он.

Кольцо отошел в сторону.

– Что за дело? – спросил он атамана.

– Мещеряк хорошо знает этих зверей, пожалуй, его и правда, что они выжидают, пока мы успокоимся, чтобы снова нагрянуть, так нужно будет упредить их.

– Как же, атаман, мы их упредим в лесу-то? Их здесь самый лучший не найдет, да еще в темноте такой!

– Зачем в лесу? Мы с тобой возьмем молодцов, разойдемся в разные стороны да и заляжем. Как только они из лесу покажутся, так мы и встретим их по-приятельски, я и огни-то нарочно приказал потушить, чтобы незаметно было, как отправимся.

Долго не мешкал атаман. С несколькими десятками казаков пробрался он почти к самой опушке и залег. То же проделал и Кольцо, только с противоположной стороны поляны. В стане снова все утихло; оставшиеся там казаки завалились спать; костер слабо освещал лагерь. Прошло более часа; ничто не нарушало тишины.

«Нет, знать, выстрелов перепугались! – подумал Ермак. – Должно, сбежали, а жаль, поучить бы их маленько следовало, чтоб в другой раз поумнее были».

Прошло еще некоторое время, Ермак начинал терять терпение.

В это время в лесу, недалеко от опушки, раздался треск сучка. Ермак наострил уши, но опять все замерло.

Атаман приложился ухом к земле и стал прислушиваться. Немного спустя он шепотом передал приказание лежавшему с ним рядом казаку приготовить ружье. Он явственно услышал многочисленные шаги. Прошло еще несколько минут, и при едва заметном отблеске от костра показались тихо двигавшиеся фигуры.

Вот они вышли на опушку, с каждой минутой число их росло, они находились в нескольких саженьях от казаков.

Вдруг грянул залп. Остяки остолбенели от неожиданности; прошло несколько мгновений – раздался второй залп. Перепуганные и растерянные, остяки бросились врассыпную, попадая под меткие удары казаков...

Глава тринадцатая. В пещерах

Прошло бабье лето, а с ним ушла и ясная, теплая погода, загуляли по небу свинцовые тучи, заморосил мелкий, как из сита, дождик, пронизывающий до костей, изменилась и природа: лес, похоже, и не бывал никогда здесь, висят только голые скалы по обеим сторонам реки, словно сжимая ее и не давая ей волюшки разлиться в стороны. И еще быстрее, бурливее течет в этих местах Чусовая, еще труднее справляться с ней казакам. Житье настало трудное; целый день льет дождь, мочит он и ночью; приютиться негде, разводимые костры не горят, тлеют и чадят только дымом, выедающим глаза. Ни просохнуть, ни согреться не представляется никакой

возможности.

Приуныли казаки, не слышно между ними ни веселого голоса, ни песни, все хмурые да пасмурные.

Невесело на душе и у Ермака, тяжело ему смотреть на своих добрых молодцев, жаль ему их, да что ж поделаешь!

– Коли еще неделька такая постоит, того и гляди, зима станет, – говорилось между казаками.

– Да, что-то мы будем делать; зимой не больно поплывешь!

– Ну, на такой реке и зимой можно долго плыть, вишь, быстрина какая.

– Говорят, с такой быстринной далеко не уедешь; с ней, как с чертом каким, не справишься.

Те же думы одолевали и Ермака с его подручниками Кольцом и Мещеряком.

Последний за свою сметливость, удалство и знание пожалован был есаулом.

– Скоро, Ермак Тимофеевич, и на зимовку станем, – говорил он Ермаку.

Тот только поглядел на него молча.

– Волей-неволей станешь, – произнес он немного спустя, – только не хотелось бы в таком месте, как это, вишь, степь голая кругом. Оно, положим, построим землянки, окопаемся, да что проку-то? Ни тебе леса, ни тебе зверья какого! Чем будешь зимой отапливаться, чем кормиться, запасы-то нужно приберегать, путь дальний... ну-ка не хватит.

– Да, Ермак Тимофеевич, признаться позднеенько мы уехали; кабы с весны, где бы теперь были... – невесело проговорил Кольцо.

– Не тужите, – принялся утешать их Мещеряк, – коли не сегодня, так завтра и лес снова покажется; оно хоть и не дремучий, а все же лес, зато дальше такие леса пойдут, что ни за что не продерешься сквозь них. Значит, и топливо будет, и еда, тут зайцев одних не оберешься.

– Кабы твоими устами да мед пить!

– Уж поверь слову, место-то я хорошо знаю, а насчет тревоги какой, так не могу и думать, сам видишь, сколько времени едем – человека не видим.

– Не видим потому, что научили последний раз знатно, а что до тревоги, так без нее нам скучно.

Мещеряк, как оказалось, действительно знал местность: немного прошло времени, как вдали засинели леса.

– Не правду я, что ль, говорил, атаман? – похвалялся Мещеряк, указывая рукою на темнеющую полосу леса.

– А тебе нешто не верят! – отвечал Ермак.

Было еще светло, солнышко только хотело спрятаться, как по обеим сторонам реки снова зазеленел сосновый лес. Повеселели казаки, озираясь по сторонам.

– Ноне Бог смиловался, – говорили они, – и леском порадовал, да и погодку дал, хоть маленько пообсушились, а то просто беда была!

Неожиданно атаманская лодка начала причаливать к бе-

регу, за ней потянулись другие...

– Ну, вот и добрались мы до зимовки, коли на то твоя воля будет, атаман, – говорил Мещеряк, обращаясь к Ермаку.

– Зимовать-то пора, только бы место подходящее нашлось, – отвечал тот.

– Об этом не тужи, я только помалкивал, а это я место знаю: не раз в нем бывал; о землянках нам и думать нечего, готова такая землянка, лучше и не придумаешь.

– Поглядим, спасибо скажем, коли правда. Только в каком это месте будет, удобно ли челны будет перетащить?

– А вот увидишь, недолго ждать-то.

Пройдя не более десяти минут, Мещеряк остановился.

– Погляди, Ермак Тимофеевич, коли любо это место, так здесь и зазимуем! – проговорил он.

– Да где же здесь зимовать? Тут ущелье какое-то, и землянок нельзя построить, потому как один камень.

– Зачем нам их строить, говорю, готовы, да не одна, а две.

– Да ты рехнулся, что ли? Где же нам в двух землянках поместиться! – с сердцем произнес Ермак.

– Ты, атаман, не серчай, вот погляди в камне эту дыру, а вон напротив и другая.

– Ну, вижу, что ж из этого?

– Так вот это и есть землянки, да такие, что если бы нас вдвое больше было, так и то бы поместились.

– Кто же их устраивал?

– Знать, сам Бог, человеку так-то и не устроить.

Ермак двинулся к одному из черневших отверстий в камне.

– погоди, атаман, – крикнул ему Мещеряк, – так ничего не увидишь, надо с лучиной идти туда.

Зажгли сучья, и несколько человек двинулись в пещеру. Пройдя несколько шагов, они остановились в изумлении.

Перед ними открылся громадный сводчатый зал, стены и потолок которого, покрытые кристаллами, зажглись и засверкали тысячами разноцветных огней от горевших сучьев.

«Да что ж это такое, словно палаты царские!» – пронеслось в голове у каждого.

– Тут напротив и другая такая же есть, только маленько поменьше будет, – объяснил Мещеряк.

– Так мы туда, в меньшую-то, челны да запасы свои сложим, а здесь сами останемся на зиму, кажись, тепло будет, – проговорил Ермак.

– На что теплей, а что касается другой пещеры, так там все поместится, да еще и людям места будет.

Ермак перекрестился и отправился к своим казакам.

– Ну, братья-товарищи, вот мы пока и у места, будет на холоду маяться, зимовка готова, идите в пещеры да костры разводите, а там Богу помолимся да и заживем. Образа-то внесите.

Не прошло и полчаса, как в обеих пещерах запылали костры, и чудное зрелище представилось глазам измученных тяжкою дорогою казаков. Пещеры озарились ослепительным

светом. Несколько казаков устанавливали в виде иконостаса образа; священники и приставший к казакам монах облачились в церковные одежды. Наконец все приготовления закончились, и в первый раз за несколько тысяч лет своды пещеры огласились словами молитвы. Сама обстановка произвела глубокое впечатление на казаков; не было ни одного человека, который не молился бы, во все время всенощной все стояли на коленях. Стоял и Ермак, и его молитва была усерднее всех. Он хорошо сознавал, что вся ответственность за предприятие, за каждого человека лежала всей тяжестью на нем одном, и просил он теперь у Бога помощи. Быстро, как показалось всем, прошла всенощная; нужно было приниматься за обыденную работу. Кашевары установили над кострами котлы и принялись застряпню; остальные осматривали и чистили оружие.

– Иван Иванович! – обратился Ермак к Кольцу. – Завтра хоть и Покров, словно бы и грешно под праздник-то, а все-таки ради новоселья, по-моему, не мешало бы молодцам пожертвовать бочонок зелена вина, ведь они его сколько времени не пробовали. Как ты думаешь, батька, грешно или нет? – прибавил он, обращаясь к подвернувшемуся в это время попу.

– Странствующим и путешествующим разрешается, а поелику мы все находимся в странствии, то само собою разумеется, что чара вина будет душеспасительна.

– Ну а коли разрешается, так и толковать об этом нечего,

пусть себе выпьют во здравие.

Быстро пошла чара по рукам казацким, краской загорелись их лица, вино огнем полилось по жилам, каждый был весел, доволен тем, что может отдохнуть, размять свои измученные члены.

Принялись за ужин, как вдруг у входа в пещеру раздался рев. Сначала казаки всполохнулись, переглядываясь с недоумением, но вскоре раздался веселый неудержимый хохот. Рев повторился еще сильнее, громом перекатился он под сводами пещеры.

– Милости просим, дорогой гость!

– Лохматый черт!

– Мишка косолапый! – слышались с разных сторон голоса.

Грянул меткий выстрел, за ним слышалось хрипение, и все умолкло.

Через минуту громадный медведь лежал среди пещеры.

– Это нам Бог на новоселье послал, вишь, какие окорока будут! – говорил весело казак, принимаясь снимать со зверя шкуру.

– А вход все-таки завалить следует.

Некоторое время спустя казаки улеглись спать.

Глава четырнадцатая. Ночная буря

Недолго пришлось спать Ермаку; проснулся он и спросо-

нья с удивлением огляделся кругом. Он забыл, где находится; чуть горевший костер слабо освещал пещеру, лица спящих казаков. Снаружи доносился какой-то непонятный шум. Внезапно холодный воздух широкой струей ворвался в пещеру и задул последний огонь – наступила темнота, только блестели уголья. Ермак вскочил на ноги. Он не мог понять, что это значит. Самые разнообразные мысли быстро пронеслись в его голове. «Не дикари ли бродят, не ожидать ли их нападения?» – подумалось ему. Осторожно начал он пробираться к выходу, боясь в темноте кого-нибудь задеть и разбудить. Подходя к нему, Ермак едва устоял на ногах: так яростно врывался ветер. Атаман вышел наружу. Небо было черно, как чугун, ветер, казалось, сотрясал ущелье, завывая, как стадо голодных волков; расходившаяся Чусовая ревела диким зверем.

«Ох, не унесло бы челнов наших! – обеспокоенно подумал Ермак. – Не побудить ли молодцов, чтобы перетаскали их на место?»

Несколько минут он простоял в раздумье.

«Где же в такую темь таскать их! – решил он. – Будь уж что будет».

Сильный порыв ветра заставил Ермака вернуться в пещеру. Наспех загородив вход, он подбросил хворосту в еле тлевший костер и улегся на свое место. Но тяжкие раздумья мешали ему заснуть...

Неожиданно Ермаку вспомнились предсказания Власьев-

ны, колдуньи, и он повеселел.

– До сих пор все шло, как она говорила, а коли говорила правду, так все, значит, будет благополучно, а там и венец царский! – засмеялся он. – И чего только старая карга не выдумает – «венец, вишь, Ермак царем будет»...

Прошло часов около двух; сквозь щели загороженного входа начал пробиваться свет, но буря не унималась, и сладко спалось казакам в тепле под свист и вой этой бури.

Наконец рядом с Ермаком потянулся и зевнул Кольцо, потом приподнялся и сел.

– Что, выпался, Иван Иванович? – спросил его Ермак.

– Уж и не помню, когда спалось так знатно, а ты давно ли проснулся?

– Давненько-таки, буря поднялась, загородку нашу свалила, огонь потух. Боюсь за челны, как бы их не унесло!

– Я схожу сейчас, погляжу!

Кольцо встал и вышел.

«Спасибо Мещеряку, – думалось Ермаку, – в хорошее место привел, в землянках совсем не то было бы, да и опасней – здесь все-таки все вместе».

– Ну, вовремя же мы, Ермак Тимофеевич, попали на место! – проговорил вернувшийся Кольцо.

– А что?

– Погляди, какая зима стала – снегу-то чуть не по колено.

– А челны видел, целы? – спросил Ермак.

– Все целы, пересчитал; только что с ними делается –

страсть!

– А что?

– Как щепки в гору так и подбрасывает их; ну уж и реченька, куда бурнее Волги-матушки, волны такие, что и не видывал я никогда.

– А на море-то Хвалынском?

– Так то море, а я про Волгу.

– У той, матушки, шири, простору больше, так чего же ей бушевать, а тут, видишь, река-то как скована!

– Как встанут, – переменял разговор Кольцо, – так за уборку примемся, что ль?

– Да какая же уборка, челны стащить на место, вот и уборка вся.

– А там нужно место все в окружности осмотреть.

– Само собой, надобно же знать, где живешь.

Было уже совсем светло, когда казаки поднялись и принялись за работу. А работа была не из легких – перетаскивать челны с берега в пещеру. Лишь к вечеру управились казаки... К этому же времени была сбита и дверь из бревен.

– Ну, теперь уж мишка в гости не явится больше! – говорили казаки, смеясь.

– А жалко, прежде всего шуба была бы, а там мясо!

Прошла еще ночь, и с раннего утра закипела работа. Застучали топоры в лесу (заготовливалось на зиму топливо), затрещали ружейные выстрелы по разному зверю. Наступил вечер, казаки были оживлены, разговоры их лились рекою,

все были веселы.

– Ну и дичины же, братцы мои, страсть Господня, только стрелять успевай!

– Да, здесь сыты будем!

Снег как выпал, так и остался на всю зиму, только Чусовая долго не замерзала, наконец стала и она. Мороз сковал ее бурные волны.

И потянулась день за днем зима со своими короткими днями и длинными ночами. Но казаки были веселы, довольны, собираясь с новыми силами, чтобы пуститься в дальнейший путь.

Глава пятнадцатая. Грамота царю

Возвратясь домой с проводов Ермака, Строгановы принесли. Бог весть, удастся ли поход Ермака! Коли удастся – хорошо, они могут жить, не опасаясь набегов кочевников, а ежели не удастся, если он погибнет в этом походе – тогда ой как нелегко им придется.

Рано потухли огни в их хоромах, давно уже улеглись все на покой, только Фрося одна не спит; горит она вся в огне, грудь высоко поднимается, шелковое одеяло сползло и валяется на полу, и хотелось бы уснуть ей, да сон бежит от нее. Словно наяву видит она московского боярина, ласково так, приветливо глядит он на нее, шепчет речи любовные, и еще жарче делается Фросе. Вот он подходит к постели, наклоня-

ется к ней, чтобы обнять; ей и хорошо и стыдно, хочет она набросить на себя одеяло, но его нет, а лицо боярина все ближе и ближе, она чувствует его дыхание, ей делается страшно, и она закрывает глаза.

– Чур меня, чур! – шепчет Фрося, боясь открыть глаза. Внезапно веки ее словно обожгло нестерпимым красным светом. С испугу она не могла понять, не могла объяснить себе, откуда этот свет; Фрося подбежала к окну и громко вскрикнула.

Все небо было залито кровавым отблеском, багровые клубы дыма неслись к облакам, в разных местах пылали постройки, окружавшие строгановские хоромы.

Крик ее был услышан, поднялась тревога, раздались выстрелы, наконец грянула пушка.

Фрося сама не своя металась по комнате. Бывали прежде нападения кочевников, но она знала об этом лишь понаслышке. Что, коли ворвутся сюда, схватят ее и увезут невесть куда, что с ней будет, что ожидает ее?..

Она схватилась за голову и, казалось, окаменела в этом положении.

Наконец огонь начал слабеть, шум становился меньше, выстрелы раздавались все дальше и дальше; было уже светло, когда все стихло. Про Фросю, казалось, все забыли, никто не входил к ней; мамушка ее совсем потеряла голову, мечась среди челяди, обезумевшей от страха.

Уже когда все утихло, тогда только она вспомнила про

Фросю и бросилась к ней. Немало смутилась она, когда увидела ее у окна в одной сорочке.

– Солнышко мое красное, – заныла она, – что же ты раздетая, одевайся, матушка.

– Что это было? – не своим голосом спросила Фрося.

– Уж и не знаю, матушка, просто страсти Господни! На дворе поймали двух дьяволов, хотели расправиться с ними, а они как дым рассеялись... просто наваждение какое-то.

– Дикари напали, что ли, говори дело! – нетерпеливо проговорила Фрося.

– Говорю, дьяволы, матушка!

– Что же? Кончилось все?

– Все, как есть все кончилось, рассеялись они как дым, известно, против креста нешто возможно им устоять...

Строгановы совсем растерялись: большая часть построек сожжена, много имущества разграблено.

– Что же теперь будем делать? – растерянно говорил Григорий Григорьевич. – Народу теперь у нас наполовину уменьшилось, оставшийся ограблен, жить негде, да опять они, проклятые, могут опять напасть, что тогда делать?

– Сами виноваты, – проговорил задумчиво Дементий Григорьевич, – осторожности в нас нет, ведь утром еще заметили, как сновали они, окаянные, а разве они зря показываются? А мы вместо того чтобы придумать что дельное, спать завалились. Коли поселились в этой стороне, так о сне думать нечего. Уж хоромы нынче подожгли, чего же лучше?

Как еще живы-то остались!

– Теперь, брат, об этом говорить нечего, попутал грех, в другой раз будем осторожнее, а теперь нам подумать нужно, как бы делу помочь. Со своим народом мы ничего не поделиаем. Не кликнуть ли нам опять казаков с Дона аль Волги?

– Ох, боязно, брат, и Ермак-то у нас когда жил, так у меня душа не на месте была, того и гляди, проведает царь – беда будет.

– Какая такая беда? Выговорит, да и только.

– А как он в Москву вызовет, да в какую минуту на его грозные глаза попадешь! Ведь за послушание он и голову велит снять.

– Уж и голову! Ведь мы его же землю оберегаем.

– Нет, брат Григорий, об этом деле нужно покрепче подумать...

Прошло несколько дней. Строгановы все думали, как бы получше устроить дело, но так ничего и не придумали.

– Знаешь, что надо, по-моему, сделать? – заговорил однажды Дементий.

– Аль придумал что?

– Кажись, придумал. Сам знаешь, царь всегда к нам был милостив: что ни просили мы, ни в чем отказа не было.

– Ну что ж из этого?

– А то, что пошлем-ка мы челобитную ему. Расскажем все: так, мол, и так, выручи, государь, пришли на защиту нам своих стрельцов, у нас у самих силушки не хватает.

Григорий с сомнением покачал головой:

– Будет ли прок-то?

– Что ж, попытка не шутка, спрос не беда!

– Так-то оно так, только если царь и смилуется, когда это будет? Ведь месяца два или три пройдет, не меньше!

– Что же делать-то? Если и вольницу кликнуть, нешто она раньше явится?

– А пока-то что делать?

– Бог милостив, как-нибудь промаемся.

Посылая челобитную, наказали братья гонцу в дороге не мешкать, а без усталости ехать день и ночь...

Долгим показалось братьям время в ожидании возвращения посланного ими в Москву гонца. Медленно тянулись дни один за другим; в степи, где жили Строгановы, зима – самое тяжелое, скучное время. Прошло месяца полтора со дня отъезда гонца.

– По моему расчету, как мы наказывали Данилычу, ему уж дома пора быть, – говорил Григорий Григорьевич, нетерпеливо ходя по светелке.

– А господь с ним, пусть бы он хоть неделю лишнюю проездил, только бы с добрыми вестями возвратился назад.

– Ох, я уж и не знаю, чует мое ретивое что-то недоброе!

– Что загадывать раньше времени? Придет время – увидим.

Но ждать им пришлось еще немало – целых три недели. Наконец посланный, Данилыч, явился.

Войдя в комнату, он отвесил низкий поклон Строгановым.

– Шлет вам поклон и бьет челом Борис Федорович Годунов, – были его первые слова к братьям.

– Спасибо ему за память, – промолвил Дементий Григорьевич и тут же торопливо добавил: – Ну, как дела, все ли сделал, что нужно?

– Сделать-то сделал все, только не знаю, чем все дело кончилось! – отвечал тот.

– Как не знаешь? – удивились братья.

– Да так, призвал это меня Годунов, приказал вам челом бить и сказал, что с ответной грамотой на челобитную вслед за мной гонец будет послан.

– Что же это значит? Отчего же не с тобой ответ прислал?

– А господь его ведает! И так жил в слободе три целых недели, ответа дожидаясь, нагляделся на все там, думал, что живым не вернусь.

Братья с недоумением переглянулись между собою.

– Ты, Данилыч, что-то нескладное городишь! – проговорил Григорий Григорьевич.

– На что уж нескладней, хуже и быть не может!

Братья решительно не понимали его речей.

– Да ты о чем это? Толкуй о деле, про какую слободу поешь, разве тебя в слободу посылали? Ты в Москву ездил.

– Мало ль что в Москву! – отвечал Данилыч. – Да не все по-нашему делается! Царь-от в Москве и не живет, а в сло-

боде.

– В какой слободе?

– Известно, в Александровской! И что только там делается, не приведи бог!

– Да что же делается-то, говори толком! – заговорили оба брата разом.

– Бросил Иван Васильевич Москву, туда и не заглядывает, переехал на житье в Александровскую слободу, а в этой слободе несколько виселиц поставлено да срубов, так на срубках постоянно секиры и лежат; ни виселицы, ни срубы не разбираются, а так и стоят постоянно.

– Зачем же это?

– Измену царь захотел изводить, бояр всех перевести; но не боярин жив, а к вечеру и похоронят его!

Строгановы в ужасе молча слушали.

– Опричнину какую-то завел. Такая вольница, что не приведи бог, все стоном стоит от них, никому житья нет; дом спалят, жену молодую увезут, а нет такой – дочку, им все едино, – продолжал повествовать Данилыч. – Боярам то и дело на плахе головы секут, а нет, так в опале держат, ну людишкам их и беда. Как только боярин попал в опалу, так сейчас это самая опричнина налетит на его деревни и разнесет их по бревнышкам, скот и баб угонит, а мужиков, кои не успели бежать, перебьет.

Наступило молчание.

– Да что ж это за опричнина такая, ведь это хуже станич-

ников! – заговорил наконец Григорий.

– И впрямь хуже, а что за люди, и сказать не умею, носят только они с собою метлу с песьей головой.

– Это зачем же?

– Не знаю, спрашивал я у добрых людей, да все разное говорили, так толку никакого и не добился.

– Не верится даже!

– Что уж тут! Прожил я, говорю, три недели, так столько страху натерпелся, того навиделся, что за всю жизнь не увидишь.

– Челобитную-то как отдал?

– Да спасибо Борису Федоровичу Годунову, как бы не он, так ничего бы и не сделал я.

– Как так?

– А так. Первым делом, как приехал я в Москву, к нему пошел; говорят, он в слободе; призадумался я: как быть? Говорят, что и царь, и все в слободе живут, что нужно туда ехать. Приехал я в воскресенье рано, пошел ко дворцу. Годунов, говорят, там. И впрямь на дворе поймал его, грамоту отдал, он велел после обедни на дворе ответа подождать. Ударили к обедне, народу убогого на дворе страсть сколько – за милостыней пришли. Вдруг по хорам потянулись монахи, гляжу и глазам не верю: это царь со своими опричниками переодетые, тут же и Годунов находится. Диву я дался. Прошла обедня, опять тем же порядком воротился во дворец Иван Васильевич со своей дружиной. Народу стали ми-

лостыню раздавать, только и половины не роздали, как шум поднялся, народ шарахнулся в ворота, глядь я, а два здоровеннейших медведя на народ скачут, ну и я, известно, наутек пустился, одного убогого мишка сгреб да и смял, а на крыльце стоит эта проклятая опричнина да хохочет!

– Да не врешь ли ты, Данилыч? – спросил Дементий Григорьевич.

– Чего врать? О чем слышал, того не говорю, а это все своими глазами видел, чуть сам под медведя не попал.

– Что же это такое случилось?

– Уж не знаю! Вот и стал я с того дня царский двор обходить, а все норовлю к Борису Федоровичу, челобитная-то у него ведь. «Погоди, – говорит он, – нужно время выбрать, какой на Ивана Васильевича час найдет». Прождал я целых три недели. Прихожу как-то раз к нему, спрашиваю: «Как наши дела», а он такой невеселый. «Поезжай, – говорит, – домой, нынче гонца пошлют вслед за тобой, пожалуй, раньше тебя поспеет». Ну уж, думаю, зачем баловать, лошади-то мои сытые, не выдадут. «Что ж дела-то?» – говорю. «Там в грамоте все сказано, поезжай с богом, прощай!» Вышел я, заложил лошадей и двинулся в путь. Гляжу, на площади народу видимо-невидимо, на срубках палачи с секирами похаживают. «Что такое?» – спрашиваю. «Трем боярам головы будут сечь!»

Перекрестился я за их душеньки да и ударил по лошадям. Спасибо, родные, выручили меня под Москвой.

– Как так? – спросили Строгановы.

– От станичников вынесли. Такая их страсть теперь развелась там.

– Да откуда же они взялись там? Ну, на Волге – дело другое, там уж их гнездо, а под Москвой – чудно что-то.

– Да что ж поделаешь, я уж говорил, что целые деревни опричнина разоряет, куда мужику деваться: семью перебьют, избу сожгут, ну и идет, известно, на разбой, в станичники. И не дай бог, попадется им в руки опричник. Какой только они казни не придумают над ним! Черти в аду того не выдумают, что они.

Тяжкое впечатление произвел на Строгановых рассказ Данилыча. Они не могли понять, объяснить себе, что бы означала такая страшная перемена в Иване Васильевиче, этом образцовом государе, которого так все любили, за которого любой готов был отдать свою жизнь. Каждое слово Данилыча было для них страшной неожиданностью. Они решили ждать гонца.

«Авось от того узнаем больше!» – думали они.

Часть III

Глава шестнадцатая. Царский гонец

Ждать им пришлось недолго. На другой день после приезда Данилыча у ворот послышался шум, затем завизжали цепи подъемного моста, и на двор Строгановых въехало человек десять всадников. Засуетились холопы, забежали во все стороны, один побежал в хоромы.

– Гонец царский приехал! – оповестил он братьев.

В хоромах в свою очередь поднялась суета. Братья Строгановы бросились на крыльцо встречать ожидаемого гостя и были приятно удивлены, когда увидели дворянина Арбузова, своего старого знакомого, приезжавшего и в прошлый раз с царской грамотой. Приветливо встретили они гостя и ввели в светлицу.

Арбузов, поздоровавшись, передал им царскую грамоту, но невесел он был: ему было известно содержание этой грамоты, и не рад был он, что на его долю выпало доставить ее, тем более что не хотелось ему огорчать дядей Фроси, которая не выходила у него из головы после их первой встречи.

Дементий Григорьевич, стоя, развернул грамоту, начал читать ее, и лицо его все больше и больше омрачалось.

– Чужло мое сердце, – проговорил он, окончив чтение и

передавая грамоту брату.

– Говорил я, чтоб не посылать челобитной, а кликнуть к себе людей вольных, – с горечью произнес тот, прочтя грамоту.

Дементий Григорьевич с недоумением поглядел на брата.

– Я тебя совсем, Григорий, не понимаю, за что же государь изволит гневаться, как не за то, что мы держали у себя вольницу?

– А я грамоты так и совсем не понимаю. То гневается за то, что мы держали у себя Ермака Тимофеевича, то приказывает воротить его. А зачем?

– А затем, что Ермак Тимофеевич пошел на Сибирь, а царь не хочет с сибирским султаном ссориться.

– Так, а прочти-ка дальше!

– Что же дальше-то?

– А то, что он велит воротить Ермака и оставить у себя.

– Ну так что же?

– Да попробуй сыщи теперь Ермака. Он небось в Сибири уж теперь. Говорю, не нужно было посылать челобитной; а то Данилыч там что-нибудь сболтнул, а царю передали, от этого и сыр-бор загорелся.

– Нет, Григорий Григорьевич, на своего посланца ты не грехи, – вмешался Арбузов, – все дело в пермском воеводе: он донес, что вы у себя вольников приютили.

– Уж он давно на нас зубы точит. Помнишь, боярин, – обратился Дементий Григорьевич к Арбузову, – когда ты сам

советовал нам взять к себе вольницу, я тогда же сказал, что лихих людей у нас не оберешься, сейчас донесут царю... Так вот по-моему и вышло! А береженого и Бог бережет.

– То-то вот мы и убереглись, – заговорил Григорий Григорьевич, – как только Ермак Тимофеевич ушел, так кочевники наши деревушки и пожгли и пограбили, чуть хоромы не сожгли.

– Что делать, в такое время живем, – начал Арбузов, – что не знаешь, где правда, а где кривда. Сделаешь, думаешь, по-правому, ан в опалу и попал, а другой возьмет и кривду совершит, так за правду идет, да еще и награду получает, трудно, совсем трудно жить!

– Что уж и делать нам – ума не приложу? Царь разгневался на нас, кочевники разоряют, просто хоть дело брось! – говорил Дементий Григорьевич, разводя руками.

– По-моему, самим бы вам в Москву ехать, бить челом государю! – сказал Арбузов.

– Да как ехать-то? У меня у самого явилась было эта мысль, да как порассказал нам Данилыч, что у вас там творится, так просто страх взял. Неужто это в Москве православной может твориться или Бог уж за грехи наши отвернулся от нас?

Арбузов вздохнул только:

– Что рассказал вам Данилыч, так это, может, сотая доля того, что творится на самом деле, а поглядеть, так иной со страху одного умрет.

– Что ж это значит? Какая такая опричнина у вас явилась?
Арбузов горько улыбнулся:

– Вишь, Дементий Григорьевич, царь после своей болезни и смерти царицы совсем изверился в боярах и положил перевести их. Ну и пошла переборка: прав ли кто, виноват ли – все едино, катятся боярские головы с плеч, и конец. Теперь у него при дворе редко и встретишь боярина, разве только который в шуты попадет.

– Так ведь этак у него и слуг не останется.

– Да уж и не осталось! Курбский в Литву бежал, Морозов на плахе голову сложил, да не один он, а остальные в Малютиных подвалах на цепях сидят да тоже секиры ждут. Татары землю Русскую разоряют, Литва бьет нас – никогда еще на Руси такого времечка не бывало, а что опричнина делает, так не приведи бог!

– Да скажи на милость, что за опричнина такая?

– А это, вишь, царь набрал себе дружину для охраны своей и Руси, чтоб они изводили изменников, ну, опричники и изводят всех добрых царских слуг: обвинить нешто долго в измене аль в злом умысле?

– Неужто ж до царя ничего так и не доходит? Неужто он правды не видит?

– Как не видит? Видит, известно, да говорю, что он решил боярство извести, ну уж там правда не правда, а боярин отвечай, ступай на сруб и клади свою голову на плаху.

– Почему же государь не в Москве живет?

– От изменников подальше.

– Да давно ли в Москве изменники завелись?

Арбузов только пожал плечами.

– Должно, с тех пор, как Курбский бежал в Литву, – проговорил он. – И распалился же на него тогда гневом царь.

– Да и нельзя было не распалиться, Курбский ведь виноват перед царем.

Арбузов на это промолчал.

– А чем виноват-то, скажи, брат? – спросил Григорий Григорьевич.

– А тем, что бежал от царского гнева.

– Так что ж ему голову нужно было класть на плаху, что ли?

– Царь волен в животе и смерти.

– Про это никто ничего не говорит, только ведь он не раз жизни не жалел для царя. Такого воина не скоро найдешь, уж за одну Казань много вины можно простить.

– Все это так, только бежать не нужно было.

– Трудные, трудные времена! – проговорил со вздохом Арбузов.

– Одначе мы заболтались, а гость наш дорогой небось голодный сидит, пословица ведь правду говорит: «Соловья баснями не кормят». Не обессудь, боярин, я на минутку выйду: распорядиться нужно! – сказал Дементий Григорьевич, выходя из покоя.

Весть о приезде московского гонца долетела и до высоко-

го девичьего терема. При этом известии сердце вдруг у Фроси сжалось, кровь отхлынула от лица, она сделалась блее стены. Прошло некоторое время, пока она пришла в себя.

«И чего это я, глупая, перепугалась? – думала она чуть не вслух. – Да полно, перепугалась ли? Бог знает, что делается со мной! И страшно-то, и боязно-то, и хорошо, так хорошо, хоть бы никогда не проходило, а вот так всю жизнь бы билось, замирало сердце. Да чего же я с ума схожу, может, и не он приехал, а чужой какой! Чужой! А тот словно родня мне! Ох, господи, кабы он был, может, дядя опять бы меня позвал туда, увидала бы я его, все легче бы было».

При последней мысли она зарделась, ярким заревом залились ее щечки, уши, шея, ей самой за себя стало стыдно, совестно, на ресницах блеснули слезинки.

– Да что это? Никак, плакать я вздумала, – досадливо прошептала она. – Увидит мамка, срамоты одной не оберешься! – добавила она, отворачиваясь в сторону и смаргивая с ресниц непрошеные слезы.

А сердце так замирает, так тревожно бьется, словно птичка в клетке, которой хочется вырваться на волю.

– Кто такой гонец? – не выдержала наконец Фрося, обратясь с вопросом к мамке.

– Гонец, матушка, с царской грамотой! – отвечала та.

– Да и без тебя знаю, что гонец и что с царской грамотой! – с досадой проговорила Фрося. – Да кто он сам-то будет?

– Уж этого, матушка, не знаю, кто он такой будет, нешто

нам, бабам, скажут? Может, князь, аль боярин какой, аль кто другой, бог его ведает.

– Да ты видела его? – нетерпеливо спросила Фрося.

– Как же, матушка, как же, согрешила, окаянная: сняла башмаки, подкралась к двери да в щель-то одним глазком и поглядела... Сидит он и так-то все разговаривает, так-то разговаривает.

– Старик? – почти не своим голосом прошептала Фрося.

– И что ты, мать моя! – ужаснулась мамка, замахав руками. – Какой старик, что ты, господь с тобой. Такой бравый молодец, хоть куда, курчавый, борода небольшая, темно-ру- сая, а глаза-то, глаза, как поглядит, словно рублем подарит!

Вспыхнула Фрося и невольно схватилась за сердце при словах мамки.

«Он, он и есть, что ж это дядя не кликнет меня? Аль уго- щать его не хочет? Ах, кабы по-тогдашнему», – мечталось ей.

Она подошла к окну и задумалась:

«Что ж, не ноне, так завтра увижу его, увижу, когда он уезжать будет. Уезжать! Что проку-то в этом? Эвось, когда встретились с ним в первый раз, а там, пожалуй, и не уви- дишь его никогда! И я-то, глупая, из-за чего убиваюсь, из- за чего ночей не сплю? Он небось и не думает, не гадает обо мне?! Ох ты, господи, если бы да если бы...» Но она и в мыс- лях не смела произнести свое желание.

– А кого царь гонцами посылает, мамушка? – спросила

она вдруг мамку.

– Как кого, родимая? Известно кого!

– Да кого же?

– Ах ты, мать моя! Ну, кому надлежит гонцом быть, того царь и гонит!

– Ничего ты не знаешь!

– Как не знать, это малый ребенок знает!

Фрося насупилась и замолчала.

«Что ни спроси, ничего не знает дура старая, – думала она. – Вот насчет сплетни какой, так наврет с три короба, а коли про дело спросишь, так никакого толку не добьешься от нее».

Наступило молчание. Мамка заерзала на месте: не сиделось ей, хотелось ей снова пробраться вниз, прильнуть глазком к дверной щели, поглядеть на гостя, послушать его речей. Некоторое время смотрела она на Фросю, не спуская глаз, но та, занятая своими мыслями, не обращала на нее никакого внимания.

Прождав еще несколько минут, мамка не вытерпела, поднялась, прокралась тихонько к двери и скрылась.

А внизу между тем шел интересный разговор. Переговорив обо всех делах, Строгановы с Арбузовым на какое-то время замолчали; меду и вина было выпито изрядно, наконец Арбузов словно встрепенулся.

– А как здоровье вашей молодой хозяйюшки? – спросил вдруг он хозяев.

Едва заметная улыбка скользнула по лицу Дементия Григорьевича.

– Не знаем, дорогой гость! – отвечал он печально.

Арбузов с удивлением взглянул на него:

– Как не знаете?

– А так, как увели ее с собой кочевники, с тех пор и вести никакой о ней нет!

Арбузов привстал даже при такой вести, а Григорий Григорьевич с недоумением смотрел на брата. Наконец Дементий не выдержал и рассмеялся:

– Шучу, гость дорогой, шучу я, что ж нашей хозяйке делается? Здорова, живет по-прежнему!

– Вот что, дорогие хозяева, – начал Арбузов, – я не зря спросил у вас о ней. После того как увидал ее, нет покоя ни днем ни ночью: все перед глазами она... За что бы ни взялся, что бы ни задумал – не выходит она у меня из головы; нарочно гонцом к вам отправился, чтоб только повидать ее.

– Аль приглянулась она тебе? – спросил Дементий Григорьевич.

– Какое «приглянулась», я уж и не знаю, как и сказать вам, не умею... Полюбилась она мне пуще жизни; отдайте ее за меня, век буду за вас Бога молить!

– Это, боярин, дело нелегкое, его, не обдумавши, сразу решить нельзя. Фрося – сирота, кроме нас с братом, у нее никого нет.

– Что же думать-то? Человек я, сами знаете, путный, дур-

ного за мной ничего не важивалось николи.

– Об этом что толковать!

– Что она у вас здесь в глуши живет, век свой девичий губит!

– Ей у нас хорошо жить, не жалуется.

– Стало быть, вы не хотите ее отдать за меня? – спросил со страхом Арбузов.

– Я против ничего не имею, – отвечал задумчиво Дементий Григорьевич, – не знаю вот, как брат!

– По мне что же, я не прочь! – проговорил Григорий Строганов.

Арбузов повеселел:

– Мне завтра в путь надо собираться, так вы бы и образом нас нынче благословили.

– Какой прыткий; еще посмотрим, что Фрося скажет, против ее воли мы не пойдём!

– Нешто долго спросить?

– Ну ин быть по-твоему, что с тобой делать! – согласился Дементий Григорьевич, подходя к двери и толкая ее.

За дверью что-то ахнуло и покатилося. Строганов увидел поднимающуюся мамку с башмаками в руках.

– Ты, старая чертовка, как здесь очутилась? – спросил он ее строго.

– Шла, батюшка, мимо! – отвечала струсившая старуха.

– А башмаки зачем сняла?

– Чтоб вашим речам, батюшка, не мешать.

– Слушай, карга, на этот раз тебе прощается; только ежели ты попадешься мне в другой раз, тогда – знаешь меня – пощады тебе не будет.

– Знаю, батюшка, знаю, прости ты меня, окаянную, лукавый, знать, попутал! – заныла старуха.

– Ну а теперь пошла вон! Да не туда! – крикнул он ей, когда заметил, что она направилась наверх к Фросе.

Фрося сидела, когда вошел к ней дядя, в том же положении, в каком ее оставила мамка. Услышав шаги дяди, она повернулась и, увидав его, покраснела.

«Знать, за мной пришел вниз звать», – шевельнулась у нее мысль в голове.

– Фрося, – начал серьезно дядя, – мне нужно потолковать с тобой!

Девушка испугалась. Краска сбежала с ее лица.

– Девка ты уж в возрасте, пора тебя замуж выдавать, благо, жених нашелся, человек он хороший.

Фрося опустила голову, едва переводя дыхание.

– Жениха ты, чай, знаешь, видела, прошлый раз гонцом от царя приезжал, Арбузов.

Фрося едва устояла на ногах: радость охватила ее, счастье; этого она и не ожидала никогда. Дементий Григорьевич, улыбаясь, глядел на нее.

– Так как думаешь, Фрося, замуж выходить аль еще подевать хочешь? – спросил он племянницу.

Та молчала, не в силах вымолвить слово.

– Ну, что ж ты скажешь? – повторил свой вопрос Дементий Григорьевич.

– Дядюшка, у меня, кроме вас да дяди, никого нет, нет ни батюшки, ни матушки, вы за них у меня – значит, как ваша воля будет, так и поступлю.

– Ну и добро! – проговорил Дементий Григорьевич. – Так ты приоденься да и выходи со своей старой душой, мамкой, к жениху; нынче тебя и образом благословим.

Глава семнадцатая. На вершинах Урала

Прошла зима суровая; долгой показалась она казакам, хотя тепло в пещере было и сытно, а все не то, что изба. Наконец пришло Рождество, а там и день заметно увеличился, солнышко стало сильнее припекать. Повеселели все, а там чуть заметные ручейки начали скатываться с гор и подтачивать толстую снеговую одежду и ледяную броню Чусовой. Кажется, пригрей еще немного солнышко, и снова забурлит река своими бурными волнами, а земля загорится изумрудной травой.

– Весна, братцы! – приветствовал один из казаков своих товарищей, входя в пещеру.

– Что там, аль снег сошел? – спросили его.

– Не снег, а жаворонка я видел!

– Ну, брат, один жаворонок весны не делает!

– Не один, а коли один прилетел, так с ним и другие по-

явятся.

Еще быстрее побежало время. Казаки принялись собираться в путь, ремонтировали челны, за делом и не видно, как день проходит.

Наконец снег почти весь сошел. Чусовая сломала свой истончившийся лед и снесла его в Волгу. Теперь она снова дышала грудью свободно, спокойно. Вытащили казаки флотилию на реку и стали ждать только приказания, чтобы пуститься в путь.

Настал ясный, теплый день, образа были вынесены из пещеры на берег, священники начали служить напутственный молебен.

– Ну, ребята, в путь-дороженьку, – заговорил Ермак по окончании молебна, – пора нам и косточки поразмять, а то, вишь, сколько мы просидели в пещере этой, словно медведи в берлоге! – прибавил он весело.

Чуть не разом все бросились в челны. Паруса словно по волшебству поднялись, и казацкая дружина двинулась в далекий неизвестный путь.

– Ну, Мещеряк, теперь твое дело вести нас, – обратился к нему Ермак.

– Не бойся, атаман, проведу, дорога-то мне известная.

– А долго еще нам воевать с Чусовой?

– Долго недолго, а неделю, а то и поболее придется плыть по ней.

– Дальше какая будет река?

– Дальше-то? Дальше Серебрянка.

– Скорей бы до нее добраться!

– Ну, не говори, атаман, не знаю, что лучше будет: Чусовая аль Серебрянка.

– Аль тоже бурлива да быстра?

– То-то и оно, что тиха, да мелка больно.

– А долго по ней ехать?

– Дня два проедешь!

– Ну, это не беда!

– Беда не беда, а челны-то придется на себе волоком волочить.

– Как так?

– Да так: Сибирская земля начнется, речки нет, и придется их тащить по земле до речки Жаровли.

– Что ж делать, потащим, – проговорил Ермак.

Но предсказание Мещеряка не сбылось. Вдруг подул попутный ветер, и челны быстро двинулись вперед.

На третий день казаки были поражены не виданным еще зрелищем: перед ними возвышалась громада Уральских гор, достигающая, казалось, облаков.

– Это что ж такое будет? Знать, Сибирь? – говорили многие из них.

– Зачем Сибирь? Это наша земля! Сдается, что это и есть самый Камень.

– Верно, на камень похоже.

– Ну, атаман, – говорил между тем Мещеряк, – хорошо

– быстро прокатили Чусовую.

– А что? Разве скоро распростимся с ней? – спросил Ермак.

– Да, коли не нынче к вечеру, так завтра утром непременно придется в Серебрянку свертывать.

– Что ж, дай бог, чем скорее доберемся до Сибири, тем быстрее за дело примемся.

Вечерело. Громады утесов все больше и больше надвигались на казаков, которым, глядя на эти каменные глыбы, становилось не по себе. Вдали показалась небольшая равнина, где Чусовая, почуяв простор, разливалась вширь.

– Словно Волга-матушка! – промолвил Ермак, глядя задумчиво на реку.

– Да, в этом месте она не уступит Волге, вот здесь-то, атаман, поворот нам в сторону.

– Нешто здесь Серебрянка?

– В этом самом месте и впадает она.

Действительно, справа извивалась лентой неширокая речка, которая впадала в Чусовую, образуя при этом косу.

– Ну, добры молодцы, – скомандовал Ермак своей дружине, – прощайтесь со святой матушкой-Русью и поворачивайте направо, в землю неверную.

Казаки закрестились.

– Здесь заночевать бы нам, атаман! – проговорил Мещеряк.

– А что такое?

– Да въезжать в Серебрянку на ночь неладно: стемнеет, так в горах и места не найдем для ночевки. Тут, на косе, на что лучше место.

– Ну, быть по-твоему, – отвечал Ермак, – тебе лучше известно.

– Известно-то оно, известно, только недолго я буду провозатым вашим.

– Аль покинуть нас хочешь?

– Зачем покинуть, не затем шел с вами, чтобы покидать; до Жаровли доведу, а там дальше и сам не знаю ни пути, ни места.

– С этого, значит, места и Сибирь настоящая начинается?

– С этого самого!

– Ну, что ж, твое дело было довести до места, а дальше небось сами татары нас проведут к своему султану в гости, – весело проговорил Ермак.

В последний раз казаки причалили к берегу Чусовой. Многие глядели с какой-то неопределенной тоской на реку. Бог весть, придется ли снова многим из них еще раз увидеть эту реку, воротиться на родину. В далекий, неизведанный путь двинулись они, и что ждет их там – никто не знает, и эта неизвестность томила души казаков.

Да и самого Ермака, не показывавшего только виду и старавшегося казаться веселым, чтобы ободрить своих казаков, беспокоила неизвестность будущего. Знай он наверное, с кем придется ему бороться, какая сила встретит его, он был бы

гораздо спокойнее, но теперь как успех, так и неудача могли ожидать его, и последняя скорее первого. Другое дело, если б ему известно было, с кем встретится он лицом к лицу, тогда бы он знал, как и поступить. Это и заставляло его задумываться частенько.

С грустью глядел он на правый берег Чусовой: там, за этим берегом, широко раскинулась Русь-матушка, перед которой он так грешен, где загубил столько неповинных душ, и уходит он теперь от нее неоправданным, таким же грешником перед ней, каким и был, не сделав для нее ни одного доброго дела.

– За тем и иду, родимая, – шептал он, – чтоб покаяться, чтоб загладить перед тобой грехи свои окаянные и искупить их, хотя бы пришлось для того голову свою положить. Коли бог приведет, так ворочусь назад не атаманом разбойничьим, а честным человеком, а придется голову сложить, ну и тогда не помянешь лихом, за тебя же, родимую голубушку, сложу ее, кровью своею смою грехи свои перед тобою.

И слезы невольно блеснули на его ресницах, и не стыдился этих слез Ермак. Долго глядел он вдаль; совсем уже стемнело, запылали костры, отражаясь кровавыми пятнами в Чусовой, а он все сидел и думал свои тяжелые, неотвязные думы. Наконец, махнув решительно рукой, как будто отгоняя от себя назойливые видения прошлого, он повернулся к стану и быстро окинул его взглядом, словно отыскивая кого.

Медленно пошел Ермак между кострами, наконец глаза

его блеснули: он увидел одиноко сидевшего Кольцо. Ему хотелось побыть с ним, поговорить, душу отвести.

Кольцо не слышал и не видал, погружившись в свои думы, как подошел к нему Ермак.

– Что, Иван Иванович, затуманился? – спросил он Кольцо, тихо кладя ему на плечо руку.

Кольцо поднял голову и молча взглянул на Ермака; в глазах его тоже стояли слезы. Ермак улыбнулся.

– Что, Иван Иванович, аль змея лютая ретивое гложет? – спросил участливо он.

– И сам не знаю, Ермак Тимофеевич, что это такое со мною творится, – отвечал Кольцо, – вот как пристали на ночевку, так и стряслось со мной это.

Ермак молча присел возле него.

– Вспомнилась мне Волга, – продолжал Кольцо, – житье наше с тобой на ней, все, все припоминается, и как-то жутко, страшно становится, и тоска, такая тоска одолевает – хоть плач. Сердце щемит, так щемит, будто беду чувствует. Аль не вернусь я более на родину, шут его знает, что такое! – с сердцем добавил он.

– Невесело и мне, Иван Иванович, – заговорил Ермак, – жалко покидать родину, правда, да не о том я грущу: невелика беда, если и не вернусь, тужить обо мне некому, да и о чем тужить-то! Кем я был на Руси-матушке? Разбойником! Еще порадуются многие, одним меньше стало, а коли мало их, так на мое место небось с десятков новых явилось, ведь

наш брат что грибы в урожайный год рождаются; меня совсем другое смущает: погляди, сколько народу за нами идет, а зачем? Ведь никто не знает, даже и ты не знаешь, зачем мы идем. Ведь многие, а может, и все они идут за добычей, за богатством, многие и головы свои за это сложат. Оно, положим, много здесь голытьбы; им что голова? Нешто они жалеют ее, но много здесь и семейных – дома, поди, жена, ребятишки, тятку ждут, а тятка с голодухи пошел на добычу, думает небось: «Казны золотой добуду, домой ворочусь, заживу припеваючи», а там, гляди, татарин какой ни на есть и подшибет добра молодца, и останутся и пойдут по миру сироты горькие. Кабы я знал наверное, что добыюсь своего, тогда легче бы было, а ну как назад придется бежать, за что я тогда народ-то загубил? Вот что, Иван Иванович, тяжко-то, вот отчего и сердце тоска гложет!

– Да зачем ты ведешь рать-то эту? Ты сказал, что и я не знаю.

– Нет, Иван Иванович, не знаешь, а ныне, так и быть, скажу, откроюсь тебе. Ты как полагаешь, зачем мы идем?

– Да затем, как и говорили.

– Татар побить, острастку им задать, чтоб Строгановых не беспокоили? Так, что ли?

– Говорили, за тем!

– Нет, Иван Иванович, не то у меня на уме. Что нам Строгановы? Родня, что ли, какая, что мы из-за их капиталов да сами будем свои головы класть? Мы жизнь свою будем отда-

вать, а они за нее свою мошну набивать – зачем баловать их! Правда, коли удастся, что я задумал, тогда и Строгановым будет хорошо, житье настанет для них спокойное.

– Да что же задумал-то ты?

– А видишь, товарищ, что! Говорю, мы на святой Руси с тобой разбойниками были, немало насолили мы люду православному, да так насолили, что царь-батюшка головы наши оценил. Ну так вот эти самые грехи и нужно нам с тобой замолить.

– Хорошо бы, да как только замолишь-то их!

– Кабы мы пошли только на защиту Строгановых, так теми же самыми и воротились бы, и грех наш при нас бы остался. Я не то думаю, Иван Иванович. Помнишь, в последний раз напали татары? Сколько их было – тьма целая, а ведь мы справились с ними, да еще как справились-то!

– Лихо, мало кто убежал, почти все полегли на месте.

– То-то и оно! Пустой они народ, справиться, думаю, легко! Вот с тех пор и задумал я дело сделать. Сибирь вся татарами да теми чучелами, что мы поколотили на Чусовой, заселена – разделаться с ними легко. Правда, у себя дома они посильней будут, чем в чужом месте, ну да не беда: Бог не выдаст, свинья не съест. Задумал же я отправиться в Сибирь и завоевать ее.

Кольцо с изумлением уставился на Ермака.

– И впрямь тебе, Ермак Тимофеевич, атаманом только и быть, – проговорил с блестящими глазами Кольцо. – Вот

что задумал!

– А что, аль, думаешь, не удастся? – спросил Ермак.

– Тебе-то да не удастся, не таким ты родился, Ермак Тимофеевич, чтобы неудачи терпеть! – уверенно произнес Кольцо.

Ермак улыбнулся, что-то светлое промелькнуло у него на лице.

– Так-то вот и мне думается, что скорее удача будет, – сказал он.

– Будет наверное! – уверенно проговорил Кольцо.

– Согрешил я, окаянный, – задумчиво произнес Ермак, – на Волге это еще было, в тот самый вечер, помнишь, как Живодер нас продать хотел, пошел я к колдунье; неподалечку от нашего стана в овраге жила колдунья эта, Власьевной ее звали.

– Знаю, слышал.

– Ну, так вот она мне нагадала про Живодера, потом много чего говорила, почти все сбылось. Тогда-то, в ту пору, я не понял всего, а как начало сбываться, тогда уже ясны мне ее речи стали.

– Что ж, она и про Сибирь говорила? – спросил заинтересованный Кольцо.

– Говорила и про Сибирь.

– Что ж говорила-то она про нее?

– Сказать тебе не сумею так, только говорила хорошо. Вот ее-то слова и придадут уверенность мне, что завоюем мы,

Иван Иванович, с тобою Сибирь!

– Завоюем, Ермак Тимофеевич! Тогда ты сибирским султаном будешь, а я твоим ближним боярином, – весело проговорил Кольцо.

Ермак на это весело засмеялся:

– Куда нам, Иван Иванович, с нашими рылами да в суконный ряд лезть. Какие мы с тобою султаны да бояре!

– Так что ж мы с Сибирью-то будем делать?

– А как ты думаешь? – лукаво спросил Ермак.

– Уж и не знаю.

– Вот что, товарищ, коли Бог даст – завоюем мы ее, так и поднесем царю, этим мы и свои старые грехи загладим, да и матушке-Руси прибавку немалую сделаем. И тогда на Руси не забудутся наши имена!

Кольцо молча выслушал речь Ермака и задумчиво загляделся вдаль. Замолчал и Ермак; перед его глазами пронеслись будущие битвы, победные клики, бегущий неприятель... С торжеством, видится ему, вступает он в сибирскую столицу, строит церкви, видит радость царя, которому он дарит новое царство, милости его к себе и товарищам.

А на востоке заалела уже светлая полоска. Заметно она растет, расплзается и охватывает собою небо, последние звездочки меркнут мало-помалу и исчезают бесследно; наконец широкими снопами блеснул восток, и все окрасилось золотистым блеском.

– Одначе, товарищ, мы с тобой задумались, разгадались о

будущем и про сон забыли, пора и в путь!

– Только бы сбылось задуманное! – проговорил Кольцо.

– Даст Бог, и сбудется, а коли неудобно Ему, так ничего не поделаешь!

– Вестимо! – подтвердил Кольцо.

С восходом солнца заворочались казаки.

Вставши, некоторые сладко потягивались; другие наскоро крестились.

– Сейчас, что ли, в путь тронемся, Ермак Тимофеевич? – спросил, подходя к атаману, Мещеряк.

– А что ж медлить-то? Двинемся с богом!

– Народ-от покормить бы нужно было, – заметил Мещеряк.

– А в полдень нешто не успеем!

– Да эта речка Серебрянка проклятая, на ней и места не найдешь, где высадиться, словно меж двух стен придется ехать: то тебе утесы, то кедры, вот сам поглядишь. А народ, ничего не евши, утомится, куда он будет годен?

– Да ты сам, знать, за ночь-то проголодался! – засмеялся Ермак.

– Ну, вот «сам»! Мне что, я-то сыт буду, я про народ говорю.

– Ну, ин быть по-твоему, вели разводить костры да варить завтрак, после еды и отправимся в путь, да не вели им объедаться-то, а то их снова в сон ударит, тогда работать плохо будут.

Вскоре запылали костры, закипели котлы, казаки весело ожидали завтрака.

Солнышко уже припекло, когда казаки сели в челны и вступили в Серебрянку. Через несколько часов они въехали в ущелье, куда не проникало ни одного солнечного луча, кедры сплетенными ветвями образовали над рекою свод, по сторонам возвышались уходящие в облака утесы, воздух был прозрачен, было пасмурно, как в осеннюю погоду, когда небо заволочет тучами; только одна река блестела серебром.

– Ну и местечко же: напади здесь сверху татары – не один из нас не уцелел бы, – проговорил Ермак.

– Что правда, то правда, только одна лиха беда – никак этим самым татарам продраться наверх нельзя. Разве только по беличьим следам, с ветки на ветку перескакивать, – заметил Мещеряк.

– Да тут и перескакивать нечего, словно по полу ходить можно, вишь, как переплелось все!

Передние челны остановились.

– Это что такое? – спросил озадаченный Ермак. – Что случилось?

– Да ничего, атаман, особенного! Только ехать дальше нельзя. Нешто это речка, просто ручейшка какой-то, – отвечали ему впереди стоящие казаки.

– Да говорите толком, отчего ехать нельзя?

– Воды нет, по дну приходится челны волочить!

Вся дружина Ермака остановилась, не зная, что делать.

– Ушли-то этой речонкой мы недалеко, – заговорил Кольцо, – не воротиться ли нам назад?

– Как назад, зачем? – удивился Ермак.

– Не попадется ли другая какая река поглубже?

– Ну, нет, Иван Иваныч, – вмешался Мещеряк, – другой реки ты тут не найдешь, а коли бы и нашлась, бог ее знает, куда она приведет; назад уж ворочаться нам не след, лучше вперед идти.

– По-моему, тоже, – проговорил Ермак.

– Да как идти-то? Сами видите, на песке челны сидят.

– Запруд, может, сделать? – задумчиво произнес Ермак.

– Воды прибавится – челны и пойдут.

– Легкое дело запруд сделать, как ты его тут сделаешь?

Но Ермак не слушал более: его заняла какая-то мысль. Все молчали и глядели на атамана.

– Вот что, ребята, – заговорил наконец Ермак, – давай сюда паруса.

С челнов натащили парусов, Ермак велел их сшить вместе в несколько слоев. Никто не понимал, что задумал атаман.

– Ребята, колья нужны покрепче, – продолжал он приказывать.

Застучал топор в кедровом лесу, перепугалась дичь, запрыгали по ветвям белки, услышав необыкновенный, непривычный для них стук.

– Вбивайте, молодцы, колья поперек реки! – говорил Ермак казакам. – Да поплотнее только!

Колья были вбиты, на них растянули сшитые паруса, опустив их до дна. Вода начала быстро прибывать, челны заколыхались, все ахнули.

– Трогай, ребята, в путь! – скомандовал Ермак.

Казачья команда двинулась; через несколько верст снова запруда, и опять движение вперед. Так продолжалось три дня.

Радостно встретили казаки открытое небо, вольный воздух, когда выбрались на простор из тесных уральских утесов.

– Ну, атаман, здесь остановку нужно сделать, а отсюда уж волоком волоочь челны до Жаровли.

– А далеко ли отсюда до Жаровли? – спросил Ермак.

– Нет, недалеко, вот за этими холмами, – отвечал Мещеряк.

Ермак поглядел и невольно улыбнулся.

– Хороши холмы, нечего сказать! – проворчал он, глядя на утесистые горы. – Ну да делать нечего, как-нибудь справимся, не бросать же нам дела.

Порешили сделать дневку; Ермаку не сиделось на месте: взяв с собой Кольцо и Мещеряка, он пошел осматривать местность, отыскивать дорогу, где бы удобнее было перейти его дружине и перетащить челны. Нелегко было взбираться на утесистую гору, а с челнами и вовсе нечего было думать об этом. Призадумался Ермак, однако упрямо лезет вверх; вдруг он и Кольцо остановились как вкопанные; Мещеряк лукаво заулыбался. Они добрались до вершины горы, и перед ними раскинулось Сибирское царство.

Громадной равниной, покрытой густым зеленым лесом, прорезанным серебряными лентами рек, представлялась им, насколько хватал глаз, Сибирь; где-то далеко, на краю горизонта, клубился дым.

– Экая благодать! – вырвалось у Ермака.

– Это Сибирь и есть! – проговорил Мещеряк.

Атаман не отрывал глаз. Заметив дым, он обратился к Мещеряку.

– А жильё, одначе, не близко отсюда? – проговорил он, указывая на дым.

– Жильё-то близко, тут скоро деревни татарские пойдут, а это город нашего знакомца.

– Какого такого?

– А Епанчи, что к нам пожаловал летось!

– А, так мы с ним старые знакомые, наверное, рад будет повидаться!

– Еще бы! Небось хорошо помнит твое угощение.

– Да жив ли он остался?

– Что ему поделается? Меж убитыми тогда его не нашли.

Долго стоял Ермак, не сходя с места и любясь раскинувшейся перед ним картиной.

«Вот и привел Бог увидеть Сибирь, – думалось ему, – как-то она примет меня, чем порадует?»

Место наконец для перехода было найдено, оно представляло собою ущелье и было удобно для переноса челнов.

Глава восемнадцатая. Разгром татар

Три дня возились казаки с переноской челнов с Серебрянки на Жаровлю, немало труда стоила им эта работа; наконец она была закончена. Необходимо было дать хотя бы один день на отдых. Пять дней, проведенные почти на одном месте, утомили казаков; несмотря на работу, скука начала одолевать их; им хотелось двигаться вперед, дальше, но волей-неволей приходилось ожидать приказания атамана. Наступил день отъезда, был отслужен молебен, и в первый раз на Сибирской земле раздались слова христианской молитвы. По окончании молебна Ермак созвал круг.

– Молодцы-товарищи, теперь мы вступаем в землю неведомую, – заговорил он, – землю вражескую, прощаемся с Русью-матушкой, теперь в каждом кусте мы можем встретить врага, из каждого дерева может полететь стрела вражеская. Поэтому самому нужно опаску иметь, быть осторожнее, всегда наготове, сами знаете, береженого и Бог бережет! Зарядите пистолы, чтоб на всякий случай готовыми быть.

Казаки двинулись в путь, быстро понеслись они по сибирским рекам, здесь не нужно уже было работать веслами, бороться с сильным течением: волны сами несли их челны. В два с половиной дня они успели миновать Жаровлю, Тагиль и вступили наконец в Туру.

– Вот где настоящая-то Сибирь начинается! – проговорил

Мещеряк.

– А все никого не видать, – заметил Ермак, – хотя бы один живой человек показался!

– Погоди, Ермак Тимофеевич, покажутся еще, да не один, а сотнями, а то и тысячами.

Действительно, третий день уже плыли казаки по Сибирской земле, но никого не видели; время шло к вечеру, пора было подумать и о ночевке, солнце закатывалось за верхушки кедрового леса, небо стало багрового цвета.

– Завтра погода будет! – заметили казаки.

– Вот, атаман, ты кручинился, что не видишь здесь никого, – произнес Мещеряк, – погляди-ка вон на правый берег.

Ермак взглянул в ту сторону, куда указывал Мещеряк. На правом обрывистом берегу стояли залитые красным цветом два всадника. Они были в остроконечных шапках, с луками за спиной.

– Завтра у нас дело будет важное. Нынче ночью эти косые уж наверное оповестят про нас всю свою братию.

– Что ж, с Богом, чем скорей начнется дело, тем скорее оно и кончится!

Челны между тем все ближе и ближе подвигались к всадникам, которые не спускали глаз с казаков; наконец оба разом выхватили из-за плеч луки, наложили на них стрелы и начали целиться в казаков.

– Ого, однако они храбрые, – заметил, смеясь, казак, – а ну, приятель, как тебе понравится мой гостинец? – продол-

жал он, прицеливаясь в одного из всадников.

– Татары! – проговорил в это время Мещеряк; грянул выстрел, и татарин, выпустив лук, свалился через голову лошади. Почувяв себя свободной, испуганная выстрелом, лошадь бросилась бежать; вслед за нею поскакал другой татарин.

– Ну, беда теперь, как загалдят! – сказал, смеясь, Мещеряк.

Стемнело, пора было останавливаться на ночлег.

Ермак задумался.

– Как быть-то, не знаю, – говорил он в раздумье, – на берег выходить опасно, ночь – не день; этот поганый наделает тревоги, могут напасть врасплох!

– На берег никак нельзя, – подтвердил Мещеряк, – да отчего нам на островке не остановиться, туда-то труднее будет добраться.

Через час встретился им остров; к его берегу привязали челны, развели огонь, и, поставив надежный караул, казаки расположились на отдых.

Скоро все уснули, только караульные мерно расхаживали по острову.

Прошло несколько часов, было уже за полночь; вдруг караульные встрепенулись – им послышался лошадиный топот; они начали прислушиваться, топот становился яснее и наконец смолк: на берегу реки замелькали фигуры, послышался резкий свист, и в нескольких местах что-то шлепнулось в воду.

– Вишь, проклятые, стрелы пускают! – заметил казак.

– Нешто стрельнуть?

– Не трожь, не попадешь в темноте, а тревоги только напрасно наделаешь, пускай их, лешие, тешатся.

Только рассвет разогнал татар, да и то время от времени поодиночке показывались они на берегу.

Когда поднялись казаки, сторожевые рассказали им о ночных шалостях татар.

– Нужно всегда быть наготове, – проговорил Ермак. – Я так думаю, что ни одной минуты не будет нам покоя до тех пор, пока мы их не одолеем совсем.

Во время сборов казаков в путь татары то и дело показывались на берегу и наконец исчезли.

– Что это они, словно крысы выглядывают? – смеялись казаки.

– Пусть их выглядывают, со своими стрелами не больно-то они страшны!

Было около полудня, когда казаки подъехали к месту, где река круто поворачивает в сторону, и тут на берег с гиком и завыванием прискакало более тысячи татар. Половина стрел, выпущенных ими, перелетела, другая не достигла казаков.

– Целься! – раздался в это время голос Ермака.

Пятьсот ружейных стволов уставилось на татар, которые успели снова выпустить тучу стрел.

– Пали! – послышалась опять команда Ермака.

Грянул залп, громом пронесшийся по реке и ее окрест-

ностям; как горох посыпались убитые татары с лошадей, остальные оцепенели. В это время казаки спешили зарядить снова ружья.

Раздались очередные залпы, часть татар попадала на землю, остальные, повернув лошадей, бросились наутек.

Казаки пристали к берегу и пустились за ними вдогонку. Много полегло татар, лишь малому числу их удалось спастись бегством.

– Будет с них! – говорили казаки, возвращаясь из погони.
– Досталось им порядком.

Первая удача сильно ободрила их.

– Ежели все такое войско, – смеясь, говорил Ермак Кольцу, – у сибирского царя, так мы его самого скоро живьем схватим.

Двинувшись дальше, казаки наготове держали ружья.

Снова показалась толпа татар, и снова их полегло немало. На этот раз казакам удалось захватить нескольких живьем; между ними один отличался богатой одеждой, по-видимому, то был начальник. Татарина привели к Ермаку, который с любопытством стал его рассматривать. Позвали толмача.

– Ты кто такой будешь? – спросил Ермак.

– Таузак, – отвечал татарин.

– Что ж это, служба или имя твое?

– Имя, меня зовут Таузак!

– Откуда ты?

– Из города Сибири!

– Из самого, значит, гнезда, – заметил Мещеряк.

– Из султанского города?

– Из него, я состою при царе Кучуме.

– Эге, птица, значит, важная! Зачем же ты пожаловал сюда?

– Царь Кучум против вас послал.

– Откуда же царь Кучум узнал, что мы пришли?

– Его уведомил Епанча.

– Ну, вот что я тебе скажу, Таузак, – заговорил Ермак, – если ты мне скажешь всю правду, о чем я тебя буду спрашивать, я тебя не трону, а отпущу. Если же ты соврешь, пеняй на себя.

– Зачем мне лгать? Я буду говорить правду!

– Где теперь Кучум?

– В Сибири.

– Далеко она?

– Нет, близко; идти вам нужно туда рекой Тавдой, из нее Тоболом, а из Тобола Иртышом, на этой самой реке и стоит Сибирь.

– Много войска у Кучума?

– Много, очень много; он сам слеп, но у него есть воины сильные, особенно Маметкул, его родственник; это – богатырь. Кучума все боятся, всех он в страхе держит. Только...

– Что только?

– Много народцев у него под рукою, все ему дань платят, да не любят его.

– За что же не любят?

– Всех в свою веру обращает.

– А какая его вера?

– Магометова.

– А богат Кучум?

– Очень богат, он большой ясак получает, да Сибирь и торгует хорошо с бухарцами; они свой товар привозят к нам, а у нас меха забирают.

– Ну так вот что я тебе скажу, Таузак, ступай ты к Кучуму и скажи, что я иду к нему в гости, пусть принимает с почетом, а коли этого не будет, гляди, что я с ним сделаю!

Ермак приказал поставить железную кольчугу и стрелять в нее из ружей.

Пули насквозь пронизывали кольчугу. Таузак при виде этого пришел в ужас. Его отпустили.

Прошло три дня после того. Казаки плыли спокойно, никем не тревожимые; наконец лодки на что-то наткнулись и остановились – железные цепи были перекинута через реку. Не успели казаки опомниться, как послышался рев, и на берегу появилась толпа в несколько тысяч татар.

«Ну, теперь придется туго!» – подумал Ермак.

Началась битва, сотни татар полегли, досталось и казакам, но татар прибывало все более и более... Битва продолжалась целый день, ночь только прекратила ее, с рассветом следующего дня она вновь возобновилась. Так прошло три дня. Наступила ночь. Ермак был сумрачен, невесел был и Кольцо.

– Не одолеешь, пожалуй, проклятых! – ворчал Кольцо. – Вишь, они как саранча какая. На место убитого пять новых является.

– Погоди, Иван Иванович, без хитрости тут ничего не поделаешь! – отвечал Ермак.

– Какую же хитрость придумать?

– Погоди, придумаем. Вели-ка натаскать хворосту.

Всю ночь проработали казаки и только перед рассветом вышли на берег.

Едва рассвело, татары начали пускать стрелы в казаков и крайне были изумлены тем, что те не отвечают им. Это придало им больше храбрости; тучи стрел летели в челны. Вдруг сзади них раздались крики, слышались выстрелы.

– Подмога им пришла! – в смятении говорили татары, бросившись в бегство.

Прогнав татар, казаки сняли с хворостяных чучел, уставленных ночью на челнах, одежду, разбили цепи, натянутые через реку, и двинулись вперед.

Глава девятнадцатая. Царь Кучум

На высоком обрывистом берегу Иртыша раскинулась столица Кучумова царства, Сибирь. Мало напоминала она собою город: это было не что иное, как несколько десятков скученных юрт. Сибирь была обнесена высоким валом и считалась недоступной крепостью, так как, кроме единственной

дороги, защищаемой татарами, подойти к ней ни с одной стороны не было никакой возможности.

Все юрты города были совершенно похожи одна на другую; единственная, отличавшаяся от других, была царская. Юрта эта резко выдавалась своей высотой; она состояла из нескольких отделений; два из них занимал Кучум, а остальными владели его жены. Внутри юрта отличалась роскошью: все стены были обиты соболиными шкурами, пол покрыт богатыми коврами. Но этим убранством могли любоваться только другие, сам Кучум не мог видеть его: он давно уже ослеп.

Было утро. Отпустив одну из своих жен, царь при помощи евнухов оделся и вышел в отделение юрты, которое служило приемной. Лицо Кучума было озабочено, по лбу пролегло несколько морщин.

– Позвать сюда вчерашнего шамана! – отдал он приказание.

– Он давно уже дожидается здесь, – отвечали ему.

Вошел шаман.

– Гадал ли ты? – спросил его Кучум.

– Гадал! – грустно подтвердил шаман.

– Что же ты видел? – с любопытством, смешанным с некоторым страхом, проговорил Кучум.

Шаман, по-видимому, затруднялся говорить.

– Что же молчишь? Говори! – нетерпеливо крикнул Кучум.

– Государь, страшное видел я, не хочется верить, не спрашивай меня о виденном.

– Собака, говори, когда я приказываю!

– Повинуюсь, государь. Вчера, когда темь легла на землю и показались звезды, вышел я на берег Иртыша и начал гадание. Показались тучи и покрыли все небо, в двух шагах ничего не было видно, кругом стояла мертвая тишина, наконец с истоков Иртыша поднялся страшный шум, как будто происходила битва, словно дрались тысячи воинов. Иртыш загорелся огнем и покрылся багровым цветом, в Иртыше текла не вода, а кровь. В это время на том берегу показался белый волк, шел он с полуденной стороны, навстречу бежала черная собака. Вскоре они встретились, и собака загрызла волка.

Шаман замолчал, исподлобья поглядывая на Кучума. Последний, казалось, думал о чем-то.

– Что же это значит? – спросил он наконец.

– Кровь в Иртыше означает большое кровопролитие.

– Дальше!

– Белый волк – это твое царство, черная собака – это русские.

Кучум захохотал.

– Так по-твоему выходит, что черная собака загрызет меня? – поинтересовался он.

– Так показывает гадание! – с робостью произнес шаман.

– Твое гадание лжет! – гневно заговорил Кучум. – Рус-

ских более нет на моей земле. Я приказал протянуть через Тобол цепи и перебить их!

– Государь, – вмешался в разговор один из приближенных, – цепи, по твоему приказанию, были протянуты.

– Ну и что же?

– Бежавшие воины сказали, что пришла к русским подмога и побила твои войска.

– Этого не может быть! – нахмурившись, проговорил Кучум. – Что еще видел? – обратился он к шаману.

– На месте Сибири я видел какой-то чужой город, в нем было много христианских церквей...

– Ты все лжешь! – закричал, вскакивая, Кучум. – Все лжешь... Ступай и не смей ко мне никогда приходиться!

Шаман покорно вышел из юрты.

– Государь, Таузак просит позволения войти, – доложили Кучуму.

При этом имени царь оживился, лицо его повеселело.

– Пустите, сейчас же пустите! – приказал он. – Ну что, поколотил ты русских, прогнал этих собак? – спросил он.

– Нет, государь.

– Почему? – гневно спросил Кучум.

– Они побили нас, меня взяли в плен и отпустили к тебе.

– Как же ты смел явиться ко мне?!

– Служа тебе, государь, верно, я счел за лучшее предупредить тебя об опасности.

– Если не сумел справиться, оставался бы с ними: мне та-

ких слуг не нужно.

– Государь, не гневайся на меня! С ними ничего нельзя было сделать, если бы ты сам видел их, то сказал бы то же, что и я.

– Что же это, богатыри, что ли?

– Богатыри, государь, люди все крепкие, сильные!

– А вас мало было разве?

– Много, государь, и справились бы мы с ними, если б не их луки!

– А у вас их не было?

– Их луки, государь, не такие, как у нас: когда они стреляют, то из луков выходит дым и огонь; гремят они, словно гром, а стрел не видать, только убивают насмерть. Подступиться нельзя, кольчугу железную пробивают.

– Что же это за луки такие?

– Не знаю, государь, только наши стрелы и наполовину против ихних не долетят!

Задумался Кучум, сидит и молчит – непонятны ему казачьи луки и стрелы.

– Погибнет царство Сибирское от русских! Погибнет царство Сибирское от русских! – донесся голос снаружи в царскую юрту.

Кучум встрепенулся.

– Какая это собака орет там? – спросил он, дрожа от гнева.

Татары выскочили на улицу и вскоре воротились.

– Кто это там? – гневно произнес царь.

– Шаман какой-то!

– Бросить его в Иртыш.

Татары вышли исполнить приказание царя, схватили шамана и потащили к берегу. Вскоре в воздухе что-то мелькнуло, далеко внизу раздался плеск воды, и предсказатель скрылся с глаз своих палачей.

Кучум между тем обдумывал, как ему расправиться с казаками. Гнев на Таузака у него прошел; он, напротив, начал советоваться с ним.

– Твоя воля, государь, – говорил Таузак, – а по-моему, лучше мирно с ними обойтись, не драться, иначе они побьют нас да, пожалуй, и царством завладеют.

– Мирно? А мирно они нас не прогонят из царства? Даром они, что ли, пришли сюда! Нет, я думаю не так сделать. Разошли во все концы царства гонцов, пусть все собираются против русских; Маметкулу сказать, чтобы он с конницей напал на них; если Маметкул не одолеет, тогда я сам пойду и перебью их всех. Да сделать заемку, пусть они попробуют взять ее!

Молча слушал Таузак Кучума, и грустно было ему. Он видел, что трудно бороться с казаками; хотя их и немного сравнительно с несметными татарскими полчищами, он на себе испытал их силу; но разве можно было убедить Кучума в неодолимости казаков?

Он вышел, чтобы привести в исполнение распоряжения Кучума, а последний предался мечтам о том, как он разгро-

мит своих врагов; живых, попавших в плен, прикажет казнить лютой смертью, а остальных продаст в неволю бухарцам. Замечтавшись, ему показалось, что все это исполнилось уже, царство его находится в безопасности, и с веселой улыбкой отправился он к женам.

Глава двадцатая. Богатырь Маметкул

Два дня уже отдыхают казаки после постоянных стычек с татарами; несколько дней прошло, как исчезли последние из них.

– Куда провалились они? – говорил Кольцо. – То чуть не каждый час глаза мозолили, а теперь хоть бы один; неужто ушли и царство свое бросили?

– Ну, вряд ли они бросят царство, да куда и уйти им, – заметил Ермак, – должно, что-нибудь неладное затеяли они.

– Народ дюже хитрый, – вмешался Мещеряк, – это, атаман, говоришь ты верно: что-нибудь, лукавые, да замышляют аль с силами собираются да потом разом и нагрянут. Опаску иметь все-таки не мешает.

Не видя татар, казаки беззаботно предавались отдыху. Некоторые латали порванную одежду, другие сладко спали или перекидывались, лежа, словами, солнышко пригревало жарко и располагало к лени.

– Долго ль мы будем стоять тут? – говорил один.

– А тебе небось надоело?

– Нет, ничего, отчего не отдохнуть, отдохнуть хорошо.

– С силами, по крайности, соберемся, легче будет татарву бритую колотить.

– А сколько мы ее перевели – страсть, не перечесть.

– Еще больше осталось, их, словно тараканов, никак не переведешь!

– И впрямь тараканы... Да чтой-то последние дни не видеть их?

– Сквозь землю провалились! – засмеялся казак.

В это время как вихрь вылетели из-за леса тысячи конных татар, предводительствуемые Маметкулом. С гиком бросились они на казаков, тысячи стрел обсыпали Ермакову дружину, засвистели брошенные копья, татары прямо неслись на стан. Перепуганные внезапным появлением татар, казаки вскочили, не зная, что делать; некоторые бросились к берегу, к челнам, за ними шарахнулись и остальные. Ермак заскрежетал от злости зубами.

– Куда? – закричал он бежавшим казакам. – За мной вперед! – продолжал он, выхватывая саблю и бросаясь на татар.

Ободренные криком Ермака, казаки остановились, пришли в себя и бросились на татар; раздались выстрелы. Татары испугались и остановились; выстрелы зачастили, но татары оправились в свою очередь.

– Не стреляйте, молодцы, не губите зарядов, пригодятся еще, врукопашную лучше! – раздался снова голос Ермака. Стрельба прекратилась, началась схватка. Долго бились ка-

заки, много полегло татар, но десятка два и казаков.

«Нет, знать, их не прогонишь, вишь, саранча проклятая, – думалось Ермаку, – только людей своих загубишь, надо садиться в лодки».

Казаки начали отступать под натиском. Вот и берег.

– В лодки, товарищи! – скомандовал Ермак.

Казаки бросились в челны, татары – за ними в воду, но пули казацкие свалили их с лошадей. Отъехав на середину реки, Ермак скомандовал дать залп, десятки врагов повалились на землю.

– Вот вам, это поминки по товарищам! – проговорил атаман. – Вперед, ребята, авось дьяволы отстанут.

Дружина распустила паруса и двинулась по течению реки. Последняя сузилась; с двух сторон ее поднимались крутые обрывистые берега; татары время от времени показывались на берегу, но, встречаемые выстрелами, быстро исчезали. К вечеру они скрылись.

– Ну, нынче, атаман, плоха у нас будет ночка! – заметил Мещеряк.

– Да, к берегу приставать нельзя, в любой момент нагрянут, вишь, их тьма какая! – отвечал Ермак.

– Ну и на реке не заночуешь; ехать темно, ничего не видеть, того и гляди, наткнешься на что-либо.

– А я так думаю, – заговорил Кольцо, – что мы переночуем спокойно, только нынче еще раз придется драться.

– Что так?

– А ты, Ермак Тимофеевич, погляди вперед. Видишь, чуть виден городок, вот и ночевка, только даром ее не возьмешь – татарву гнать придется.

– Какой же это город?

– А вот «языка» нужно спросить.

Подплыли к лодке, в которой сидел татарин-переводчик, спросили его о городе.

– Это – Карачи-город, воин у Кучума, храбрый очень, тут недалеко уж и Сибирь будет, как только минуем Чувашью гору, так она и будет!

– А гора-то эта далеко?

– А вон направо синее, это она и есть.

– Ну, Ермак Тимофеевич, Бог даст, скоро и желание твое исполнится! – заметил Кольцо. – Завтра в Сибири будем.

– Да, коли живы останемся, – проговорил задумчиво атаман.

– Бог не выдаст, свинья не съест! – усмехнулся Кольцо. – До сих пор Бог нам помогал! Сколько поганых уложили, а у нас всего десятка три убитых!

– Ну, это как Бог даст, прежде-то мы поганых гоняли, а нынче они нас; вишь, их сколько, пожалуй, не совладаешь, и Сибири, уж что и говорить, даром они не отдадут.

Лодки между тем приближались к городку, недалеко от которого было заметно движение толпы.

– Заворочались, окаянные, знать, напасть хотят! – проговорил Кольцо.

Ермак велел остановиться, затем встал на ноги. Кругом его лодки сгруппировались казацкие челны; Ермак снял шапку.

– Православные! – заговорил он. – Сегодня много рабo-тушки выпало на нашу долю, потеряли нескольких товарищей, да вдобавок еще и ночевать нам негде, на открытом месте никак нельзя. Нападут ночью поганые, всех нас перебьют, а без сна ночь проводить на реке негоже, и так уж умаялись. А на что лучше отдохнуть, как не в городке? Добудем же его, да и татар поколотим в отместку за своих товарищей. Причаливайте, товарищи, к берегу!

Неохотно повернули казаки свои челны; это не ускользнуло от Ермака...

Казаки высадились; им навстречу бросились татары под предводительством Карачи. Завязался бой, и не прошло и часа, как татары рассыпались по степи.

Рады были казаки отдохнуть после тревожного дня, но покой их смущали рассказы пленного татарина. От него узнали они, что рядом с ними, у Чувашьей горы, засел сам Кучум с десятью тысячами войска; кроме того, к нему присоединился Маметкул, дравшийся с дружиной нынче.

Заставила эта весть призадуматься и Ермака.

«Десять тысяч, – думалось ему, – если он наполовину врет, и то плохо – где мне с пятью тысячами справиться?»

И не спалось Ермаку – одна дума горше другой одолевали его. Неужели судьба посмеется над ним? Неужели он должен

потерпеть неудачу в то самое время, когда наступает конец всем мытарствам? До сих пор он шел победоносно, еще шаг – и он достигнет цели. Одна, только одна битва, и он полно-властный владыка, царь Сибири; неужели счастье изменит ему? Конечно, изменит! Разве возможно горсти людей одо-леть хотя бы пятитысячную массу?

К утру только задремал атаман, но ненадолго. Его разбу-дили, толкая; он открыл глаза.

– Вставай, Ермак Тимофеевич, – говорил с тревогой в го-лосе Кольцо, – вставай, беда пришла!

Ермак вскочил.

– Какая беда? – спрашивал Ермак, спросонья хватаясь за саблю. – Аль татары напали?

– Хуже, атаман, с татарами мы справились бы, а то свои замятежничали!

– Как свои? – не поверил Ермак.

– Выдь на улицу, погляди, что творится.

Ермак выбежал на двор; там собрался круг. Он незаметно подошел и стал прислушиваться к речам казаков.

– Так как же, братцы, вперед иль назад идти? – спрашивал чей-то голос.

– Вестимо, назад, вперед никак невозможно, ишь их со-бралось сколько, как мух нас передавят! – слышался ответ многих.

– Назад, назад, делать тут больше нечего, немало у нас добра, больше того, что есть, и не нужно!

– В лодки, ребята!

– Пойдите, братцы, чего испугались? – слышался голос Мещеряка. – Что нам, в диковинку, что ль, одному против десятерых драться; чай, сумеем постоять за себя!

– Рассказывай, прежде поганые ружей боялись, а теперь они привыкли к ним, ничего с ними не поделаешь.

– Да что тут толковать! Валяй в лодки!

– Стойте, братцы, недоброе дело вы затеяли: решаете ехать, не сказавши атаману! – говорил Мещеряк.

– Что ж, атаман нашел сюда дорогу, найдет и отсюда! Айда в лодки!

Закипела кровь в жилах Ермака.

– Дорогу атаману! – крикнул он.

В один миг слетели шапки с казацких голов, и перед Ермаком открылась широкая дорога. Он вошел в круг.

– Давно ли это без моей воли начали круги собирать? – спросил он строго. – Аль забыли уговор? Знаю, что не все вы пожелали круга, а какой-нибудь супротивник нашелся. А паршивую, гнилую траву из поля вон, в мешок да в воду.

Казачи молчали.

– Что нужно вам? Зачем собрались?

После некоторого молчания выступил казак и начал приводить доводы о необходимости повернуть назад.

– Глупый вы народ! Как мы шли сюда? Водю! Оттого и целы остались; а теперь, через неделю или две, реки станут, придется идти сухопутьем, и передавят вас татары, как

клопов каких. Аль смерти бесславной захотелось? По-моему, коль помирать, так помирать с честью, а смерть нам не страшна. Сами ведь мы от разбойного дела отказались, что ж скажут про нас, коли мы воротимся? Как были, мол, разбойниками, так ими и остались, пошли, награбили всякого добра да и назад.

Между казаками прошел ропот.

– Веди, атаман, куда хочешь, всюду за тобой пойдем! – слышались голоса.

– Оставаться, ребята! – чуть не в один голос крикнули казаки. – Будь что будет, а стоять будем до смерти.

– Помолимся Богу да и ударим на поганых! Побьем их – нам слава; сами ляжем – тоже слава, а смерти бояться нечего: ведь двух их не бывает.

Позвали попа, тот отслужил молебен, и, едва рассвело, казаки двинулись к Чувашьей горе.

Началась страшная битва; много казаков пало, но остальные не дрогнули... Видят татары, как подмяли их храброго Маметкула, и побежали, бежал и Кучум. Победа казаков была полная, только больше сотни товарищей они недосчитались у себя.

Здесь же на месте побоища был отслужен благодарственный молебен и панихида по павшим.

– Ну, товарищи, спасибо за службу, – говорил Ермак, – теперь еще одна может быть битва – и царство Сибирское наше! Думали ли, гадали ли вы завоевать целое царство, а

пока что пойдём вперед: не возьмем Сибири – все равно что ничего не сделали!

Двинулись вперед, перед ними скоро показался город, но казаки не решались входить в него.

– Наверно, проклятые засаду устроили, – говорил Кольцо, – нужно осмотреться хорошенько.

Но город был пуст: все, что было живого в нем, бежало в степь. Казаки заняли его.

– Ну, Иван Иванович, вот и мечты сбылись наши, только ближним боярином тебе так же не быть, как и царем мне.

– Ну его к лешему, боярство-то! – засмеялся Кольцо.

– А ты вот недельки две аль три поотдохни да и отправляйся к царю, бей ему челом новым царством.

– Нешто я поеду?

– А кому же больше и ехать-то? Ты столько же завоевывал Сибирь, сколько и я!

Глава двадцать первая. Ермак, князь Сибирский

Весело отпраздновал в Москве Дементий Григорьевич Строганов свадьбу Фроси с Арбузовым, весело даже не по времени. Уныло стояла осиротелая Москва: царя в ней не было, проживал он в Александровской слободе, и из Москвы только выхватывались новые и новые жертвы опричнины... Тяжко дышалось. Боязнь за свою жизнь, позор за литовский

мир тяжелым камнем лежали на душе у каждого русского.

«Что-то будет дальше? – невольно думалось каждому. – Уж такого лихолетья и не было никогда на Руси, словно последние дни пришли!»

Отпраздновав свадьбу, загрузил и Строганов; вот уже два месяца живет он в Москве, а к царю не зовут его, потому как во гневе находится царь, в таком гневе, что убил своего сына-первенца и изуродовал любимца своего, Бориса Федоровича Годунова. Лежит теперь последний в постели, и с ним только отводит душу Дементий Григорьевич.

Был пасмурный декабрьский день, солнышко и не проглядывало за весь день, на небе повисли свинцовые снеговые тучи, невесело делалось на душе. Строганов собирался идти к Годунову; оставалось только надеть шапку и выйти; в это время вошел челядинец.

– Спрашивает тебя, Дементий Григорьевич, человек какой-то!

– Какой такой? – с недовольством спросил Строганов.

– А бог его знает, говорит, дело важное!

– Какие там еще дела, ну, зови его!

Вошел незнакомец. Строганов при виде его окаменел, потом бросился к нему на шею.

– Иван Иваныч, голубчик, какими ветрами тебя занесло сюда? – говорил он, обнимая и целуя Кольцо.

– Сибирскими, Дементий Григорьевич, – смеялся гость.

– Господи, а мы думаем, что от вас и косточек не осталось;

панихиды по вас служили!

– Что ж, и за это спасибо, а теперь отслужим молебен.

Строганов вдруг насупился:

– Обрадовался, Иван Иванович, тебе, видит бог, как обрадовался, только как же это, уж я и ума не приложу...

– Что такое?

– Больно ты смел – в Москву-то явился.

– А чего же мне бояться-то? – засмеялся Кольцо.

– Грозен ноне царь, куда грозен, такие казни придумывает, что, кажись, в аду таких мук не будет!

– Ну и на здоровье, пусть его себе тешится, мне-то что?

– Как что? Аль забыл, во что твою буйную головушку оценил он?

Кольцо засвистел.

– Было время, Дементий Григорьевич, – заговорил он, – да сплыло. В те поры я сам казну его грабил, а теперь к нему с дарами приехал. Столько одних соболей навез, сколько он отродясь не видывал.

– Откуда же ты взял их?

– Вестимо, не грабленные, не ворованные, а свои собственные, из своего царства Ермак Тимофеевич посылает.

Строганов еще более удивился:

– Из какого царства?

– Да из нашего, Сибирского!

– Да какое же оно ваше?

– А то чье же? Вестимо, наше, коли мы его завоевали! Вот

теперь и послал меня Ермак Тимофеевич бить царю челом новым царством, а ты говоришь – голову с меня снимут, было бы за что! Только вот не знаю, как к царю добраться!

Строганов долго не мог прийти в себя от удивления.

– Да знаешь ли, Иван Иваныч, знаешь ли, что вы сделали?

– Аль дурное дело?

– Какое дурное! Вы Русь спасли. Ведь царь и гневен потому, что Русь на клочки рвут; там татары, там литва, со всех концов напасти, а ведь ты с какой радостью-то приехал! Экошь, целое царство в подарок привез.

– Да еще какое царство-то!

– Едем сейчас же к Годунову!

– Что ж, поедем, коли он с почетом примет.

– Еще с каким почетом-то!

– Ну коли так, поедем.

Ушам своим не верил Годунов, слушая рассказ Кольца. Не оправившись еще от ран, он бросился к царю, в Александровскую слободу.

Теперь москвичи вздохнули. Царь повеселел, возвратился в Москву, казни прекратились. Гулом прокатилась по Москве весть о присоединении Сибири; имена Ермака Тимофеевича и Ивана Ивановича Кольца не сходили с языка, служились о здравии молебны, русские люди при встрече целовались и поздравляли друг друга, как в Светлое Христово Воскресенье.

Настал день приема царем Кольца. Загудели кремлевские

колокола, их подхватили остальные, и торжественный гул прокатился над Москвой.

Загремели с Тайницкой башни пушки, возвещая радость народу. Не оставил царь и виновников торжества, наградил он их по-царски. Забыты были старые вины: вместо обещанной плахи царь наградил их дарами и Ермака пожаловал князем сибирским.

Весело возвращался Иван Иванович в Сибирь с царскими дарами в сопровождении двух воевод и трехсот стрельцов, которых послал царь на подмогу Ермаковой дружине.

Глава двадцать вторая.

Помощь царя Ермаку

Куда больше времени потребовалось Ивану Ивановичу для возвращения в Сибирь против прежнего.

Отправляясь от Строгановых с атаманом, они двинулись в путь налегке, на заранее приготовленных челнах. А теперь пришлось держать путь от Москвы, а скоро ли доберешься от нее даже до Строгановых с боярами, не привыкшими к походам, едущими в своих рыдванах. Устраивались дневники, роздыхи по нескольку дней, и немало прошло времени, немало уплыло воды, пока перед ними показались строгановские хоромы.

Словно родине обрадовался Иван Иванович этим хоромам, чем-то родным, знакомым пахнуло на него, воспомина-

ния целым роем пронеслись перед ним.

Вспомнилось ему, как он в первый раз явился в эти хоромы после своего вольного житья на Волге, явился отпетым, приговоренным к смерти, вспомнилась ему и далеко не приветливая встреча Строганова, а там житье с атаманом и товарищами, стычки с врагами, а там и славный, ознаменованный на каждом шагу победами путь в Сибирь, разгром татар.

Таков ли он был тогда, когда ушел из этих самых мест, таким ли возвращается он, везя приговоренному к смерти бывшему атаману разбойничьей шайки Ермаку Тимофеевичу царские награды, княжеский титул?

С недоумением смотрел Григорий Григорьевич Строганов на приближавшуюся к хоромам рать, хотя сюда уже дошел слух о том, что царь хочет послать Ермаку подмогу, но в первые минуты это выскочило у него из головы.

Но недоумение это тотчас же рассеялось, как скоро увидел он Ивана Ивановича.

Скоро все задвигалось, заходило в строгановских хоромах, пир горой пошел, нашлось место всем, стрельцов разместили на старом казацком пепелище.

Прошло несколько дней, понравилось боярам привольное житье у Строгановых, подольше им хотелось погостить у них; с неудовольствием вспоминали они о дальнейшем пути, пути в неизвестную сторону, где, кроме лишений да невзгод, ничто не ожидало их.

Кольцо, напротив, скучал, тяготился своим бездействием,

его тянуло к атаману, к той тревожной жизни, которую вел он до отъезда в Москву.

А бояре совсем загулялись, Кольцо делался все пасмурнее и пасмурнее.

– Вот что, бояре, пора нам и о пути подумать, здесь мы совсем зажились, – однажды заговорил он.

– Куда спешить, успеем еще добраться до твоей Сибири, – отвечали бояре.

– Вестимо, успеем, только когда это будет, того и гляди, зима станет, тогда зимовать-то в лесу придется, не больно далеко уйдешь.

– Ну что же, перезимуем.

– А по-моему, – говорил Строганов, – вам до весны и двигаться не след, как откроются воды, тогда и в путь; а то ведь все равно зимой вам не идти, горя только на стоянке натерпите, уж лучше в тепле да покое зиму провести, летом вы мигом доберетесь.

– Дело известное! – подтвердили бояре.

– Мне известнее это дело, – возразил Кольцо, – прежде всего царь не прохлаждаться нас послал, а на подмогу князю Ермаку Тимофеевичу сибирскому, а уж я знаю, что подмога ему вот как теперь нужна; когда я уезжал в Москву, так ему и тогда трудненько приходилось, а с той поры много времени прошло, мало ли что могло случиться, татарвы кругом не перечтешь, так и смотрят они, как бы какую ни есть пакость сделать, а у Ермака Тимофеевича дружины и третьей доли,

поди, не осталось. А что про дорогу говорите, так я шел по ней, хорошо ее знаю, по ней не долетишь, как говорит Григорий Григорьевич.

– Да ведь все равно, зиму-то в лесу, говорю, где-нибудь простои́те?

– Почем знать, дорога известная, теперь можно и зимою идти, а хотя бы и в лесу пришлось стоять, зато этот самый лес поближе к Сибири, чем ваши хоромы, а нам все едино идти, не на лодках ехать, потому как с нами пушки.

Но увещания Ивана Ивановича мало действовали на предавшихся покою бояр, Строганов горячо поддерживал их, что и было на руку первым.

Кольцо выходил из себя, он не мог перенести мысли о том, что в то время, когда они здесь бражничают и бездействуют, его друг Ермак подвергается всяким опасностям. Он стал настойчивее требовать похода, но все его речи и настояния пропускались мимо ушей.

Наконец терпение Кольца лопнуло.

– Вот что я вам скажу, бояре, – заговорил он решительно, – ежели вы решили оставаться здесь на зиму, так и оставайтесь, мешать вам не буду, я и один отсюда уйду.

– Что же ты, один подмогу своему Ермаку сделаешь?

– Почем знать, может, и сделаю, – загадочно произнес Кольцо.

– А как же мы-то пойдем, нам некому будет и дороги указать.

– Об этом вы не беспокойтесь, я укажу вам ее, – усмехнулся Кольцо, – а коли не вам, так другому кому.

– Чудные речи ты ведешь, Иван Иванович, – заговорил в свою очередь Строганов, – то один уйдешь, то проведешь их, да и как тебе одному идти, на погибель нешто? Да и какая подмога будет из тебя одного Ермаку Тимофеевичу?

– Знаю, что моих двух рук мало.

– Так о чем и толковать после того.

– Да я и не пойду в Сибирь, одному туда идти, ты это правду сказал, все равно что на погибель.

– Так куда же ты пойдешь, чем нехорошо тебе у нас?

– А я в Москву пойду, – отвечал Кольцо.

– В Москву? – невольно вырвался у всех вопрос. – Зачем?

– Пойду прямо к царю да и доложу ему, чтобы он не гневался на нас с Ермаком Тимофеевичем, коли беда какая случится, коли царство Сибирское отнимут татары и его снова придется завоевывать.

Такого ответа никто не ожидал. Все хорошо знали, что исполни свою угрозу Кольцо, тогда не сносить головы боярам, все знали хорошо царя, знали, что он шутить не любит и, пожалуй, это сидение у Строгановых просто сочтет за измену. Но у них оставалась еще небольшая надежда, что слова Ивана Ивановича есть не что иное, как угроза, они надеялись, что он не приведет ее в исполнение.

Прошло два дня, жизнь потекла по-старому; Кольцо, видя, что слова его не подействовали, начал собираться в до-

рогу.

– Ну, Григорий Григорьевич, – сказал он, входя на четвертый день после своего последнего разговора к Строганову, – спасибо тебе за хлеб, за соль, за твою ласку, я пришел проститься с тобой.

– Да ты куда же это собрался?

– Ведь я же тебе сказал, что уйду в Москву.

– Что ты, Иван Иванович, неужто ты и вправду задумал это дело?

– А что же мне слова на ветер бросать.

– Ведь ты знаешь, что будет?

– Еще бы не знать, царь бояр по головам гладить не любит.

– Так ведь это же зло?

– Что ж, у них на плечах есть свои головы, могут знать да пораздумать, что хорошо и что дурно. А это разве хорошо, что они человека бросают без всякой помощи на погибель? Нешто они затем посланы?

– Да ты погоди хоть, скажи боярам.

– А я нешто не говорил, так ведь им что об стену горох, они одним ухом слушают, а в другое выпускают.

– Погоди до завтра хоть, я поговорю с ними.

Кольцо задумался.

– Ну, ин так и быть по-твоему, – согласился он, чуть помедля, – только гляди, ежели они опять канитель затянут, так вот видит Бог, завтра же уйду.

– Право, так лучше будет!

Гневом закипели боярские сердца, когда Строганов передал им свой разговор с Кольцом.

– Что делать, бояре, – говорил он, – больше задерживать вас не буду, уходите дальше, сами видите, что это черт, а не человек, с ним каши не сварить, пойдет вправду в Москву, плохо нам всем будет.

– Черт бы его взял, – ворчали бояре, – пропал бы он вместе со своим разбойником-атаманом и с Сибирью этой проклятой!

Но делать было нечего, нужно было отправляться, начались сборы, повеселел Кольцо, приободрился.

«Только бы выйти отсюда, – думал он, – а там волей-неволей придется идти и зимой; авось Бог милостив, к весне доплетемся».

Чем веселее делался Кольцо, тем угрюмее и мрачнее становились бояре. Чуть не с ненавистью глядели они на хлопотавшего Ивана Ивановича.

Сборы продолжались несколько дней, наконец наступил и день отправления.

Медленно, неохотно двинулся отряд в путь. Все были недовольны, все ворчали и намеренно сторонились Ивана Ивановича, но последний не обращал на это никакого внимания, он держал себя особняком, его только и радовало, что с каждым днем расстояние до Сибири сокращалось. А дни становились все короче и короче, все меньше делались переходы, приходилось раньше останавливаться на ночлег и

позднее выступать в поход, о дневках нечего было и думать – негде было приютиться. На ночь обыкновенно останавливались в лесу, раскладывали костры и спали беспокойным сном, каждую минуту ожидая беды и нападения бродивших еще вогуличей или же диких зверей, которых было в изобилии.

Скучен был этот поход, не мог он сравниться с походом Ермака. Тогда шел Иван Иванович с другом, с товарищами, всех соединяло братское чувство, теперь же вместо удальцов-казаков плелись безучастные к походу стрельцы, Кольцо был совершенно одинок.

Наступили морозы, все сильнее делались они, а там повалил и снег, ропот между стрельцами начал усиливаться, холод и голод стали давать себя чувствовать. Кольцо и сам стал призадумываться, видя, что идти дальше невозможно.

«Ну да не беда, – думалось ему, – как-никак, а больше половины пути прошли, теперь хоть и зазимовать можно».

Между тем бояре вели между собою толки об остановке, они видели, что люди измучились, появились среди них и хворые, нужно было дать отдых, и отдых продолжительный, при этом им невольно вспоминалось привольное житье у Строгановых, и еще пуще закипала досада и злость на Кольцо. Они уже не боялись его, знали, что теперь в Москву ему не воротиться.

Показался Урал, уж близок он, еще день-другой, и они достигнут его.

«Эх, кабы еще недельки две, перевалить бы нам за Урал, а там уж и дома», – мечтал Кольцо.

Но боярам становилось все более невтерпеж продолжать поход.

После одной из ночевок они отдали приказ рубить деревья и строить землянки.

– Иль зимовать задумали, бояре? – спросил их Кольцо.

– А что ж, по-твоему, дальше по сугробам идти да людей морозить.

– Я не про то, а недолго нам и горы перевалить, – отвечал он.

– Ну уж нам лучше знать, как делать, – отрезали бояре.

– Опять же, там у нас городки срублены, а в избах куда лучше зимовать, чем в землянках.

– Пока до твоих городков доберемся, так и половину людей потеряем.

– Ну, как знаете!

– Вестимо, у тебя спрашиваться не станем.

Кольцо махнул рукой и покорился необходимости.

Стрельцы повеселели ввиду отдыха, бодро принялись они за постройку своих зимних логовищ, быстро закипела работа, и в два дня подземный стрелецкий город был готов.

Закручинился снова Кольцо. Не по душе ему были теперешние товарищи, затосковал он по своим удалцам-казакам.

«Что-то теперь они подельывают, – раздумывал он, – шут-

ка ли, сколько времени прошло, как я оставил их, половины, чай, и в живых не осталось».

И грустью сжималось у него сердце. Долгими, томительно долгими казались ему короткие зимние дни, но еще томительнее тянулись длинные ночи, проводимые большею частью без сна.

Он начал считать дни, сколько осталось их до той поры, когда они смогут двинуться дальше.

Наконец дни стали удлиняться, солнышко начало пригревать сильнее, снегу становилось все меньше... С замиранием сердца ждал Кольцо приказа о выступлении. Самим боярам надоела эта длинная стоянка, прошедшая не без лишений. Вскоре был отдан приказ собираться в дальнейший путь. Повеселел снова Кольцо, все старое было забыто, он только и видел впереди Сибирь, свидание с Ермаком, его влекла к себе деятельная, боевая жизнь.

Двинулись в путь. Знакома была Ивану Ивановичу дорога, но казалась она гораздо длиннее, чем прежде; нетерпение окончательно овладело им.

Наконец мелькнула у него перед глазами и Сибирь.

В городе, видимо, заметили их, видно было движение, суета, по-видимому, их сначала приняли за врагов, но когда они приблизились, перед ними широко распахнулись городские ворота и оттуда толпой хлынули казаки.

Кольцо ринулся вперед и через несколько минут обнимал друга своего Ермака Тимофеевича, поздравляя его с царски-

МИ МИЛОСТЯМИ.

Глава двадцать третья. Смерть Кольца

Несколько дней почти ни на минуту не расставались так долго не видавшиеся друзья, с ранней зари до поздней ночи, пока, утомленные, не засыпали, вели они разговоры обо всем, что произошло за время их разлуки. После того как уехал Кольцо, жизнь казаков текла однообразно, приходили к Ермаку местные жители с просьбою сделаться у них князем, чтобы защищать от нападений все еще не уходившейся татарвы. Ласка Ермака, небольшой, сравнительно с татарским, налог, требуемый героем как дань, привлекали к нему многих. Сильно хотелось Кучуму возвратить свое царство, разгромив казаков, но все попытки ограничивались небольшими стычками, которые заканчивались бегством татар.

Кольцо, рассказывая Ермаку о Москве, о порядках тамошних, о Строгановых, упомянул и о своем столкновении с боярами, которых царь послал в Сибирь.

– Какая от них помощь, – говорил Иван Иванович, – кроме помехи, от них ничего не увидишь.

– Да кто от них и помощи просит, привыкли они там у себя в Москве на печи лежать, ну пускай и здесь отлеживаются, благо вместо юрт мы теплые избы построили, – заметил Ермак.

– Это бы не беда, кабы они только на печи лежали, а

то ведь мешать только будут, вздумают себя начальниками здесь поставить, что ты с ними поделаешь.

Ермак засмеялся:

– Эх выдумал! Начальниками!

– Не знаешь ты их, Ермак Тимофеевич, с ними одно только наказание божеское. Ты задумаешь что сделать, а они все наперекор.

– Как же это так? Чай, знают, что присланы они сюда царем не распоряжаться, а на подмогу мне.

– Дорогой измучили они меня, всю душеньку вымотали, уж думал и не доберусь я до тебя.

– Ну, здесь поуймутся, справимся.

– Как справишься-то? Ведь их в мешок не сунешь да в Иртыш не спустишь.

– А отчего ж и не спустить?

– Потому как бояре они, а не казаки.

– Мы сами теперь с тобой бояре, а что до казаков, так каждый из них мне, Иван Иванович, дороже десятков бояр.

– Это что и говорить. Только и не любо уж как им, – засмеялся Кольцо, – не любо, что тебя царь в князя пожаловал.

– Помеха я им, что ль?

– А шут их знает, должно, поперек горла встал.

– Бояре что, – заговорил Ермак, – о них и речи не стоит вести, а вот с Кучумом как бы справиться, не дается бритая башка в руки, и шабаш...

– Жив не буду, коли выпущу его из рук, если попадется, не миновать старому слепому черту меня.

– Твоими бы устами да мед пить!

Не особенно долго пришлось ждать Ивану Ивановичу случая изловить Кучума. Не прошло полугода после его возвращения из Москвы, как пронесся между казаками слух, что недалеко снова показался Кучум с целыми полчищами татар.

– Ну и доброе дело, – шутил Ермак, – сразу двух бобров уьем, Кучумку, бог даст, изловим и в Москву отправим, да еще поглядим, каковы наши лежебоки-бояре в ратном деле.

– Небось такие же, как и астраханский воевода, что на нас на Волге нападал.

– Ну, тот еще ничего, от того и нам немного досталось, а эти и видом-то на ратных людей не смахивают.

– Поживем – увидим, – закончил Кольцо.

А слухи между тем росли и росли, между казаками заметно было оживление, предстоящие стычки с татарами как будто приободрили их, но зато среди стрельцов, напротив, распространилось уныние.

– И что, оглашенные, радуются, – говорили они, – вишь, рожи словно майские цветы расцвели, будто на пир их позвали.

– Что им, как были разбойниками, так и остались, терять-то им нечего.

– У нас в Москве у всех семьи остались, хозяйство, как подумаешь...

– Да, загнали за тридевять земель, пожалуй, и не воротишься.

– Убьют, и пойдут семьи по миру, кто об них подумает, о сиротах.

И чем дальше, тем более уныние и тоска овладевали стрельцами. Это настроение заметил Ермак.

– И впрямь, – сокрушался он, обращаясь к Кольцу, – дело плохо. На стрельцов полагаться нечего – какие они ратные люди; носы хуже баб повесили.

– Как-нибудь и без них управимся.

– Как управиться-то? Много ли нас осталось, а если и вправду говорят, что у Кучума сила несметная... А эти бараны-стрельцы и наших с толку собьют, как шарахнут от татар наутек.

– Уж и шарахнут, Бог милостив.

– Чует мое сердце что-то недоброе.

Пасмурен был Ермак Тимофеевич, только виду не показывал, смущать никого не хотел, а стрельцы и слабые силы казацкие сильно смущали его.

Весна вошла в свои права, зазеленели луга, леса, и люди обновились будто, почувствовали себя бодрее и сильнее.

Было веселое, светлое весеннее утро. Сибирь только зашевелилась, Ермак собирался уже выйти с Кольцом из дома, как к нему привели татарина.

– Кучум близко, говорит он, – сказал приведший татарина казак.

Ермак встрепенулся.

– Где же, далече ли? – спросил он.

– Тут близко, полдня пути, в лесу притаился, – отвечал татарин.

– Что же он прячется?

– Как не прятаться, коли с ним всего человек двадцать.

Ермак недоверчиво поглядел на татарина:

– А где ж его несметная сила?

– Сила-то его далече, он к ней и пробирается.

– А ты проводишь к нему?

– Отчего ж не провести, бачка, проведу. Если теперь пойдем, к полдню там будем, а то к ночи можно попасть, живьем возьмешь, народу с ним нет.

– Только смотри, правду ли ты говоришь, если солгал, первая же твоя голова с плеч слетит.

Татарин заклился и забожился, что говорит правду, Ермак велел не отпускать его.

– Ну, Иван Иванович, – обратился Ермак к Кольцу, – может, бог даст, и совсем дело кончим, только бы захватить нам Кучума.

– Ты что ж думаешь делать?

– Пойти да захватить его.

– Уж коли так, так ты меня отпусти, клятву ведь я дал с Кучумкой покончить.

– Ну, быть по-твоему.

Сборы затянулись чуть не до полудня, наконец казаки вы-

шли из города и двинулись по пути, указываемому татарин-
ном.

Уже вечерело.

– Скоро ли? – спросил с нетерпением татарина Кольцо.

– Сейчас, сейчас, бачка, – отвечал тот спокойно.

Становилось совсем темно.

– Вот здесь! – дрогнувшим голосом проговорил татарин.

Кольцо остановился, недалеко между деревьями блеснул
огонь, около которого двигалось несколько человек. Кольцо
приказал растянуться цепью и окружить стоянку Кучума.

Это была с его стороны роковая ошибка.

– Как выстрелю, так, братцы, и бросайтесь вперед, – при-
казывал он.

Казачи начали окружать местность.

Вдруг послышалось гиканье, и несметное число татар бро-
силось на казаков...

Не успел Кольцо выстрелить, как с раздвоенным черепом
повалился на землю.

Часть IV

Глава двадцать четвертая. Перед победой

Прошло два дня, как ушел с товарищами Кольцо. Томительны показались Ермаку эти два дня, никак он не может понять, что бы могло означать долгое отсутствие есаула, его правой руки.

«Говорил ведь татарин, что всего и ходу-то не больше как полдня, должен бы был воротиться Иван Иванович не позже чем на другой день к полудню, а теперь уж третий день, а его все нет... – раздумывал Ермак, – уж не пустился ли он вдогонку за ним... А если устроена была западня? Ведь татары мастера на это!»

И при этой мысли Ермак Тимофеевич похолодел даже весь. А мысль эта не дает ему покоя.

«Погляжу, что завтра будет, – решил он, хмурясь, – ежели завтра не воротится Иван Иванович, тогда чуть свет нужно отправляться на поиски».

Тревожно прошла ночь для Ермака, сколько ни ворочался он с боку на бок, сон так и не пришел к нему. Вспоминались ему разные эпизоды из прежней жизни, когда он шел рука об руку с Кольцом. Вставала перед ним Волга-матушка, степи

строгановские, поход на татар, и везде с ним был Иван Иванович Кольцо, везде они были неразлучны.

– И зачем я отпустил его, – шептал, ворочаясь в постели, Ермак, – лучше бы сам пошел, а то бог ведает, что могло приключиться, может, обманно куда завели его да и прикончили...

И представляла перед ним страшная картина: Кольцо, окруженный толпою татар, отчаянно защищается от них, но казаков горсточка всего, а татар несметное множество. Сила солому ломит, теперь уж не пугается татарва выстрелов, не так страшны они им, как прежде бывало. Массой они надвигаются на казаков, и падают удальцы один за другим от кривых татарских сабель, пришла очередь и Кольца, как колосья падают татары от ударов Ивана Ивановича, но рука устает, удары эти делаются слабее, а татарвы, сколько ни кроши ее, нисколько не уменьшается, бессильно опускается рука Кольца, и он весь в крови валится на землю.

– Быть того не может! – вскрикивает Ермак, вскакивая с постели.

Он зажигает огонь и начинает метаться по комнате.

– Светало бы скорее! – с тоскою шепчет он.

А ночь все тянется, каждая минута кажется Ермаку часом.

– Откладывать нечего, сегодня же нужно отправиться на розыски, – решает он.

На дворе чуть забрезжило, Ермак вздохнул облегченно. Вот блеснули и первые лучи солнца.

«Нужно пойти к боярам, с ними потолковать», – решил Ермак Тимофеевич, надевая шапку и выходя из дому.

На улицах Сибири не было еще никого видно, все еще спало; Ермак, прежде чем отправиться к боярам, повернул к валу, там дремали стрельцы, стоявшие на часах.

– Вишь, дьяволы, дрыхнут, долго ли так напасть татарам да всех перерезать, – проворчал Ермак.

Стрелец, слышавший шаги, встрепенулся и, узнав Ермака, струсил.

– Что ты, московское чучело, дрыхнешь, нешто для того ты тут поставлен? – накинулся Ермак на часового.

– Так, маленько вздремнулось, – отвечал стрелец.

– А если я тебя за это самое маленько на веревку вздерну аль в мешок и в воду спущу?

– Помилуй, государь-князь!

Ермак только плюнул в сторону и, тяжело вздохнув, поплелся дальше.

– Что к ним идти, – проговорил он в раздумье о боярах, – что в них толку...

Он кликнул казаков, собрал несколько десятков стрельцов и двинулся в путь, когда еще бояре покоились мирным сном.

Действительно, не очень долго нужно было идти отряду, чтобы добраться до места побоища. Скоро они наткнулись на изуродованный труп казака.

Дрогнуло сердце Ермака при виде трупа, недоброе почуял

он.

«Где же остальные?» – недоумевал он.

Чуть дальше лежал другой труп, а там и третий...

– Никак не пойму, что это значит, – шептал он, растерянно осматриваясь по сторонам.

Наконец он понял, в чем было дело. Трупы образовали собою круг.

Окружить хотел Иван Иванович, а они, проклятые, только того и ждали.

Наконец наткнулся он и на труп Кольца.

Долго он глядел на него, и крупные слезы медленно скатывались по его щекам.

– Никому, ни одной татарской голове не будет от меня пощады за Ивана Ивановича, сотни тысяч татар должны сложить свою голову, – дал клятву Ермак. – Теперь нужно, братцы, предать товарищей честному погребению, – обратился он к казакам.

Вскоре казаки вместе со стрельцами принялись за работу, вырыта была широкая и глубокая могила, где и были похоронены сложившие свою голову казаки.

Для Кольца вырыли отдельную могилу, на ней сделали высокую насыпь и поставили крест. Долго молился Ермак за упокой души своего верного друга...

Диву дались бояре, проснувшись поутру и узнав о раннем уходе из города Ермака.

– Куда его понесло? – недоумевали они.

– Это его дело, куда хочет, туда и пусть отправляется, а зачем он наших стрельцов забрал, ведь мы над ними поставлены, а не он, – недовольно проговорил один.

Наконец к вечеру явился Ермак.

Утром был Ермак Тимофеевич, на душе была у него страшная тоска.

– Завтра же, завтра же с утра в погоню за ними, окаянными, – сказал он сам себе решительно.

В это время отворилась дверь, и в комнату вошли бояре.

– Добро пожаловать! – приветствовал их Ермак.

– Здорово, – насупясь, отвечали гости.

– Присаживайтесь, гостями будете.

– Неколи присаживаться, по делу к тебе пришли.

– Добро, говорите, что за дело.

– А то, что ты не моги командовать нашими стрельцами! – с сердцем заговорил один из них.

– Что?! – насупясь, спросил Ермак. – Повтори, боярин, а то я не разобрал...

– Стрельцами, говорю, не командуй!

– Как так не командовать?

– Так и не командуй, мы над ними поставлены, а не ты.

Еще более нахмурился Ермак Тимофеевич.

– А я вам скажу то, что стрельцы не ваши, а царские, царь прислал их не на печи вместе с вами лежать, а мне в подмогу, значит, коли понадобятся они мне, так и буду командовать ими.

– Так, пожалуй, ты и над нами начальствовать захочешь? – запальчиво произнес тучный боярин.

– Вестимо, и над вами, коли нужда будет.

– Да где это видано, чтобы худородный да стоял выше родовитых, наши деды и прадеды... – заговорили было бояре, но их перебил Ермак.

– Не бабы, пустые разговоры, – строго произнес он, – а речи воинские должны вести мы, царь прислал вас не языком молоть, а дело делать. Будет вам, вправду, на боку лежать, небось промяли их, пора приниматься за дело.

– Ну и принимайся, коли тебе припала охота!

– Я и так не бездельничаю, время и вам с печи слезать.

И вот вам мой приказ: один из вас останется здесь – город охранять, а другие завтра чуть свет пойдут со мной в поход.

Бояре остолбенели, услышав решительный тон Ермака.

– Не бывать тому николи! – вздумали было возражать они.

Ермак выпрямился, глаза его сверкнули гневом, кулаки сжались.

– Быть, коли я приказываю, а с послушниками я сумею справиться по-своему, по-казацки, в мешок да в воду, а теперь ступайте домой готовиться к завтраму.

Но идти в поход против Кучума Ермаку не пришлось: с вечера еще заметили рыскавших вокруг города татар, и к утру Сибирь была обложена их полчищами.

Глава двадцать пятая. Набег татар

Проводив бояр, Ермак в волнении начал ходить по комнате.

– Так вот они как! – говорил он. – Родами вздумали считаться? Ведь я у них не спрашивал о роде, когда шел Сибирь завоевывать, да и какой счет, коли приходится с татарской драться, тут все едино: родовитый ли ты боярин или простой смерд – смерть для всех одинакова. Ну да ладно, завтра вот выйдем в поле, там мы с вами, бояре, и посчитаемся родами, а то привыкли лежать на печке с бабьем да придумывать небылицы, вот уж поглядим, пойдут ли они на ум вам.

Он собрался уже ложиться, как вдруг до слуха его донесся звук выстрела. Ермак нахмурил брови.

– Какой дурак вздумал баловать на ночь глядя? – проворчал он.

Но не успел он закончить фразы, как послышались один за другим очередные выстрелы.

– Что такое? – в тревоге произнес Ермак, хватая шапку и выбегая на улицу.

Сибирь была в движении, и все население бежало к валам.

– Что такое? Кто стреляет? – спросил Ермак у первого попавшегося на глаза казака.

– Не знаю, – отвечал тот, – стреляют сторожевые на валу.

Ермак бросился бежать; на валу собралась чуть ли не вся

Сибирь, тут же были и бояре, их нельзя было узнать, куда и сонливость девалась. Они суетились между стрельцами, которые наводили пушку.

– Ну вот, Ермак Тимофеевич, – заговорил один из них в возбужденном состоянии, как будто и не было размолвки, – ну вот и не придется нам с тобой в поход идти, сами гости пришли.

– Что ж, хлопот меньше, – отвечал Ермак, – нужно с честью принять гостей дорогих.

Он взобрался на вал, но за темнотою ничего нельзя было разобрать, только изредка мелькали какие-то темные фигуры, по которым и стреляли сторожевые.

– Пальнуть в них нешто из пушки? – проговорил один из бояр.

– Не трожь их, – возразил Ермак.

– Попугать бы!

– Да зря только заряд истратишь, видишь, темь какая, а нам порох дорог.

Никто не спал в эту ночь в Сибири, все были настороже, кто чистил ружье, кто оттачивал клинок сабли.

Сам Ермак Тимофеевич тоже не ложился спать, он не сходил с вала, зорко глядяваясь в темноту, прислушиваясь к малейшему шороху. Поблизости все было тихо, только издали доносился гул со стороны татар да ржание лошадей.

Бояре тоже не отходили от Ермака, о размолвке не было и помина, у всех теперь было одно дело, всех объединяла одна

и та же опасность.

– А люты они в поле? – спрашивали бояре у Ермака.

– Сначала как псы сорвутся с цепи, так и ломают стеной, коль не устоишь – беда, а чуть дашь отпор, так и шарахнут назад как стадо баранов.

– Нам за валом куда сподручней, чем им в открытом месте, наше дело что, знай угощай басурманщину ядрами калеными да пулями вместо орехов.

– Ну, не совсем так, боярин, придется и саблями переведаваться, а то отсюда их не скоро прогонишь, прежде, правда, побаивались они грома ружейного да пушечного, а теперь попривыкли, не страшен он им.

Беспокойна была эта ночь. Татары ежеминутно могли напасть под покровом ночи.

Наконец небо стало бледным, потом вдруг как заревом вспыхнула половина его. Ясно стал виден вражеский стан, который похож был на муравейник, тысячи людей и лошадей смешались вместе, среди стана возвышался шатер слепого Кучума.

С ненавистью глядел Ермак на эту картину, кровь кипела в нем при воспоминании об убитом Кольце.

– И отведу же я душу, – шептал он, – только бы самому уцелеть, а уж расплата за Ивана Ивановича будет жаркая.

В татарском стане заметно стало сильное движение, русские тоже приготовились.

– Ну вот, теперь можно и угостить гостей дорогих, – про-

молвил Ермак, – наведи-ка пушку на шатер кучумовский, – продолжал он, обращаясь к стрельцу, стоявшему у пушки.

Тот исполнил приказание, грянул выстрел, и грохотом прокатилось эхо, застонали деревья в лесу. Удар был меток: когда рассеялся дым, шатра уже не было видно; татары засуетились, забегали, затем бросились к коням.

– Ну, сейчас начнется жаркая работа, не плошай, товарищи! – обратился Ермак к казакам и стрельцам.

Казакам не в диковинку было встречаться с татарами, знакомы они были с их приемами, поэтому знали, как и встретить их, но стрельцам, в первый раз вступавшим в бой с татарами, было как-то жутко, не по себе.

– За пушками, товарищи, поглядите, все ли в порядке? – продолжал распоряжаться Ермак.

– Все как следует! – послышался ответ.

Между тем татары массою двинулись к валу. Грянул пушечный залп, и целые ряды татар были выхвачены, произошла суматоха, некоторые бросились назад, другие поскакали в лес, но меткие пули нагоняли их на ходу. Остальные остановились в нерешительности, словно не зная, что делать – броситься ли вперед или последовать примеру бежавших.

– Скорее заряжайте пушки! – командовал Ермак.

– Готово!

– Пали!

Снова раздался пушечный залп, не успевшие прийти в себя татары после первого залпа бросились врассыпную.

– Валяй их из ружей!

Послышалась трескотня ружейных выстрелов, татары то там, то здесь падали с лошадей.

– Ну и воины, – подсмеивались бояре, – у таких-то можно несколько Сибирей завоевать.

Ермак не отвечал ни слова на это, он знал татар и не хотел разочаровывать в удаче своих товарищей. А в это время смятые бежавшими конными пешие начали наводить порядок. Скоро вся масса татар двинулась вперед.

Ермак улыбнулся и искоса поглядел на бояр.

– Аль не унялись? – посмеивались те. – Что же – можно и еще угостить!

– Нет, бояре, дело-то только начинается, – заметил Ермак.

Масса между тем надвигалась, Ермак не отдавал никаких приказаний, казалось, он хотел подпустить врагов как можно ближе, чтобы не пропал ни один заряд. Бояре с недоумением переглядывались, ничего не понимая.

Наконец послышался резкий свист, и целая туча стрел полетела на вал.

Вслед за этим татары с гиканьем и криком бросились вперед.

Этого мгновения только и дожидался Ермак.

– Пали! – крикнул он.

И целые ряды были вырваны из татарской орды, но это не остановило нападавших, они продолжали наступать.

– Вишь, проклятые, так и лезут, – ворчали стрельцы.

Зачастили ружейные выстрелы, ни один из них не пропал даром, каждая пуля находила врага. Однако расстояние между татарами и русскими все больше и больше уменьшалось, стрелять не представлялось более возможным.

– Ну а теперь, братцы-товарищи, держитесь крепче: пойдет рукопашная! – кричал Ермак.

Это видели все, и пока враг был далеко, стрельцы бодрились, но когда рукопашная схватка стала неизбежной, уверенность заметно уменьшилась.

– И впрямь, прут как бараны, – говорили бояре.

– Что, можно с такими воевать аль нет? – невольно усмехнулся Ермак. – Да, – продолжал он, – рукам нынче достанется работы.

Татары были уже у самого вала, с бешеным криком бросились они взбираться на него.

Казаки встретили их пиками и саблями, многие татары попадали вниз, но на месте павшего тут же вставал новый враг.

Были мгновения, когда Ермак терялся, – казалось, татары задавят своей численностью, сомнут горсточку храбрецов, и тогда подвиг его дружины, стоивший стольких усилий, погибнет...

Наконец казаки напрягли последние усилия, татары дрогнули и бросились бежать, вдогонку им снова полетели ядра и пули.

– Теперь, товарищи, в погоню.

И понеслись казаки вслед за татарами, но лес был хорошей защитой последним.

– Опять Кучумка утек, не дается, проклятый, в руки, да и только, – с досадой ворчал Ермак, возвращаясь после погони.

Глава двадцать шестая. Чуется сердце

Немало работы выпало на долю казаков, когда пришлось убирать трупы врагов, зловонный запах стоял в воздухе, поэтому спешно закапывали убитых. Скоро высокие курганы возвышались вокруг Сибири, чтобы многие века напоминать потомкам об удальстве и молодечестве казаков и их атамана Ермака Тимофеевича.

С честью проводили казаки в последний путь и своих товарищей, с грустью шел за их гробами Ермак, и бог весть какие мысли роились в его поникшей голове.

Вспомнились, быть может, прежние ратные дела вместе с теми, которые теперь лежали в гробах и которые навеки останутся покоиться вдали от родины.

«Где-то мне придется сложить голову?» – думалось ему.

Где же, как не здесь? Не видать ему берегов родимой ма-тушки-Волги, не вырваться ему больше из Сибири, здесь и сложить ему голову. Да и как вырвешься отсюда? На кого бросишь начатое дело? Уйди только, Кучум сейчас же завла-

деет Сибирью, а не для того он и поход затеял и с татарвою отчаянно дрался, чтобы погубить дело.

Поглядел он на кучку казаков, окружавших убитых товарищей, и невольно сжалось у него сердце. Все они были молодец к молодцу, только много ли их осталось? Нет и третьей доли того, сколько вышло от Строгановых; лежат и тлеют их кости по обширной Сибирской земле.

А там, дома, по родимым селам и станицам все небось ждут еще жены и дети своих кормильцев. Прежде, когда гуливали на Волге, нет-нет, а все заглянут на родину, все принесут кой-какой добычи, а теперь, поди, семьи в нужде, чай, с голоду помирают, ожидаючи добрых молодцев, не ведая того, что давно уже над этими молодцами лежит мерзлая сибирская земля и белеет глубокий снег.

Могила для казаков была вырыта общая, большая да глубокая, начали опускать в нее товарищей одного за другим... посыпались комья земли, никаких следов, кроме могильной насыпи, не осталось на земле от погибших в последней битве казаков.

Невеселые возвращались с похорон казаки, каждый был занят своей думой, быть может, манила их к себе родина, мерещилась семья, малые ребятишки...

Но всех пасмурнее был сам Ермак. Приходилось ему и прежде драться с татарами, драться еще и не так, как в последний раз; бывало, и прежде нелегко ему было при виде потери товарищей, но теперь как-то особенно тяжело на серд-

це, словно что нехорошее чует оно.

Взглянув на стрельцов с боярами во главе и увидев горсточку своих казаков, Ермак еще более затосковал.

«Что ни говори, – думалось ему, – а чужие для нас все эти люди, и выходит, что головы мы свои складывали да кровь проливали из-за чужих людей. Теперь вот нас один-другой, да и обчелся, а придет время, когда ни одного не останется здесь и будут всем владеть да распоряжаться вот эти самые бояре».

Он вздохнул и поплелся дальше.

«Одначе навестить надо того боярина, которого ранили», – решил он, заворачивая к одному из дворов.

Боярин лежал с обвязанной головой, сквозь повязку просачивалась кровь, он слегка стонал. Ермак тихо подошел к нему.

– Что, боярин, больно неможется? – с участием спросил он.

Тот открыл глаза и взглянул на вошедшего.

– Изрядно, – слабо отвечал он, – чуть, окаянный, головы пополам не разнес, попадись он мне в лапы, живого, кажись, не выпущу.

– Да и трудненько, – усмехнулся Ермак.

– Что так? – с неудовольствием спросил боярин.

– Ты упал и не видал, значит, как ему самому раскроили голову, уж он теперь в земле лежит.

– Туда ему, окаянному, и дорога.

– Что ж, рано ль, поздно ль все там будем.

– Знаю, что будем, только всяк в свое время, не от поганой же татарской руки отправляться туда.

– В ратном деле нечего разбирать, от чьей руки свалишься.

– Нелегкая меня сюда занесла, – проворчал боярин.

– Скажи на милость, – заговорил Ермак, – кто это тебе голову повязывал?

– А что?

– Да нешто так повязывают, этак ты и кровью изойдешь.

– Тут стрелец один, знахарем себя величает.

– А ты этого знахаря в шею, я тебе пришлю своего, тот тебя живо поднимет.

– Сделай милость, Ермак Тимофеевич.

– Сейчас пошлю, а теперь прощай пока, делов еще у меня уйма.

«Вишь, головы повязать не могут, тоже мне, ратные люди», – ворчал про себя Ермак Тимофеевич, плетясь по улице.

– Эй, Кудимыч, – крикнул он, постучавшись в окно одной из изб.

– Что, атаман? – спросил, высовывая голову из окна, седоусый и седобородый казак.

– Подь, пожалуйста, к боярину, полечи его.

– А что с ним попритчилось?

– Татарин его изувечил, саблей голову раскрыл.

– Какой саблей, коли наговорная, так ничего не поделаешь, никакие травы не помогут.

– Ты уж там погляди.

Казак поморщился, ему, видимо, не нравилось поручение атамана.

– Да ведь у них, атаман, свои знахари-стрельцы есть.

– Денег этих знахари не стоят, видел я, как ему голову повязали.

– Ладно, пойду, только мне сейчас идти недосуг, у меня вон Терентий лежит, надо сначала с ним управиться.

– А что с Терентием приключилось?

– Да то же, татарва ухо да щеку ему отхватила.

– Зайду взглянуть.

– Что ж, милости просим, да и хворый повеселеет, коль атамана удалого своего увидит.

Ермак Тимофеевич вошел в небольшую избушку знахаря. Прямо напротив окна сидел с обвязанным лицом Терентий, из-за повязки у него ярко блестел один только глаз. При виде атамана больной отвесил ему поклон.

– Что, товарищ, и тебе досталось?

– Так, маленько поцарапали, – с трудом проговорил раненый.

– Маленько ли?

– Да пустяшное, ухо, анафема, отхватил, щеку срезал да нос поцарапал. Одно жалко, Кудимыч вот говорит, что одного уса да полбороды не будет, не вырастут.

– Что врешь-то! – заворчал Кудимыч. – Всего пол-уса, а не целый, половина-то у тебя осталась.

– Да ведь это все едино, – промычал больной.

– Как же это тебя угораздило? – спросил Ермак.

– Да подхватил одного поганого на копье, хочю его столкнуть в ров, а он, дьявол, тяжелый, копье-то у меня пополам, злость меня взяла, размахнулся я да как свисну его по бритой башке, он и покатился, только бельмами завертел, а тут другой как двинет меня, хорошо еще по голове не пришлось, а то не видать бы света Божьего.

– Так ты, Кудимыч, уж пожалуйста, поскорей приди к боярину.

– Чай, не помрет он, атаман, народ московский, здоровый.

– Говорю, кровью, как бык, изойдет.

– Ну ладно, сейчас пойду, правду сказать, с Терентием мне теперь и делать нечего, через неделю хоть опять в бой с татарами.

Ермак воротился домой. Три последних дня совершенно его измучили, он чувствовал какую-то ломоту во всем теле, нездоровилось ему.

– Эх, старость-то, видно, подходит, – вздохнул он, – то ли дело было прежде, сколько, бывало, ни маялся, а все как с гуся вода.

Но усталость брала свое. Сильно ломило тело.

– Вот еще беда будет, как занемогу, тогда хоть все дело брось.

Он закрыл глаза, и разные грезы стали мерещиться ему. Видит он свою дружину в том виде, в каком вышла она от Строгановых, бодрой, веселой, многих из товарищей нет теперь, но они перед ним стоят как живые, он ведет с ними речь. Но вот перед ним явился Иван Иванович Кольцо, все тот же, как в последний раз он отпустил его изловить Кучума, только бледен он да глаза какие-то тусклые. Горячо убеждает Кольцо двинуться в поход, поймать во что бы то ни стало Кучумку. Вся дружина охотно откликается на его призыв, дружные крики оглашают поляну.

Весело развевается стяг.

«Вперед, товарищи!» – кричит Ермак и рука об руку идет вперед всех с Кольцом.

Все громче и громче раздаются крики. Ермак вскочил на ноги. Это уже не грезы, а настоящие крики на дворе.

«Что это значит?» – мелькнуло в голове Ермака.

– Тащи его, черта бритого, к атаману! – раздавались голоса.

Ермак выскочил на улицу. Там собралась толпа, казаки смешались со стрельцами. Среди толпы стоял высокий, здоровый татарин с длинной бородой, чалма на голове была сбита на сторону, из-под нее выглядывала часть бритой головы.

– Что такое, братцы? – спросил Ермак.

– Кучумку этого самого изловили, – гаркнул один казак.

Ермак восторженно радостно. Глаза его блеснули радостью.

– Где же он?

– Да вот стоит, анафема.

– Что вы, братцы, да разве это Кучум? – недовольным голосом спросил атаман.

– Он самый!

– Да ведь тот слепой, а этот, видите, зрячий.

– И впрямь зрячий! – согласились казаки.

– Стоило вести, прямо бы вздернуть на веревку.

– Что ж, это можно и сейчас сделать.

В ту же минуту появилась веревка, петлю накинули на шею татарину и потащили на место казни.

Понял татарин теперь свое положение, глаза его яростно сверкнули, он поднял кулак и погрозил им Ермаку. В то же время удары посыпались на татарина.

Непонятной болью защемило сердце у Ермака Тимофеевича.

Глава двадцать седьмая.

Непрошенная невеста

Долго не выходил из головы Ермака Тимофеевича этот старик, взгляд его, полный ненависти, его угрожающий жест врезались в память атамана, ему словно что-то говорило, что судьба его тесно связана с судьбой этого старика.

«Не отпустить ли его? – пронеслось у него в голове. – Пусть отправляется на все четыре стороны. А как он пришел поразведать да Кучуму передать все? Нет, уж пусть лучше

поболтается на перекладине».

Он задумчиво прошелся несколько раз по комнате, колеблясь, как поступить с пойманным татаринном.

– Нет, отпущу, лучше уж будет запереть его куда-нибудь, пусть живет, ему и жить придется недолго, – вслух произнес Ермак.

Ему почему-то казалось, что вместе со смертью татарина последует и его если не смерть, то какое-нибудь несчастье.

«Может, колдун какой», – раздумывал он.

Ермак Тимофеевич вышел на двор, увидел проходившего стрельца и кликнул его:

– Ты не знаешь, куда повели татарина?

– Какого?

– Того, что поймали сейчас.

– Да ведь ты, атаман, приказал его повесить.

– Так я и спрашиваю, знаешь или нет, куда его потащили?

– Вестимо, знаю, на вал поволокли.

– Так беги скорее, скажи, чтобы его ко мне привели.

– Кого?

– Черт, татарина, да проворнее отправляйся.

– Значит, его вешать не будут?

– О, дьявол, делай то, что тебе приказывают! – крикнул на стрельца Ермак.

Тот повернулся и отправился по назначению.

Прошло более получаса, Ермак нетерпеливо ждал.

– Тюлень проклятый, – ворчал он на стрельца, – когда-то

доплетется еще.

На улице показались казаки.

«Должно, покончили», – подумал Ермак.

В это время к нему ввалился посланный стрелец.

– Никак нельзя привести его, – заявил он атаману.

– Отчего нельзя?

– Потому, когда я пришел, так он уж и ногами не болтал, готов был.

– Ну, ладно, ступай, – отпустил Ермак стрельца и задумался.

Что же дальше будет? До сих пор Бог милостью Своей его не оставлял, а дальше-то, дальше? Сил все меньше остается, дружина уже не та, стрельцов, что царь прислал, надолго ли хватит, когда их половины не осталось, часть перебита, другие перемерли, не по ним оказалась страна Сибирская... Если просить у царя подмоги, так такими просьбами и царя прогневишь. А куда грозен он, как порассказал Иван Иванович. Бояре-то вон помалкивают, не больно разговорчивы, а Ивану Ивановичу что ж было таиться! Вот и пойдя попроси у него помощи, а что тут делать с двумя сотнями, когда целая орда налетит татарская. Покойным можно быть тогда только, когда совсем сокрушишь орду, а как ее сокрушишь с такими силами. Как взяли Сибирь, поначалу беспокойны были татары, тревожили, потом угомонились, а теперь вот, проклятые, опять заворошились, того и гляди, снова целая ордища нагрянет, что тогда делать без народу.

И невеселые, одна другой мрачнее закопошились думы в голове Ермака. В последнее время сердце у него как-то стало беспокойно, тревога зародилась в душе, словно чуяла она несчастье, невзгону.

Между тем Ермак, предполагая возможность нового татарского нападения, сильно ошибался – не в силах был Кучум напасть на него. Последнее нашествие на Сибирь ясно показало ему, что бороться с Ермаком невозможно, несмотря на то что он привел с собою целую орду, от нее уцелела едва третья часть, да и та разбежалась, сам Кучум с несколькими из своих приближенных, остававшимися еще верными ему, едва успел спастись бегством в степи. О новом нападении он и не мечтал, хотя злоба на неудачу и потерю целого царства и грызла его. Он ясно видел, что, пока жив Ермак, царства ему не воротить. Но как же избавиться от лютого врага? Открыто невозможно, остается одна хитрость, к ней-то и нужно прибегнуть, но когда и как – это вопрос времени, и притаился Кучум, кочуя по степи и выжидая удобного момента, чтобы нанести решительный удар по Ермаку.

А весть о полном поражении Кучума быстро разнеслась по всей земле Сибирской и произвела на всех громадное впечатление. Многие из инородцев были крайне рады поражению Кучума и победе Ермака. По приходе казаков и по завоевании ими Сибири они ясно увидели разницу в жизни.

Кучум, восточный деспот, давил все подвластные ему племена, он грабил их, заставлял принимать магометанство, с

приходом же Ермака жизнь их совершенно переменялась. Они не чувствовали над собой никакого гнета, каждый свободно исповедовал свою веру, подать не бралась с них, а они сами добровольно приносили самый умеренный ясак. Легко вздохнули они, избавившись от татарской власти: как же им было не радоваться поражению Кучума?

Целыми толпами со всех сторон двинулись инородцы в Сибирь с выражением покорности Ермаку и данью. Другие соседние народцы добровольно отказывались от подданства Кучума и приходили с поклоном в Сибирь.

Сибирь оживилась, из ничтожного городка, каким она была в прежнее время при Кучуме, превратилась она в торговый город, в который стекались купцы со всех сторон, приезжали даже из Бухары и Хивы.

Повеселел Ермак Тимофеевич, позабыв все тревоги, он только и радовался тому, как не по дням, а по часам растет Сибирское царство, да так растет, что поравняться может и Московскому, а по богатству и перещеголяет его. Повеселили и бояре, стали они относиться к атаману совершенно иначе, почувствовали его силу и разум.

Лето было в полном разгаре, лень овладевала всеми, солнце жгло невыносимо, все забились по избам, и только одни часовые из стрельцов расхаживали с бердышами и ружьями по валу.

Вдали на дороге поднялась пыль, как будто двигался целый обоз.

– Держи ухо остро, – заметил один из часовых, – пожалуй, и татары могут быть, хитры они очень.

– Ну, татарам охоту отбили к нам в гости жаловать, вишь, какие курганы на память им насыпали.

– На всяк час не убережешься, мало ли таких курганов по всей Сибирской земле понасыпано, а они все лезут.

Поезд начал обозначаться явственно, обрисовалось несколько кибиток.

– Так, какой-нибудь инородец с товаром идет.

– Черт их разберет, нужно поосторожней.

Поезд подъехал к воротам, из кибитки вылез инородец и что-то забормотал по-своему.

– Вишь, бормочет, сам леший его не поймет, – говорили часовые.

– Как же быть-то, чего ему нужно?

– Надо позвать какого-нибудь казака, они давно уже тут живут, насобачились по-ихнему бормотать.

Позвали казака, и тот с грехом пополам вступил в объяснение с приезжим гостем.

После нескольких слов казак расхохотался.

– Чего ты ржешь-то? – спросили заинтересованные стрельцы.

– Да как же, братцы, оказывается, их князек приехал с дочкой, хочет нашему атаману ее в жены отдать.

– Вот те и клюква, нашел благодать, хоть бы одним глазом поглядеть на эту кралю сибирскую писаную.

– Что ж, дело, хоть одна баба будет у нас в городе, а то ведь без них и скучно.

– Так как же быть, братцы, пускать чучел аль нет?

– Надо Ермака Тимофеевича спервоначально поспросить, – проговорил казак.

– Тогда беги скорей, а то как же невесту атаманову держать за воротами.

Ермак был крайне удивлен этим известием. Жениться, конечно, он никогда и не подумал бы, но приехал все-таки местный князь, нужно было обласкать его и принять с почетом, поэтому он и приказал впустить их.

Сначала внесли дорогие меха, потом показался и сам князь, пожилой уже человек, вместе с дочерью, лицо которой было закрыто.

– Я приехал приветствовать тебя, могущественный князь, – начал гость, – прими в знак многоуважения к тебе дары, но вместе с этим прими самый дорогой для меня дар, мою дочь, возьми ее себе в жены. – Он откинул покрывало, и Ермак едва удержался от смеха при взгляде на косое, плоское лицо своей нареченной.

Кое-как он объяснил, что его вера не позволяет ему жениться на дочери князя.

Гость остался доволен объяснением и приемом, и на другой день, одаренный Ермаком, он уехал из Сибири.

Долго еще этот визит был предметом разговоров, а тучи, грозные тучи уже собирались над головой Ермака.

Глава двадцать восьмая

Был август, погода стояла жаркая, солнце парило невыносимо.

– Быть грозе, быть непогоде! – говорили между собой казаки.

Ермак сидел у себя.

– Пришли послы от бухарских купцов, – доложили ему.

– Что ж, пустите!

Вошли бухарцы с низкими поклонами и повели речь.

– Послали нас к тебе, князь, – заговорили они, – купцы бухарские подмоги просить. Едут они к тебе с товарами, только дошли до Иртыша, а дальше их Кучум не пускает!

– Ладно, идите, скоро приду к вам, – отвечал Ермак.

На другой же день, отобрав сорок самых надежных казаков, двинулся он вверх по Иртышу.

Два дня плыл он; из сил выбились казаки грести против течения, паруса распускать нечего было и думать – в воздухе стояла тишь, ни один лист не шелохнется.

«Что за дьявольщина, – думалось Ермаку, – не затеяли ли поганые и со мной такую штуку, какую учинили с Иваном Ивановичем? Уж пора бы, кажется, добраться мне до Кучума, а его все нет...»

– Вот что, товарищи, – обратился атаман к казакам, – сдается мне, что бухарцы эти неладное дело задумали, коли

завтра не встретим татарвы поганой, вернемся назад!

К вечеру подул ветер; нависли тучи, еще труднее стало грести казакам.

Видит Ермак, что его молодцы из сил выбиваются, а ветер все более и более усиливается, начинается буря, все небо заволокло тучами, полил дождь...

– А провались они, эти бухарцы, с товарами-то своими! Поворачивайте, товарищи, назад, поднимайте паруса, здесь недалече остров есть, там и заночуем.

Быстро понеслась лодка по воде, подгоняемая ветром, показался и остров, к нему пристали казаки и мигом раскинули шатры.

– Ну, братцы, здесь мы точно в крепости и караульных ставить не нужно, – говорил Ермак, – река глубокая, без лодки к нам не доберешься, а у татарвы лодок нет. Спите спокойно.

И послушались казаки своего атамана-князя. Как убитые уснули они. Не спится только одному Ермаку, одолевает дремота, но уснуть никак не может он. Грезится ему родимая Волга, ее зеленые роскошные берега.

«Хорошо бы теперь, – мечтается ему, – побывать на родине, хоть на миг один взглянуть на нее да и помереть. Чего же больше желать? Что желалось – все исполнилось!»

Сквозь дремоту ему слышался плеск воды.

«Вишь, буря разыгралась как!» – подумал он.

Вспомнился почему-то ему Кольцо, и тяжело стало у него

на душе, словно камнем придавило ему грудь. А плеск раздается все ближе и ближе; слышатся будто чьи-то шаги. Ермак открыл глаза, начал прислушиваться.

Брякнуло оружие...

Он вскочил в ружье с саблей.

Видит Ермак – между шатрами движутся какие-то тени; вдруг послышался чей-то стон, вот одна тень наткнулась на него... Вглядывается он и вскрикивает от злости: перед ним татарин...

Грянул выстрел, и наткнувшийся враг покатился на землю.

– Ко мне, товарищи! – прогремел голос Ермака по стану.

Но никто не пришел к нему на помощь, все его товарищи спали мертвым сном, зарезанные татарами. Голос его только выдал. Несколько татар бросились к нему, он начал защищаться, отступая к тому месту, где стояла лодка. Еще шаг – и он слетел с крутого берега в бушующую реку. Показался раз, другой на поверхности ее, но тяжелая броня, царский подарок, потянула его ко дну.

Глава двадцать девятая

Миновала гроза, погода снова установилась жаркая, тихая... Все будто замерло и попряталось по норам, ища защиты от солнечных жгучих лучей: только в лагере Кучума не замечают жары – уже целую неделю идет пир на радостях, по

случаю смерти Ермака. Слепой Кучум торжествует победу: заклятого врага, лишившего его царства, не существует более, теперь некого ему бояться, казаки и страшны были только вместе со своим князем-атаманом, а без него они ничего не стоят, разбить и прогнать их очень легко.

И пирует Кучум, пирует целую неделю, без просыпу. Напади на его лагерь казаки, пришлось бы ему самому испытать участь Ермака, разница только в том, что татары резали сонных казаков, а последним пришлось бы расправляться с пьяными.

На берегу Иртыша сидит татарин; надоело ему бражничать, захотелось ему половить рыбы. Вдруг что-то блеснуло, испугался татарин, отскочил даже; начал всматриваться в воду, волнами к берегу прибивается что-то большое, темное, и среди этого темного что-то ярко блестит. Прошло несколько минут, татарин пришел в себя; забросив петлю, вытащил он на берег испугавший его предмет. Взглянув на него, он испугался еще более: перед ним лежал труп в кольчуге, с золотым орлом на груди.

Дрожь пробежала по телу татарина, и он, бросив все свои снасти, пустился бежать в лагерь. Не более чем через полчаса в лагере все с любопытством рассматривали вытщенный утопленника.

– Да это Ермак! – послышался чей-то голос.

Достаточно было произнести это имя, чтобы татарская орда завывала на все голоса от восторга. Донесли Кучуму. Тот

назначил казнь мертвому врагу.

Застучали топоры татар, устраивавших рундук. Когда работа была окончена, Ермака раздели донага, сняли с него доспехи и труп положили на рундук. Началась казнь. Сотни стрел полетело в мертвое тело, впиваясь в него; к вечеру только закончилась забава татар. Каждый всадил в мертвого врага свою стрелу. Наступила ночь, когда принялись за рытье могилы; наконец она была вырыта, татары, схватив труп, бросили его в землю и, как будто боясь чего, поторопились поскорее зарыть ее. Никому не известно, где находится могила богатыря, только память о нем и о его подвигах никогда не умрет в памяти народной.

Глава тридцатая

Спит город Сибирь и не чувствует своего горя. Не знает он, что головы не стало, не стало князя Сибирского Ермака Тимофеевича. Все спокойны в Сибири, все привыкли к отлучкам из города Ермака, поэтому его отсутствие в продолжение нескольких дней никого не беспокоило.

Бояре сидели и судачили, перебирая по косточкам Ермака; несмотря на его ласку и обходительность, был он им не по душе. Отправляясь по царскому приказанию в Сибирь, они, именитые бояре, думали владычествовать там, подобно тому, как владычествовали воеводы, посылаемые в города на кормление; в бывшем разбойнике, простом казаке, они ни-

как не предполагали встретить сильного соперника, мощного владыку Сибири; отсюда являлись постоянно рознь, несогласие, желание мешать Ермаку, подставлять ему ногу. Царское приказание помочь Ермаку не исполнялось – бояре несколько не думали служить интересам своей родины, они преследовали лишь свои личные интересы. Пока в Ермаке они видели соперника, бояре тесно сплотились между собою, поддерживая друг друга, однако достаточно было самой малости для того, чтобы дружба боярская превратилась в непримиримую вражду.

Гибель Ермака Тимофеевича и послужила яблоком раздора. Человека, который был словно бельмом на глазу, который сдерживал непристойные выходки боярские, не стало, у бояр развязались руки, они почувствовали себя свободными, и страсти разгорелись.

Прошла неделя с той поры, как ушел из города со своей небольшой дружиной Ермак Тимофеевич, боярам в его отсутствие чувствовалось легко, свободно. Раненный в последнюю битву с татарами боярин Болховитинов хотя и поправился совершенно, но не выходил еще из дома, зато его усердно навещал боярин Никифоров.

Был вечер, за столом, накрытым дорогой скатертью, привезенной из Москвы, уставленным стопами и ковшами, сидел, с повязкой еще на голове, боярин Болховитинов, напротив него поместился Никифоров.

Оба очень усердно тянули брагу, сваренную привезенным

также из Москвы поваром. Вин заморских в Сибири достать было невозможно, приходилось довольствоваться доморощенной брагой.

– Где-то наш теперь сокол ясный, герой сказочный? – ухмыляясь, не без иронии проговорил Никифоров.

– Это ты, боярин, про кого слово молвил? – спросил Болховитинов, вскидывая глазами на своего гостя.

– Про кого, вестимо, про князя новоиспеченного, Сибирского.

– Князя! – засмеялся Болховитинов.

– И чудное, боярин, дело, – заметил Никифоров, – никогда еще того не бывало, чтобы царь так делал.

– Что такое?

– Да как же так, виданное ли дело, чтоб казака беглого в князя производить!

– Это, что и говорить, было дело, что в думные бояре, в окольничие назначали, а в князя совсем дело непригожее – князь природный должен быть, а где ж это Ермаковы отцы и деды княжили?

– На Волге-матушке с кистенем в руках, – засмеялся Никифоров.

– Теперь, поди, рыщет по степям да лесам, вишь, Кучума изловить хочет.

– Ловили такие, как он!

– Еще выслужиться хочет, может, царь и царевичем его назовет.

– Не дорос еще, будет того, что и князем татарским возвеличили.

– Подумаешь, невесть кто стал.

– Кто не кто, а помнишь, как он на нас зыкнул, когда Кучумка пришел?

– Что говорить, в мешок да в воду хотел спустить.

Оба боярина рассмеялись.

– За это и на перекладине в Москве поболтался бы, – проговорил Болховитинов.

– Давно бы пора ему там болтаться.

– А что я думаю, – как-то загадочно произнес хозяин.

– О чем?

Болховитинов встал, подошел к дверям, заглянул в другую комнату и плотно закрыл двери.

– Хочу, боярин, поговорить с тобой по душе, только, чур, из избы сора не выносить.

Никифоров ухмыльнулся.

– Не пойму, боярин, – проговорил он, – к чему ты такие речи ведешь, чай, помнишь Москву: кабы ты или я вынесли из избы сор, так давным-давно головы бы сложили свои под кремлевской стеной, давно бы попы нас поминали.

– Об этом что и говорить.

– То-то и оно, а коли что задумал, так говори.

– Говорить-то много не придется, дело самое простое.

– Тем лучше.

– Сам видишь, что Сибирский зазнался больно.

– Уж так зазнался, что и не говори.

– Словно царь в Москве.

– Там-то царь, а он что?

– Мы, бояре родовитые, должны кланяться да повиноваться ему.

– Так сердце и горит, как подумаешь!

– Вот мне в голову и пришла одна штука.

– Говори, не томи!

– Чай, сам видишь, что казаков с каждым днем все меньше.

Никифоров лукаво прищурился.

– А стрельцов почти не убывает? – проговорил он.

– Значит, понял?

– Как не понять.

– Так, стало, и делу конец!

– По-моему, лучше можно сделать.

– Что такое?

– Да порешить с ним.

Болховитинов задумался, прошло несколько минут в молчании.

– А ведь, пожалуй, так и вправду будет лучше.

– Одно – развязка, и руки свободны.

– Помехи никакой не будет.

Снова наступило молчание, каждый был занят своими мыслями, каждый мечтал о том, какую он будет играть роль, когда помеха исчезнет с их дороги.

Вдруг за дверью послышался шум, на улице все пришло в движение, слышались крики.

– Что там делается? – в один голос спросили бояре, вскакивая с мест.

В покой вкатился стрелец.

– Аль казаки загуляли? – спросил Болховитинов.

– Беда, бояре! – проговорил, задыхаясь, стрелец.

– Беда? Какая беда? – спросил Никифоров.

– Кучум, что ль, явился? – в свою очередь задал вопрос Болховитинов.

И в одно и то же время у бояр, решавших участь Ермака, явилась одна и та же мысль: как они справятся с Кучумом без Ермака, что они будут делать без него?

– Ермака Тимофеевича убили! – выстрелил стрелец.

У бояр вытянулись физиономии, они невольно взглянули друг на друга.

– Как убили?

– Что врешь-то? – вырвалось разом у обоих.

– Кучумка ночью напал, всех перебил, – продолжал докладывать стрелец.

– Да ты откуда это знаешь-то, ворона на хвосте весть принесла, что ли?

– Один только в живых остался, да и то весь искрошен, вряд ли до завтра доживет.

– Где же он? Давай его сюда.

– Что вы, бояре, нужно к нему идти, говорю, чуть жив,

только добрался до ворот, так и грохнулся о землю.

– Что ж теперь делать? – проговорил Никифоров.

– Делать нечего, нужно воеводствовать, – отвечал Болховитинов, – ты ступай, боярин, и приказ от меня такой отдай, чтоб на валу сторожа в оба глядели, не ровен час, Кучумка и на нас нагрянет.

Побагровел весь Никифоров при этих словах.

– Почему же это от тебя приказ, а не от меня? – задыхаясь, спросил он.

– А потому, что я буду маленько постарше тебя! – отвечал высокомерно Болховитинов.

– Ну, это бабушка надвое ворожила.

– Чай, сам знаешь, что твой дед сидел всегда ниже моего, так внуку покоряться негоже.

– Ах ты... да я на тебя буду челом бить государю.

Болховитинов на это рассмеялся только.

Началась безобразная ругань, недавние приятели, заговорщики, замыслившие гибель Ермака, сразу стали непримиримыми врагами, готовыми на все, чтобы повредить только друг другу. Долго продолжалась ругань, наконец Никифоров вышел крайне озлобленный, сильно захлопнув за собою дверь.

Глава тридцать первая

Быстро, почти мгновенно разлетелась между казаками

весть о смерти любимого атамана, весь небольшой дворик и улица выше избушки, в которой лежал умирающий казак, были заполнены его товарищами.

Каждому хотелось услышать хотя бы одно слово о Ермаке Тимофеевиче, но желание это было неисполнимо: избенка, давшая приют горькому вестнику, едва могла вместить в себя десяток человек.

В избенке была мертвая тишина, которую нарушал только слабый голос рассказчика.

– Такая ночь была, – говорил он, – не приведи бог, рядом лежишь – ничего не видишь, а тут еще дождь так и хлещет, словно кто из ведра тебя поливает. Промочило всех насквозь, а за день-то куда как измаялись, все против воды плыли, на руках ладони что твои подошвы стали, не согнешь руки. Как остановились мы это, так, не ужинавши, и повалились все как мертвые и уснули. Кажись, гром греми над нами и тот не разбудил бы...

– Как же сторОжа прозевала? – раздался вопрос.

– СторОжа, никакой сторОжи не было, да и не нужно, думали, ее. Островок небольшой, как раз посредине Иртыша стоит, от берегов страсть далеко, только и можно было добраться на лодках, а где их там возьмешь, наши у острова были привязаны.

– Как же татарва пробралась?

– Уж этого тебе сказать не сумею, или брод был, или на лошадях вплавь, потому с ними и лошади были; только спим

мы это, да так крепко, словно померли все. Только мне что-то во сне померещилось, открыл я глаза, ничего не вижу, а шум стоит кругом страсть, топот какой-то, да словно сабли звенят, а говорю никакого, что за чудо, думаю, не во сне ли я это все вижу, протер глаза – нет, что-то у нас в становище делается, дождя уже не было, в эту пору развернись туча, месяц и посвети, как взглянул я, так и обомлел, вижу, с бритыми головами как черти какие скачут да наших лежачих да сонных так и крошат; не стерпело мое ретивое, схватил я пистоль да пустил пулю в голову одному поганому, так и повалился он, не охнул даже. Как услышала татарва выстрел, так и оторопела на минуту, потом опомнились да и шарахнули ко мне, давай я от них отбиваться, в эту самую пору слышу еще выстрел, а там и голос Ермака Тимофеевича, на подмогу кличет. Понатужился я, уложил двоих бритых да скорей к атаману, а его татарва, как саранча какая, обступила, крошит он их, как баранов каких, а они только прыгают возле него да орут да напирают. Вот тут-то несчастье и случилось. Приперли его к самому что ни на есть берегу, уж и не знаю, оступился ли он, наш голубчик, отбиваясь от татарвы, сам ли спрыгнул с берега, только вдруг пропал он из моих глаз, да слышно было, как что-то тяжелое шлепнулось в воду. Как табун лошадиный заржала татарва, стрелы так и засвистели, тут уж я света Божьего невзвидел, бросился к ним в толпу, только жаль, что недолго пришлось моей сабле поработать, вишь, какой-то окаянный как голову раскрыл. Дальше уж и

не помню ничего. Сколько времени я этак-то лежал, не знаю, когда очнулся, уж вечерело, поднялся я через силу, добрел до берега, обмыл голову, обвязал ее, словно бы и полегчало, прошел по островку, невелик он, гляжу: все до одного наши лежат, все искрошенные, да татар человек с десятков, а атамана нет, горе меня взяло, да и самому как быть не знаю, с голода одного пропасть можно, только взглянул я в сторону, а одна наша лодка колышется, даже весло в ней нашел. Должно, татарва поганая в темноте не заметила ее. Обрадовался я ей невесть как. Сейчас же сел да и двинулся, благо Иртыш сам донес меня. Вот и все, братцы, что знаю.

– А может быть, Ермак Тимофеевич и жив, может, и спасся? – кто-то проговорил с надеждой в голосе.

– Где уж тут, говорю, до берегов было далече, а он в кольчуге да броне царской был, где уж там воде сдержать его, да и то сказать, кабы спасся, так давно бы уж здесь был.

– Так-то так! – согласились с ним.

Понурившись, разошлись все, осталось в избе только двое, раненый да хозяин избышки.

Раненый слегка стонал, но ночью ему сделалось гораздо хуже, а к утру и совсем плохо, заметался он, часто вырывались из его груди сдержанные крики, наконец, едва блеснули первые лучи восходящего солнца, как его не стало.

Угрюмо закрыл ему товарищ глаза и вышел на улицу оповестить товарищей. А улица уже кишела казаками, лица всех были озабочены, каждый, казалось, обдумывал серьезный,

близко касающийся сердца вопрос. Кое-где собрались в кучки и о чем-то горячо рассуждали. Наконец послышались знакомые звуки била, звуки, раздававшиеся только в экстренных и важных случаях. Все торопливо направились к месту сборища.

Там уже были чуть не все казаки.

– Братцы-товарищи, – заговорил седой как лунь, с изрытым шрамами лицом есаул, занявший место Ивана Ивановича Кольцо, по прозванию Василий Кузьмич Тимофеев, – братцы-товарищи, вам уже ведаемо, что не стало у нас нашего сокола ясного, Ермака Тимофеевича, сами знаете, что без него мы словно без головы остались; вестимо, другого Ермака нам, сколько бы мы ни жили, не найти, без головы жить нельзя, толку у нас никакого не будет, нужно нам как-нибудь дело поправить.

– Вестимо, нужно нового атамана выбрать, – послышались голоса.

– Я потому речь и веду, только, братцы-товарищи, все мы поработали на своем веку вместе с Ермаком, никого нельзя из нас ни в чем упрекнуть, все молодцы как на подбор, только всего этого мало для атаманства. Все мы соколы, только уж коли быть атаманом, так меж соколами нужно быть орлом, хоть уж не таким, какими были Ермак Тимофеевич аль Иван Иванович Кольцо, а хоть походить-то на них разумом да силою.

– Правда, правда, – раздались голоса.

– Кому ж и быть, как не Тимофееву.

– Вестимо, пусть он будет, больше никого не хотим.

– Василий Кузьмич пусть будет атаманом! – слышались дружные голоса, подхваченные всей толпой.

Тимофеев несколько смутился, он снял шапку и отвесил на все четыре стороны низкие поклоны.

– Благодарю, товарищи, за честь, не заслужил я ее, только уж вы избавьте меня от атаманства, стар я стал, выберете кого помоложе да поразумнее.

– Никого не хотим, окромя тебя, тебе быть нашим атаманом.

Тимофеев снова стал отказываться, но толпа настаивала на своем.

– Ну, коли так, то быть по-вашему, – наконец согласился он.

Казачи подхватили его и понесли было на руках в атаманский дом, но не успели они еще подойти к концу площади, как к ним верхом подскакал желавший захватить в свои руки власть боярин Болховитинов.

– Что за сборище, зачем собрались? – грозно закричал он на казаков.

Те, в недоумении остановившись, глядели на боярина.

– Постойте-ка, детушки, пустите меня, – проговорил вновь избранный атаман.

Казачи опустили его на землю и почтительно расступились перед ним, давая ему дорогу.

– Тебе что, боярин, нужно от нас? – спросил он Болховитинова, подступая к нему.

– Спрашиваю, зачем собрались, зачем порядок нарушаете?

– Хотя и негоже отвечать тебе на это – ведь ты знаешь наши порядки, ну да так и быть, уж я скажу тебе, зачем мы собрались сюда. Тебе небось ведомо, что у нас не стало нашего атамана Ермака Тимофеевича, а без атамана нам оставаться нельзя, не порядок, вот и собрались сюда его выбрать.

– Ну что ж, и выбрали? – усмехаясь, спросил Болховитинов.

– Угадал ты, боярин, выбрали, – отвечал новый атаман.

– Уж не тебя ли?

– А хотя бы и меня!

– Ну так вот что я скажу вам, никаких у вас теперь атаманов не будет, я ваш атаман и всякое начальство, вольницы не допущу, било ваше прикажу снять, и никаких сборищ чтобы вперед не было!

Казаки заволновались, послышался ропот, недовольные голоса.

– А я тебе, боярин, скажу вот что. Когда ты на печке лежал, мы Сибирь покоряли, кровь свою лили и завоевали ее. А ты прислан уж на готовенькое, да и то не начальствовать, а на подмогу нам, а потому ты и должен находиться у нас под началом, а не мы у тебя, а не любо это тебе, так можешь отправляться на все четыре стороны, ты нам не нужен – и без

тебя справимся! Так ли я говорю, товарищи? – обратился он к казакам.

– Так, так, в наши дела не мешайся, проваливай! – закричали казаки, напирая на Болховитинова.

Тот в бешенстве повернул лошадь и поскакал обратно домой.

Думая, что из-за власти ему придется спорить только с Никифоровым, он был спокоен, никак не ожидая встретить сопротивления со стороны казаков.

Глава тридцать вторая

Смерть Ермака окончательно подорвала такое блестящее дело, как покорение Сибири. Завоевать ее было гораздо легче, чем удержать за собою. Нужно было приложить немалые усилия, чтобы заставить все полудикие народцы, подвластные прежде Кучуму, забыть своего прежнего владыку и признать нового господина. А Ермак ласкою и любовью более, чем оружием, сумел покорить племена завоеванной им земли. Сибирь благодаря этому сделалась торговым городом, в него со всех сторон свозились товары, хлеб, все съестные припасы, так что нужды не представлялось ни в чем.

Но достаточно было погибнуть Ермаку, чтобы все быстро переменялось.

Новый атаман Тимофеев, хотя и был человеком беззаветной храбрости, но эта храбрость только и годилась в ратном

поле, что же касалось управления, сношения с инородцами, к этому он был совершенно не способен, почему, дав отпор при своем избрании Болховитинову за то, что тот хотел посягнуть на вольности казацкие, он в то же время совершенно отказался от всяких сношений с народами и управления ими, предоставив все в руки бояр, но от этого дело нисколько не выиграло.

Развязавшись с Ермаком и видя Тимофеева совсем не таким, каков был его предшественник, бояре почувствовали себя свободнее и принялись управлять так, как они привыкли управлять на Руси.

С первых же дней народцы почувствовали тяжесть боярского управления, пошли притеснения, поборы, взвыли бедняки, поминая добрым словом Ермака Тимофеевича.

Увидели они, что при таких порядках торговать им невыгодно, а торговля куда пришлась им по сердцу, но делать было нечего, и пришлось отказаться от нее.

Не успели и оглянуться бояре, как поборов им не с кого стало брать. Базар опустел, в городе настало затишье, только и бродили по улицам стрельцы да казаки, а бояре, сидя у себя по домам, бражничали. Но бражничать пришлось им недолго. Что не подвозились товары, не беда еще, а скоро стал чувствоваться недостаток в хлебе. Казаки приуныли, они смутно догадывались о причине наступающего голода и сильно косились на пировавших еще бояр. Не веселее были и стрельцы, они тоже, хотя смутно, чувствовали и предвидели

грядущую беду. Эта беда как-то теснее сплавивала стрельцов с казаками, чаще и чаще сходились они вместе и вели речи о боярах. Наконец казаки не выдержали.

Избрав трех человек, они послали их к Тимофееву.

– Что вам, братцы? – спросил атаман депутатов.

– Послали нас к тебе, Василий Кузьмич, товарищи, – отвечали те.

– Зачем такое?

– Просят сбор сделать, говорить с тобой хотят.

– О чем говорить-то?

– Хотят все говорить, а нам не приказывали.

Нахмурился Тимофеев, не по сердцу ему было это требование, к Ермаку они не посмели бы обратиться с ним.

– А вам-то не верят они, что ль?

– Верить-то верят, только с тобой с самим хотят речь вести.

– Ну что ж, я товарищам не супротивник, бейте сбор, а я сейчас приду.

Загудело по Сибири скоро било. Поплелись на площадь со всех сторон казаки, к ним присоединилось и несколько стрельцов. Тимофеев не заставил себя долго ждать, он пришел, когда еще не перестали бить сбор. Едва показался он, как все почтительно поклонились ему, атаман искоса обвел всех глазами. Лица казаков были пасмурны.

– О чем таком хотите вы говорить со мною, товарищи? – хмуро спросил он.

Послышалось несколько голосов разом. Атаман нетерпеливо махнул рукой – все смолкло.

– Говори кто-нибудь один, всех не разберешь, чай, каждый из вас знает, зачем собрались, небось прежде еще столкнулись! – с досадой проговорил Тимофеев.

Вперед вышел пожилой казак.

– Ведомо ли тебе, атаман, что у нас хлеба нет, есть нечего, а с пустым брюхом не больно навоюешься.

– Сам знаю, товарищи, – отвечал Тимофеев, – ведома мне беда, только не знаю, с чего приключилась она и как горю помочь.

– Коли тебе неведома, так ведома она нам. Чай, сам знаешь, что при Ермаке Тимофеевиче мы как сыр в масле катались, охотнее и с татарвой было драться.

– Что же вы меня в этой беде вините?

– Тебя мы не виним, а виним бояр, после Ермака Тимофеевича они совсем волю забрали да стали вводить у нас московские порядки да обычаи.

– Как же вы думаете дело поправить? – спросил атаман.

– Да ведь ты, Василий Кузьмич, атаман, твое дело и подумать, а по-нашему, ступай-ка ты к боярам да потолкуй с ними.

– О чем толковать-то, они дела уж не поправят.

– А не поправят, так пусть и со своими порядками распростятся, а не сидят себе как вороны на гнезде; кабы не они, так мы и не голодали бы.

– Что ж, поговорить можно, только что толку-то будет.

– А будет тот толк, что мы по-старому свои порядки заведем, авось и дело поправим, а они пусть не суются, а то ведь и расправиться с ними можно, вон у нас у всех животы подвело, а им и горя мало, бражничают себе, да и только.

– Такова, значит, воля ваша? – спросил Тимофеев.

– Такова, такова! – послышались голоса со всех сторон.

– Ну, коли этого все желаете, так тому и быть, сейчас же отправлюсь к ним.

– Иди, иди, Василий Кузьмич, а теперь мы их и знать не хотим, пусть и на глаза к нам не попадаются, – раздалась голоса вдогонку атаману.

Одни, казалось, бояре не чуяли беды, у них было всего в изобилии, и думать им было положительно не о чем. Брага не сходила у них со стола, прежняя размолвка была забыта, и, казалось, дружба их еще более укрепилась.

Они сидели за столом с раскрасневшимися лицами, ведя очень оживленную беседу, разбавляя ее брагой, как к ним вошел Тимофеев.

– А, атаман, как раз в пору пришел, садись к столу, дорогим гостем будешь, – приветствовали бояре атамана.

– Не до гостей мне, – мрачно проговорил атаман, – я по делу к вам, бояре, пришел.

– Что за дело, теперь спокойно везде, ведь больше и делать нечего, как пить брагу, а попробуй, какая знатная.

– Не до шуток мне, бояре, говорю, беда грозит.

– Аль про татар что сведал, аль опять в гости жалуют?

– Татар что, с татарами всегда справимся, а вот похуже их гость пожаловал.

– Какой гость, кто такой?

– Голод!

Бояре расхохотались от души, им смешно было слушать о голоде, когда они жили полною чашею.

– Что ты, атаман, не выдумаешь только, погляди, – говорили они, указывая на стол, – нешто это голод.

Это замечание взорвало Тимофеева, лицо его вспыхнуло.

– Да что у вас в Москве все с такими головами, как ваши? Я говорю не шутя, что у нас голод, поэтому казаки и послали меня к вам.

– Казаки?! – возмутились бояре. – Да как же они смеют посылать, хотя бы и тебя к нам?

– Смеют не смеют, а я вам скажу одно: больше я вам не позволю распоряжаться здесь, да еще вот что прибавлю: у вас в закромах добра много припасено, немало вы собрали с инородцев, теперь вы вот пируете да бражничаете, а народ с голоду скоро падать начнет, так вы закрома-то откройте да с народом поделитесь.

– Да ты что же это, учить нас сюда пришел?! – вспылили бояре. – Да мы знать ни тебя, ни твоих казаков не хотим, мы еще их проучим.

– Не хотите знать, и не нужно, они в этом и не нуждаются, а поучить уму-разуму вас они не откажутся, говорю добром,

поделитесь, с ними шутить нельзя.

– А ты так и знай – добра своего мы ни зерна не дадим, а распоряжаться будем так же, как и прежде распоряжались.

– Это ваше последнее слово? – спросил Тимофеев.

– Известно, не первое!

– Ну, коли так, пеняйте после на себя, – проговорил атаман, выходя от бояр.

Казачи его поджидали с нетерпением, едва показался он, как они его окружили со всех сторон.

– Ну что, Василий Кузьмич, говорил? – спрашивали его со всех сторон.

Тимофеев только рукой махнул.

– Что с дураками толковать! – проговорил он.

– Что ж такое?

– Ничего с ними не сговоришь, ничего не поделаешь, словно горох сыпешь об стену.

– Так как же быть-то?

– Как хотите, так и делайте!

– Ну и ладно, пусть не гневаются, коли им попадет... – грозили, расходясь, казаки.

Что-то страшное творилось в этот день: казаки ходили друг к другу из одного дома в другой, о чем-то совещались, и эти совещания носили зловещий характер.

К вечеру оживление еще более возросло, но едва стемнело, как Сибирь приняла свой обычный вид, на улицах была мертвая тишина, все, казалось, заснуло мертвым сном, но

это только казалось так; прошло не более двух часов, как снова началось по улицам движение. В нескольких дворах поотворялись ворота, и из них выехали подводы с казаками, к которым присоединилось несколько стрельцов.

Все направились к домам, занимаемым боярами; стрельцы, прибывшие с казаками, подошли к своим товарищам, стерегшим боярские дома, пошептались с ними, и ворота вскоре распахнулись. Подводы с казаками въехали в них и прямо направились к амбарам, переполненным боярским добром и хлебом. Началась спешная работа, десятки людей таскали на себе мешки с хлебом, целые вороха мехов. Через час работа была окончена, и переполненные возы двинулись в обратный путь.

Часа за два до рассвета все окончилось, дележка боярского добра произведена была по чести, никто не мог пожаловаться на обдел.

Утром бояре подняли тревогу. Они бросились к атаману с жалобой, что они кругом обворованы, что у них ничего не осталось и им придется теперь умирать с голоду.

– Этого и нужно было ожидать, – отвечал спокойно атаман.

Казаки и стрельцы между тем ликовали, но ликовали до тех пор, пока не кончились боярские припасы, после этого наступил настоящий голод, появились болезни, люди начали умирать. Болховитинов тоже заболел и умер. Но эти беды были еще не так велики. Наступала беда пострашнее.

Глава тридцать третья

Похоронив Болховитинова, уныло возвращались домой Никифоров и Тимофеев.

– Чудно, право, – заговорил первый Тимофеев.

– Что такое? – откликнулся боярин.

– Да вот я думаю о беде-то нашей. Ермак Тимофеевич словно счастье с собой унес, как только убили его, так беда за бедой и повалились на нас. Ведь по скольку дней не едим мы, на людей стали не похожи, люди мрут как мухи, того и гляди, что вся Сибирь вымрет, тогда приходи Кучумка и садись опять на свое царство спокойно.

Никифоров ни слова не отвечал на это, он, казалось, обдумывал что-то.

– Нет, – наконец заговорил он, – не Ермак унес с собой счастье, а сами мы виноваты в беде, правду ты тогда молвил, что напрасно мы разогнали инородцев.

– Ну, это дело прошлое, его не поправишь!

– Как-никак, а поправлять надо!

– Да что же ты тут придумашь?

– Ведь все равно где ни помирать, только грешно сидеть, ничего не делая, на месте да ждать смерти, за это и Бог не помилует. А по-моему, так: сидеть да глядеть, как люди мрут, негоже, а там, гляди, Кучум нагрянет, ведь он не помилует, всех передушит, а драться с ним... сам видишь, на что мы

годимся, да и народу у нас более чем уполовинилось, куда уж нам.

– Пока Кучум соберется, бог даст, до этого и подмога придет, шутка ли – скоро год будет, как Ермак Тимофеевич посылал гонца к царю просить подмоги.

– А подмога придет, что ж ты думаешь, легче будет?

– Еще бы, тогда и Кучумка не страшен.

– Ты подумай одно, если нам теперь нечего есть, так что ж мы будем делать, когда еще тысяча человек нагрянет?

– Это-то правда, да ты скажи, что надумал?

– Надумал я вот что: бросить Сибирь да идти назад на Русь.

– Это никак невозможно, что тогда царь скажет, да и Ермак Тимофеевич в могиле перевернется, сколько терпели, сколько товарищей наших здесь легло, а мы начатое дело бросим, нет, этого никак нельзя.

– А нельзя, так придумай что другое, получше.

Снова наступило молчание. Тимофеев думал, как бы выпутаться из беды, наконец лицо его просветлело.

– Придумал, боярин, – проговорил он весело.

– Что такое?

– Бросить Сибири нам нельзя.

– Уж говорили об этом.

– И помирать с голоду никак невозможно.

– Да, не хочется.

– Значит, нужно корму достать!

– Извини, атаман, ты словно ребенок малый, толкуешь десять раз об одном и том же... Вот ты и придумай, где корму достать. – Никифоров с досадой только махнул рукой.

– То-то и дело, что придумал. Коли народцы эти самые здешние не хотят к нам идти с кормом, так мы сами к ним пойдем, не дадут добром – возьмем силою!

– Что же, попытать можно.

– Вот я нынче же это и попытаю!

Действительно, Тимофеев захватил с собой человек пятьдесят казаков и около полудня уже покинул город.

Никифоров хотя и остался доволен замыслом атамана, однако не без досады смотрел на его отъезд с таким числом людей.

– И зачем он забрал с собой столько народу, – говорил он, – что здесь у меня осталось, дай бог, чтоб сотня набралась, да и те словно мухи дохлые бродят. Упаси боже, татарва нагрянет, а этого только и жди, что я тогда буду делать... Нет, он там как хочет, а я подожду денька три, если не вернется, так брошу эту проклятую Сибирь да в Москву двинусь, авось царь за это головы не снимет. Порасскажу ему, что здесь за царство такое благодатное.

Но привести своего намерения в исполнение Никифорову не удалось. На другой же день к вечеру караульные, стоявшие на валу, увидели огромное облако пыли.

– Ну, дождались, – проговорил один из них упавшим голосом, – татарва прет, теперь уж нам не отбить ее, как кур

передушит, проклятая.

– Одначе нужно боярину сказать, – решил немолодой стражник и бросился в город.

Как громом оглушила Никифорова эта весть, сначала он заметался по комнате, потом выскочил на улицу и бросился на вал.

Глазам его представились клубы пыли, в которых ничего нельзя было разобрать, пыль эта медленно подвигалась к городу; боярин окончательно растерялся.

– Нужно сбор сделать, кличьте народ! – начал командовать он.

Не прошло и четверти часа, как вал усеяли прибежавшие из города казаки и стрельцы.

– Заряди пушки! – кричал Никифоров.

– Чего их заряжать, уж они давно заряжены, – слышался ответ.

Все внимательно вглядывались в надвигавшееся на вал облако пыли; неожиданно среди казаков раздался громкий веселый смех.

– С баранами, братцы, воевать сейчас будем, – слышался голос, и затем еще громче прокатился смех.

Никифоров бросился к смеявшимся.

– Чего ржете, как лошади? – накинулся он на казаков.

– А чего же печалиться-то! – отвечали ему.

– Вот прикажу вас на первой же осине вздернуть, тогда не будете ржать.

– Ну уж это ты погоди, боярин, вздергивать-то нас... атаман тебя за это не похвалит.

– Атаман, атаман, – в злобе кричал Никифоров, – нашего атамана теперь небось волки съели!

– Зачем его волкам есть, он тебе вон баранов на корм гонит.

– Каких баранов?

– Да вот тех, что ты за татар принял, погляди-ка!

Боярин уставился вдаль, и вдруг лицо его засияло радостью, он увидел стадо в несколько сот баранов.

– Отворяйте ворота, – засуетился Никифоров.

Через полчаса в Сибирь вошло баранье войско, сопровождаемое Тимофеевым и казаками, вышедшими с ним из Сибири. Начался пир, небывалый еще в Сибири, чуть не целые бараны кипели в котлах и жарились на вертелах, все были счастливы, прославляли атамана, только изредка прорывались слова сожаления:

– Эх, кабы это да пораньше, многие бы в живых остались.

– Теперь надолго нам кормежки будет, шутка ли, по несколько баранов на человека придется, – говорил весело боярин.

– Жаль только, хлебушка нет.

– Было бы брюхо полно, а то можно и без хлебушка обойтись, да что толковать, теперь нам и Кучумка не страшен.

– Кучумка-то Кучумкой, а пожалуй, и других гостей дождемся, – загадочно проговорил Тимофеев.

– Каких таких?

– А остяков, у кого скот мы отняли.

– А нешто отняли?

– Чудной ты, боярин, как же иначе мы его получили бы, ведь у нас на такое стадо и казны не хватило бы.

– Что ж они, ничего?

– То-то и дело, что чего. Отправились это мы вчера, и верст тридцать не отъехали, видим дым, подъезжаем ближе: остяцкая деревня стоит и тут же видимо-невидимо баранов пасется. Злость меня обуяла, тут под носом у нас столько живности, а мы с голоду умираем. Пошел я к их старшему, так и так, говорю, продайте нам баранов, так куда тебе – руками и ногами отбивается, я и так и этак, нет! Разозлился я, не приведи бог. «Загоняй их, ребята!» – крикнул я своим. Они как ахнут в самое стадо, так половину его и отрезали. Окаянные было к нам, да мы из самострелов как хватили их, уложили с десятков, остальные куда глаза глядят бросились, да, убегая, все грозились нам.

Глава тридцать четвертая

Опасения Тимофеева вскоре оправдались. Неделя прошла спокойно, ничего тревожного не замечалось, атаман с боярином успокоились и, обнадеженные первой удачей, подумывали, как бы сделать вторичный набег, пока не вышли съестные припасы.

Но вдруг в одно утро неожиданно они увидели окруженную со всех сторон Сибирь.

– Ну, атаман, ты не бабка, да угадка, – проговорил боярин, – гляди, сколько их, словно саранча надела.

– Ничего, как-нибудь отсидимся, ведь мы не в поле, а за валом, через него-то не перелезешь, а там, бог даст, и подмога придет.

– А не сделать ли нам вылазки да разогнать их?

– Об вылазке и думать нечего, погляди, сколько их, а нас горсточка, задавят, окаянные.

И засели казаки, изредка отстреливаясь против тысяч стрел, пускаемых в них остяками. Сидят неделю, две, опять запасы все вышли, есть нечего, подмоги из Москвы нет как нет, а остяки и не думают уходить, словно расположились здесь на постоянное жительство.

– Хотят, должно быть, нас как тараканов голодом переморить, – говорили осажденные.

Положение становилось безысходным, оставалось или умереть всем с голоду, или сложить головы в битве. Дело Ермака, казалось, погибло безвозвратно.

– Делать нечего, нужно Сибирь бросать, – говорил атаман, – да пробиваться, может, встретим на пути царскую подмогу, тогда опять воротимся назад.

На этом и порешили.

Наступила темная, непроглядная ночь. Тихо выступали казаки из города, многие выходили с тоской на сердце, жаль

им было бросать насиженное гнездо, взятое с бою вместе с любимым Ермаком Тимофеевичем.

– Не пройдешь, заметят, дьяволы, – говорил Никифоров.

– А вот погоди маленько, мы пугнем это воронье проклятое, – отвечал атаман.

И действительно, пугнул. Грянул залп всех наличных пушек. В лагере остяков поднялся крик, они, объятые ужасом, не знали, что происходит. Казаки, бросившись на них, очистили себе дорогу.

Прошел месяц, беглецы приближались к Уральскому хребту, и в один ясный сентябрьский день для них настал светлый праздник, они встретили многочисленную царскую подмогу под начальством воеводы Мансурова.

Московская рать узнала о смерти Ермака и в свою очередь сообщила о смерти Иоанна Грозного и о вступлении на престол Феодора Иоанновича, что и послужило помехой к скорому выходу из Москвы на помощь.

Свежие войска направились к покинутой Сибири.

Покров застал Сибирь в руках русских, на этот раз уже навсегда связанной с Россией.